





АНТОЛОГИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
И ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЫ

# РАССКАЗ О СТРАНЕ БИРОБИДЖАН

Биробиджан  
2022

УДК  
ББК

РАССКАЗ О СТРАНЕ БИРОБИДЖАН (Антология художественной и документальной прозы). – Биробиджан, 2022. – 356 с. Составитель В. Чернин. Редакция: В. Гуревич, Е. Сарашевская, В. Чернин.

Рассказ о стране Биробиджан. Сборник художественных и документальных произведений о Еврейской автономной области.

**ISBN 978-5-6044634-9-9**

**Издание осуществлено ООО «Наследие ЕАО»  
с использованием средств гранта Президента Российской  
Федерации на развитие гражданского общества,  
предусмотренного Фондом президентских грантов.**



## Оглавление

### **Велвл Чернин**

Предисловие ..... 9

### **Меер Альбертон**

Тихонькая — Бирофельд

*Перевод с идиша Виктории Демиховой.....* 17

### **Бузи Олевский**

Первый

*Перевод с идиша Елены Сарашевской.....* 30

### **Мойше Гольдштейн**

Марш на Волочаевку

*Перевод с идиша Валерия Фоменко.....* 47

### **Яша Чернис**

Дорога на Кукан

*Перевод с идиша Валерия Фоменко.....* 67

### **Давид Бергельсон**

Параллель — по-русски параллель

*Авторский перевод с идиша.....* 82

### **Тевье Ген**

Отъезд

*Авторский перевод с идиша.....* 89

### **Гирш Добин**

Два берега

*Перевод с идиша Велвла Чернина ..... 100*

### **Люба Вассерман**

Дом

*Перевод с идиша Велвла Чернина ..... 118*

### **Шмуэл Годинер**

В новой избе

*Перевод с идиша Романа Шойхета ..... 130*

**Эстер Розенталь-Шнайдерман**

Прямо «Тысяча и одна ночь»! Пятна на солнце

*Перевод с идиша Исроэла Некрасова.....* 149

**Лариса Казакевич**

Биробиджанская сага Казакевича ..... 162

**Бузи Миллер**

У двери.....177

**Сальвадор Боржес**

Хавэлэ

*Перевод с идиша Валерия Фоменко.....* 184

**Иосиф Керлер**

В начале конца

*Перевод с идиша Велвла Чернина.....* 211

**Исроэл Эмиот**

Назад в Биробиджан

*Перевод с идиша Зиси Вейцмана.....* 229

**Гешл Рабинков**

В новом городе

*Перевод с идиша Валерия Фоменко ..... 241*

**Роман Шойхет**

Дождь.....284

**Анатолий Кобенков**

Еврей антисемитского происхождения.....298

**Мирон Фишбейн**

Не надо думать .....306

**Владислав Цап**

Хорошо, когда отец рядом ..... 214

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| <b>Римма Лавочкина</b>                  |     |
| Как стать евреем .....                  | 319 |
| <b>Елена Марундик</b>                   |     |
| Считай, Маруся.....                     | 332 |
| <b>Шломо Нееман (Нейман)</b>            |     |
| Учитель по имени Школьник .....         | 338 |
| <b>Павел Толстогозов</b>                |     |
| Крот и Филин, или Хорошо посидели ..... | 343 |
| <b>Виталий Бурик</b>                    |     |
| Несколько дней у озера .....            | 346 |
| <b>Александр Драбкин</b>                |     |
| Всё по-еврейски .....                   | 355 |
| <b>Бер Котлерман</b>                    |     |
| Бире-Биджан                             |     |
| <i>Авторский перевод с идиша</i> .....  | 360 |
| <b>Велвл Чернин</b>                     |     |
| Пейзаж                                  |     |
| <i>Авторский перевод с идиша</i> .....  | 363 |
| <b>Татьяна Брехова</b>                  |     |
| Осеннее ларго .....                     | 370 |
| <b>Об авторах .....</b>                 | 372 |



## Предисловие

Бира и Биджан впадали в Амур задолго до того, как в 1928 году на их берегах появились еврейские переселенцы. И задолго до прибытия еврейских переселенцев эти реки носили свои тунгусские имена, под которыми они известны и сейчас. Однако именно с евреями, а точнее даже с Биробиджанским проектом, предусматривавшим создание еврейской национально-территориальной автономии, или, как тогда говорили, «еврейской социалистической государственности» на Дальнем Востоке СССР, связано появление страны Биробиджан в качестве особого культурно-исторического региона. В 1910 году, когда в Приамурском крае побывал с экспедицией выдающийся этнограф, председатель Еврейского историко-этнографического общества Лев Штернберг, никакого Биробиджана еще не было, но уже в конце 20-х годов прошлого века эта новая страна появилась не только на географической карте, но и на карте еврейской литературы. Первой посвященной ей книгой стала изданная в 1929 году документальная повесть «Биробиджан», написанная Меером Альбертоном (1900–1947), прибывшим на станцию Тихонькая в 1928 году вместе с первым эшелоном еврейских переселенцев.

Создание Биробиджанского еврейского национального района в 1930 году, а затем, в 1934 году — и Еврейской автономной области хорошо укладывалось в тогдашнюю политику СССР в плане национального строительства, предусматривавшую создание национально-территориальных автономий различных уровней и всемерное повышение статуса языков национальных меньшинств. Более того, создание еврейской национально-территориальной автономии именно на Дальнем Востоке также

соответствовало на тот момент интересам советских властей, поскольку подразумевало переселение значительных групп евреев из районов их традиционного проживания в Восточной Европе на слабо освоенную окраину СССР, развитие которой было важно для советских властей с точки зрения их геополитических интересов.

Однако дело было не только в тогдашних приоритетах советских властей. Привлечь сколько-нибудь значительные группы евреев из Европы в дальневосточную тайгу было бы нереальным, если бы не мечта о еврейской стране. Благодаря этой мечте, которую Эммануил Казакевич (1913–1962) назвал в своем романе в стихах «Шолом и Хава» мечтой «о тайге, говорящей на идише, о реках, которые пенятся по-еврейски», евреи приезжали в страну Биробиджан не только из Восточной Европы, но и из Америки, Аргентины, Бразилии и даже из Палестины, где казавшиеся тогда не меньшими утопистами, чем строители Биробиджана, сионисты пытались заново построить страну для еврейского народа на его древней Родине. Строительство Биробиджана воспринималось энтузиастами этого проекта как строительство новой еврейской страны, как обретение Родины еврейским народом, веками пребывавшим в изгнании. Необходимость решения еврейского вопроса путем строительства еврейской страны активно обсуждалась в еврейском обществе еще на рубеже XIX и XX веков. Не случайно Шолом-Алейхем, имя которого носит одна из центральных улиц Биробиджана, издал в 1898 году брошюру «Зачем евреям нужна страна».

Именно в таком контексте следует рассматривать начало биробиджанской литературы. Строительство новой еврейской страны, обретение евреями Родины — лейтмотив биробиджанской литературы 1930-х годов, создавав-

шейся практически целиком на идише. Не случайно первая книга, изданная в Биробиджане, первый сборник стихотворений Эммануила Казакевича носил название «Биробиджанстрой». Произведения, посвященные первостроителям страны Биробиджан, были написаны в тот период многими еврейскими писателями, которые лишь посещали эту новую страну или жили в ней совсем недолго. Самыми маститыми из них были поэт Давид Гофштейн (1889–1952) и прозаик Давид Бергельсон (1884–1952). Однако были и молодые писатели-первопроходцы, которые навсегда связали свою жизнь со страной Биробиджан. В первую очередь надо упомянуть погибших на фронтах Великой Отечественной войны Бузи Олевского (1908–1941) и Мойше Гольдштейна (1900–1943).

В Биробиджане открылись школы с преподаванием на идише, начался перевод делопроизводства на идиш, появилась еврейская национальная пресса (в том числе литературно-публицистический журнал «Форпост»), открылся Государственный еврейский театр и т. д. Однако менее чем через десятилетие после ее создания, на страну Биробиджан обрушились жесточайшие репрессии, жертвами которых стали представители национальной интеллигенции (в том числе первый председатель исполкома ЕАО профессор Иосиф Либерберг (1900–1937), переселенцы из-за пределов СССР (в том числе жители сельскохозяйственной коммуны «Икор», существовавшей в нынешнем Смидовичском районе) и рядовые биробиджанцы. Одновременно с этим власти СССР, взяв курс на постепенное возвращение к характерной для эпохи царизма политике русского великодержавного шовинизма, начали резко сворачивать программы национального строительства («коренизации», как это тогда называлось) для этнических меньшинств в целом и в том числе еврейского национального строительства.

Планы дальнейшего развития Биробиджана как новой еврейской родины были фактически заморожены. Косвенным образом об этом свидетельствует тот факт, что Верховный Совет СССР фактически проигнорировал выдвинутый в феврале 1941 года на заседании Совета Национальностей первым секретарем обкома ВКП(б) ЕАО Гиршем Сухаревым (1900–1963) план переселения в Биробиджан десятков тысяч евреев из захваченной нацистами Европы (прежде всего, из Польши), которые пытались найти спасение в СССР.

Но страна Биробиджан была уже создана и продолжала жить. По окончании Второй мировой войны в ЕАО снова стали прибывать эшелоны с еврейскими переселенцами из европейской части СССР, не желавшими или не имевшими возможности возвратиться в свои родные места, ставшие братскими могилами евреев, и надеявшимися начать все заново в еврейской стране на Дальнем Востоке. Возобновился прерванный во время войны выпуск газеты «Биробиджанер штерн» (в годы войны она не издавалась, а в «Биробиджанской звезде» периодически публиковались материалы на идише). Начал издаваться литературный альманах «Биробиджан». Казалось, что мечта «о тайге, говорящей на идише, о реках, которые пенятся по-еврейски» еще может осуществиться.

Однако наметившийся было положительный сдвиг был сведен на нет прокатившейся по всему Советскому Союзу официозной антисемитской кампанией, в рамках которой были закрыты еще остававшиеся еврейские школы, ликвидированы все учреждения еврейской культуры, арестовано большинство писавших на идише авторов, расстреляны члены Еврейского антифашистского комитета, включая упомянутых в начале этого очерка Давида Гофштейна и Давида Бергельсона. Не обошла эта



кампания и ЕАО. Здесь она вылилась в так называемое «Биробиджанское дело», которому посвящена одноименная документальная книга поэта Исроэла Эмиота (1909–1978), приехавшего в Биробиджан в 1944 году. На идише она была издана в США еще в 1960 году, однако в переводе на русский язык появилась в Биробиджане лишь в 2020...

В ЕАО было прекращено преподавание идиша в школах, было остановлено издание альманаха «Биробиджан», был ликвидирован еврейский театр, были арестованы проживавшие в ЕАО еврейские писатели и поэты — Бузи Миллер (1913–1988), Гешл Рабинков (1908–1981), Люба Вассерман (1907–1975), Исроэл Эмиот (1909–1978), Хаим Мальтинский (1910–1986), Бер Слуцкий (1877–1955). В июне 1949 года были сняты со своих постов председатель облисполкома ЕАО Михаил Левитин (1913–1953) и первый секретарь обкома ВКП(б) ЕАО Александр Бахмутский (1911–1961), обвиненные в «националистической деятельности». На пост первого секретаря впервые в истории ЕАО был демонстративно назначен русский, Павел Симонов (1911–1987). С его именем связано, в частности, уничтожение еврейских фондов Биробиджанской областной библиотеки им. Шолом-Алейхема. Антисемитская политика в ЕАО продолжала проводиться и после того, как в 1952 году Павла Симонова сменил на посту первого секретаря Алексей Шитиков (1912–1993), остававшийся в Биробиджане до 1955 года.

Но страна Биробиджан продолжала жить. В 1960-е годы, когда короткая Хрущевская «оттепель» сменялась долгим Брежневским «застоем», начала формироваться русскоязычная биробиджанская литература. Одним из ее зачинателей был прозаик Роман Шойхет (1931–1993), свободно владевший идишем (журналистские материа-

лы для «Биробиджанер штерн» он писал на родном языке) и потому ставший своего рода связующим звеном между творчеством вышедших из лагерей писателей старшего поколения, продолжавших творить на идише, и новой, русскоязычной биробиджанской литературой, создававшейся людьми, выросшими в Биробиджане и уже не мечтавшими «о тайге, говорящей на идише, о реках, которые пеняются по-еврейски». Среди них были евреи (например, Леонид Школьник, 1945–2019), наполовину евреи (например, Анатолий Кобенков, 1948–2006) и неевреи (например, Виктор Соломатов, род. в 1937), но все они были биробиджанцами.

Горбачевская «перестройка» и последующий распад СССР имели специфические последствия для Биробиджана. В конце 1980-х годов в ЕАО после долгого перерыва начинает развиваться еврейская культура, возрождается еврейская религиозная жизнь, возникает независимая пресса по-русски, предпринимаются попытки возрождения идиша. Однако уже в начале 1990-х стремительными темпами разворачивается процесс выезда из ЕАО евреев, наполовину евреев, а также неевреев, состоящих в браках с евреями, в Израиль и, в значительно меньшей степени, на Запад. Такое направление приняло еврейское национальное движение в Биробиджане 1990-х годов. Не удивительно, что во время «парада суверенитетов», прокатившегося по Российской Федерации в первой половине 90-х, ЕАО оказалась единственной автономной областью, которая не стала провозглашать себя республикой.

С тех пор прошла еще четверть века в истории страны Биробиджан и в истории ее литературы. Страна Биробиджан продолжает существовать, несмотря ни на что, на пересечении надежд и разочарований, еврейского и

нееврейского мироощущения, советского и постсоветского опыта, Дальнего и Ближнего Востока. Она заслуживает того, чтобы ее история была рассказана и осмыслена. Из осознания необходимости такого шага родилась антология прозы «Рассказ о стране Биробиджан». Включенные в нее произведения художественной и документальной прозы расположены в определенном хронологическом порядке, по этапам биробиджанской истории. Надеюсь, что в своей совокупности они расскажут о стране Биробиджан намного больше, чем каждое из них по отдельности, расскажут и помогут осмыслить особую судьбу и особый характер этой страны — и тем, кто в ней живет сейчас, и тем, кто когда-то в ней жил, и даже тем, кто в ней пока не бывал.

**Др. Велвл Чернин**



**Тодрос Геллер (1889–1949). Изюм и миндаль.**

Из альбома гравюр чикагских художников «Подарок Биро-Биджану», 1937 г.



## МЕЕР АЛЬБЕРТОН

### Тихонькая — Бирофельд

*Фрагмент документальной повести «Биро-Биджан»*

Уже вечереет, но мы отправляемся из Тихонькой на Бирское опытное поле. Я договорился с извозчиком о том, чтобы ехать сегодня. Дорога дальняя — верст шестьдесят. Едем на фуре, и все лесом.

А вдруг кто встретит, остановит — это же опасные дороги? Может, не стоит?

Но возницы смеются надо мной: лишь бы дорогу нащупать, чтобы не заблудиться, тогда можно ехать целую ночь. Никто не помешает. Хорошенькое дело! В Биро-Биджане — да чтобы разбойничали?!

Раз так, то едем.

Чуть впереди нас — фуры, груженные ульями. Едут они медленно. Не надо бы их обгонять. Лучше держаться вместе... Но парни из менской «дикой дивизии» даже слушать меня не хотят.

— Еще чего! Если «украинским увальням» так нравится, то и пусть волокутся вместе с пчелами...

...У парома парни бегут договориться, чтобы их первыми переправили через Биру: у них нет времени. Они спешат. Они не станут ждать. Ни в коем случае не будут ждать.

Паромщик, старый кореец с тонкой длинной бородкой, добродушно смотрит на них. Он тоже был когда-то молодым. Теперь, если кто-то горячится, он лишь спокойно наблюдает. Он просит у меня «расейскую самокрутку» и между прочим рассказывает, что ОЗЕТ собирается строить через Биру огромный мост. А его возьмут сторожем этого моста. Вот и выходит: не придется ему тянуть паром, да еще и вдвое больше зарплату будет получать. Конечно, умная вещь.

— Очень хорошие люди, этот ОЗЕТ...

— Парни, а действительно, куда торопиться? Все равно придется ночевать на двенадцатой версте. Можно ехать не спеша. Едем с грузом, а лошади сегодня пришли с опытного поля, уставшие. Нечего спешить...

Но Лейбке Ковалев терпеть не может, когда ползут еле-еле. Лейбке в Менске служил у каретника. Вот он и любит, чтобы лошадки живей перебирали ногами.

Да и бегут же они, когда их еще подхлестнешь. Тогда железяки, что мы везем на наших телегах, дребезжат под нами и не дают усидеть. Но лошади отмахиваются хвостами от ударов кнута, делают вид, будто все уже позабыли, и снова плетутся медленно. Железо успокаивается и укладывается на место. И сидеть становится удобней.

... Когда Лейбке снова начинает подгонять лошадей, я пересаживаюсь на телегу Мойшке. Он везет оборудование для кузни. Поэтому едет последним и медленней

остальных. Мойшке говорит, что это будет первая кузня в первом еврейском государстве. Мойшке настоящий «поэт». Взахлеб рассказывает, что хочет устроить кузню по всем правилам, без единой ошибки.

Он хорошо знает, что такое земля. Он всю жизнь работает на земле. Отец его умер на своей земле. И он того же хочет. Но такого, как здесь, он еще никогда не видел. Теперь у него нет времени. Надо кое-что перевезти и работать «немного денезек». Но при первой «возможности» он напишет про эту сопку, которую мы сейчас проехали, и отправит во все журналы и газеты.

— Ох, какая же она красивая, эта сопка! Тихонькой она называется. Она тихенькая, вот и зовется Тихонькая. А на другом берегу Биры есть еще одна сопка. Она зовется Буйная. Та сопка не тихенькая, вот и зовут ее Буйная.

Но Тихонькая нравится ему больше. Вон она какая — версты, наверное, две высотой. А посредине ступеньки. А вокруг заросла она деревьями, большими да маленькими. А с макушки сопки можно видеть абсолютно всю еврейскую республику.

— Черт поberi этих парней. Смотри, куда они уже уехали. Надо догонять.

Дорога хорошая. У Мойшки на телеге мягко настелено. Можно и хлестнуть эту заразу.

О-о! Вон они уже где. Хорошо еще, что в гору не подгоняют лошадей. Если бы Лейзер-каретник увидел, как Лейбке гонит, было бы ему плохо. А тут — когда ему самому доверили лошадей — он такие штуки выделывает...

Догоняем телеги. На улице темнеет. Плавно восходит луна, полнолуния, как молодая гольдка. Дорога ровненькая, выглаженная, как дорога из Балты в Одессу. Лошади рады, что мошка не сильно кусает, и бегут веселее.

Мы договариваемся накормить их на «двенадцатой версте» и самим переночевать там в деревянном бараке.

...В бараке всегда есть китайцы — рабочие, которые строят дорогу. Окна тут забиты досками, а двери открыты. Лунный свет сочится сквозь дверной проем и дырявую деревянную крышу. Вечером барак освещается пламенем чугунной печи. Теперь же, ночью, когда печурка закрыта, можно при свете спички увидеть на нарах спящих, утомленных после трудового дня людей. Спичка освещает щеку или нижнюю половину лица. А когда она гаснет, барак погружается в темноту. Слышно только, как люди тяжело дышат, очень тяжело. Их одежда лежит сверху, не спрятана. Никто ничего не украдет. Наоборот, если ночью придет чужой, он подкинет в чутунку дровишек, чтобы стало теплей...

Немного поодаль, с другой стороны, легли в одежде двое корейцев с реденькими бородками. А с этой стороны — гольд с круглым плоским лицом.

В ночной темноте стали занимать свободные места поздние гости: русские, украинцы, евреи. На нарах стало теснее — теснее и теплее... Но никто этого не чувствует. Все уставшие, и все сразу проваливаются в сон. Слышно только дыхание, неравномерное дыхание и храп...

На улице тихо. Большая яркая луна одиноко бродит по небу, заглядывая в окна. Осматривает странные лица, удивляется и плывет себе дальше. Слышно, как по лугу прыгают стреноженные лошади и хрустят сочной травой...

...В третьем часу начало светать. Взошло солнце — свежее и чистое. Ночью было прохладно, а теперь ехать очень приятно. Ни у лошадей, ни у людей от усталости не осталось и следа...



От барака отъезжают все одновременно. Дальше — порвется уздечка, сломается ось, открутится гайка — кто-то отстанет. Нетерпеливые подгоняют своих лошадей, заезжают вперед.

Вот встречаются телеги, которые едут назад с Бирского поля. О-о! Дорога «Тихонькая — Опытное поле» стала большаком: теперь по ней за день проезжает столько телег, сколько и за год когда-то не проезжало.

— Что слышно?

— Ничего. Пашут, лес возят.

— Сколько тягловых?

— По-разному. У одного шестеро лошадей. У другого четыре... Ну а что в Тихонькой?

— Ничего. Прибывают новые переселенцы. Выдают лошадей. Ссорятся.

— Когда уже нам выдадут накомарники?

— Видать, нескоро. Бейнфест сражается с Финкельштейном — или готовые маски выдавать, или марлю. А тем временем марля лежит на складе.

— Большое им спасибо за это. Пусть хоть склад не боится комаров... Но, но!..

Поговорили, попрощались — и снова в путь. Возле дальних телег уже меньше останавливаются: перекинулись словом, другим, перекликнулись и разъехались...

...Авром-шапочник из Гомеля сообщает, что это большая глупость — посылать сюда молодежь. У него тоже есть двое «детин». «Упольне самостоятельные люди». Они такие дети, что заработают рубль, лишь бы работа была. Из них уж толк выйдет. Но накажи его Бог, он не доверяет им. Ему 54 года. Он уже калач тертый. Он, не про вас будет сказано, с грыжей. Но он, Авром, понимает, что от этих сорвиголов толком ничего не узнать, потому

что им сейчас тут нравится, вот и напишут: «Ой, папа, поскорей приезжай, речка загорелась». Или наоборот: не успеют ничего рассмотреть как следует, как уже бегут отсюда. Видали таких. Вон сколько сопляков вернулось назад.

— А ну, — толкает меня Авром, чтобы я лучше слушал, — расспросите их нарочно, были они где-нибудь, видели что-нибудь? Куда там! Нигде не были и ничего не видели.

Авром возмущен. А когда Авром сердится, он хмурит густые седые брови и не смотрит вам в глаза. Он смотрит на лошадок и причмокивает, чтобы шибче шли. Подбородок на его длинном лице двигается, как у лошади, когда она жует. И он бурчит дальше.

Сам он, Авром, тоже не спешит писать домой. Семья спрашивает его: «Ну?» Авром молчит. Его снова спрашивают: почему молчит? Он не отвечает. Они, конечно, устроят переполох. Но Авром им все равно не напишет. Авром пристукивает узловатым пальцем по возу: пока он сам, своими глазами не увидит, что это за Биро и что это за Джан, до тех пор домой не напишет. На такого человека можно положиться. А что, разве не так? Конечно, так.

— Но-о! А ну, резвей!

Но скоро Авром поворачивает ко мне лицо, поднимает тяжелые седые брови и говорит, что никак не может понять, чего это вдруг развели панику про здешние дороги. Это, например, очень хорошая дорога. И то, что они мостки да тротуары строят, — это значит, что они хорошие хозяева.

... Лейбке шел рядом с лошадьми, крупный, широкоплечий, в штанах-галифе, осторожно ступая босыми ногами по неровной земле. Штрипка от одной штанины

оторвалась и тянулась за ним, выписывая на дороге причудливые каракули и мешая ему идти. Лейбке наклонился, чтобы оторвать ее совсем, и задержался, пока наша повозка не догнала его телегу. Он шел, оглядываясь по сторонам. Внезапно повернул к нам свое глуповатое, наивное юношеское лицо и сказал:

— Подумайте только, что такое природа. У-ух! Чтобы разобраться в этом, не нужно кино, не нужно цирка и даже лучшего театра. Надо только выйти в поле, смотреть и слушать. И все, и больше ничего не делать...

— Вот видите, — перебил его Авром, — больше ничего его не интересует, только кино и театры. Вот так и мои. Вот и понадейся на них.

— Ты смотри, как человек завелся! К нему похорошему, а он брыкается... Э-э, стойте к черту. Тпру-у... Разогнались как... — И Лейбке, переступая длинными босыми ногами, стал догонять телегу. Мы ехали за ним... На подъеме лошади вытягивали шеи, делая вид, что спешат, но шли медленно. Скоро мы совсем остановились. Это была «двадцать вторая верста»...

На «двадцать второй версте» поселился смешанный коллектив. Пиня роменский доказывает, что рыжим тут жить нельзя. Вот он, например, — рыжий. Как только он заходит в лес, так сразу на него нападают комары и мошка и сжирают его живьем.

Нет, так правда. Вот интересно: Лемех Златопольский — паршивый жестянщик — тому хоть бы хны. Еще и работает всегда без рубашки. И черт его не берет. Почешется, шлепнет себя несколько раз, и все. А Пине, который известен как лучший дамский парикмахер на весь Ромен и который с головы до ног застегнут на все пуговицы, — просто же дышать не дают треклятые комары. Все-

го искушали. Шея, лицо, уши опухли. Нет, рыжему на «двадцать второй версте» жить нельзя...

Лежит Пиня в палатке, укрылся с головой дождевым плащом и ни с кем не хочет разговаривать: прячется от комаров. Если вам надо что-то узнать, то идите вон туда, в лес. Там парни пилят деревья. Возят лес на бараки, на дома и на баню. Он может только сказать, что тут построят баню. Тут совсем неплохая деланка. Если хотите, можно пойти у тех спросить.

Но мы ни у кого ничего не можем спрашивать. Нет времени. Можем только немного отдохнуть, напоить лошадей и ехать дальше.

— Наших чистокровных киргизов и забайкальских орлов можно хоть сейчас напоить. Но надо сразу же ехать, чтобы они согрелись, — объясняет Лейбке.

...Сзади подъезжает целая вереница телег. Они нас догнали. Дорога пока ровная. Вокруг густой лес, а в нем каких только деревьев нет. То тут, то там видны большие выгоревшие участки. Кое-где все еще тлеют обгоревшие пни или ветки. Возле самой дороги возвышается огромное дерево, оно обгорело сверху и выгнулось, как мифическая рогатая тварь. Время от времени оно вспыхивает и продолжает дымиться...

Часто попадаются речки, ручьи, широкие болота. Здесь они прикрыты мостками, но дальше к опытному полю еще не все мостки налажены. Там нужно ехать осторожно. Надо сделать большой крюк, чтобы объехать болото. Лейбке морщится и говорит, что он не должен держать это все в голове. Он не должен нести ни за кого ответственность. Никто не имеет права ему указывать и все такое.

— Но, но! А ну давай! Сильней! Вот так, ну!.. А черти

бы вас взяли!.. Вот вам. Натe. Кости бы вам переломало... Сгорели бы вы вместе с Биро-Биджаном... Вот вам еще. Еще... Теперь стойте. Так я хоть буду знать почему...

Кони напрягаются, выгибают шеи, поводят ноздрями, перебирают ногами, но не могут сдвинуться с места. И за это Лейбке не имеет к ним претензий: он отстегал их, а они назло не хотят идти...

Стоит Лейбке босой в грязи и просит, чтобы ему помогли.

— Ага, а я что говорил? Не надо было сюдой ехать. Поехал сюдой, сиди теперь хоть пять часов, — подтрунивает над Лейбке менский парень в стертых хромовых сапогах.

— Пошел ты, спекулянтик. Продай свой мешок. Иди на биржу. А то я тебя подальше пошлю...

— А ты — паршивый каретник! Лошадиный погонщик!

Лейбке медленно поворачивается, и вместе с ним поворачиваются широкие крылья его галифе.

— Давай иди отсюда. Больше я ничего не скажу. Все.

Авром-шапочник терпеть не может таких штук. Он соскакивает с телеги. Его густые брови надвигаются на запавшие глаза.

— Это что за разговоры? Прежде всего надо воз из грязи вытянуть, а потом уж будете благословлять парня, чтоб не фокусничал.

— Эй, мужики! Сюда! А ну, все сюда... Ты, выскребыш ленинградский, чего это ты оделся, как телегент. А ну, иди, подставляй голую спину.

Лошади повеселели, имея возможность доказать, что они не виноваты. Скоро телега тронулась с места, а парни не давали ей увязнуть, пытались нащупать твердую почву, чтобы поставить ноги и вытянуть телегу.

— Вот хорошо, когда все вместе за дело берутся. Из самой глубокой грязи можно вытянуть — Авром-шапочник это уже давно говорил...

...Теперь все снова идут низиной. Отставшие телеги с пчелами уже догнали. Время от времени кто-нибудь бежит напиться холодной воды из свежих родников, которые встречаются по дороге, а телеги идут сами. Дорога снова ровная, накатанная.

— Эй, а ты чего встал как вкопанный?

Это остановился первый возница, а за ним все остальные. Ай, интересно же посмотреть, как охотник диких уток стреляет.

Бах! — не попал. Трах! — не попал. Бах! — кажется, опять не попал. Нет, высокая трава шевелится, шелестит, раздвигается. Это бежит собака, ищет, нюхает, шныряет и снова бежит назад.

Молодец, Бобик! Золотая собака! Кулика несет. Нет, дикая утка у него в зубах.

Все возницы окружают охотника и его собаку. Все жадно слушают.

О, тут много дичи. Если специально заниматься охотой, можно хорошо прожить. Во всех тех речках, которые мы проехали, водится много рыбы. Тут двадцать восемь сортов всякой рыбы. От малюсенькой рыбки до огромных рыбин.

Бореху, рыбаку из Терновки, это очень нравится. На черта ему земля. Хоть и красивая эта местность. Вот, например, этот лес похож на большой барский сад на Украине. Эти маленькие, низенькие березки с опрятной белой корой будто выбелены заботливыми хозяйскими руками. Да и так, вообще... Ему, Бореху, человеку, кото-

рый повидал разные речки с разной в них рыбой, ему весь этот край не кажется чужим.

Он думает, что надо было бы этот край назвать не «Дальний Восток», а «Ближний Восток»...

И Борех, уже пожилой человек, отворачивает свое изможденное лицо, чтобы его не видели. Он стыдится. Может, он сказал глупость? Да, где он только не был, а стыдится глупости. И всегда, когда Бореху приходится высказывать какую-то мысль, он думает, что это глупость. Тогда он отворачивает лицо и смущается.

Но нет, это совсем не глупость. Мойшке тоже так думает. Тут так роскошно, так хорошо, что, если бы у него было время, он бы сел и запечатлел на бумаге все красоты Биро-Биджана и разослал бы это по всем журналам и по всем газетам. Но нет у него времени. Надо зарабатывать. Вот сейчас он везет кузню. Первую кузню в первой еврейской республике.

— Ну, парни, хватит. Не шумите. Лошади отдышались, надо бы привести их в порядок. Вон уже видно дома на Бирском опытном поле. Финкельштейн, агроном, как увидит, что лошади мокрые, такой шум поднимет, что...

И точно. Слева виднеются несколько светлых пятен, которые дальше превращаются в четырехугольники. Вон уже видно жестяные крыши, видно даже, что жесть оцинкованная и гофрированная. Это та самая жесть, которой покрыты почти все дома в этом крае. Та самая жесть, которую еще немцы привозили сюда на больших пароходах, чтобы строиться здесь, добывать и вывозить отсюда всякие богатства.

...Вот мы и переезжаем последний большой мост. Его еще достраивают. Телеги идут тут медленно. Справа от дороги менские икоровцы сражаются с шестью лошадь-

ми, чтобы те лучше тянули плуг. Над распаханной землей склонились девчата, сажают картошку. Вдоль дороги навален шафранный кедрач — материал для большого дома.

Слева роются в земле ловкие парни из рогачевской коммуны. Время от времени нам загораживают дорогу телеги с длинными колодами. Лейбке, который идет впереди нашего «эшелона», ругается с возницами по этому поводу.

Последний поворот. Здесь стоит палатка, приютившая корейских рабочих, которые помогают строить дорогу, копать колодцы. Уже хорошо видны все строения, большой двор, двое ворот, которые никогда не отдыхают: тот заезжает, этот выезжает.

Мы заезжаем во двор. На улице уже темно. Тут стоит страшный шум. Я не успеваю оглядеться. Нас обступают знакомые и незнакомые и начинают расспрашивать.

**1929**





**Аарон Богрод (1907–1992). На задворках.**

Из альбома гравюр чикагских художников «Подарок Биро-Биджану», 1937 г.



## БУЗИ ОЛЕВСКИЙ

### Первый

Дело было так.

К Долохову, самому зажиточному хозяину в селе, пришли из сельсовета с просьбой — сдать избу еврейским переселенцам.

— Мерзнут евреи, гражданин Долохов... В палатках живут, под снегом...

Долохов некоторое время задумчиво разглядывал непрошенных гостей, затем медленно поднялся и, скривив губы в усмешке, щелкнул каблуками:

— Власть есть власть!

Вот уже несколько лет Долохова знай стращают:

— Будь человеком! Человеком будь, не то худо придется.

Тяжелые, недобрые времена наступают для Долохова.

А в последние месяцы в казацком селе стало и вовсе беспокойно. Раз за разом устраивают сходки. Ждут, что со дня на день начнут высылать кулаков.

Долохов не раз, взвешивая каждое слово (а его слову верят), говорил, что не по всей стране такое творится («Врут! Врут! Врут!» — и как гроыхнет кулаком по столу). Только на Амуре произвол чинят! А все из-за евреев, из-за переселенцев этих, добро отнимают...

И вот сегодня должен приехать Авром-Герш.

Долохов слышит, как за окном шумит народ. В этом селе евреев отродясь не видали. И все — стар и мал — высыпали на улицу в ожидании встречи.

Долохов надел бекешу, но тут же снял ее и швырнул в угол:

— Ну и времечко!.. Как голодранец должен!.. Свитку подай! — зло крикнул он жене, хлопнул дверью и вышел на крыльцо.

День выдался солнечный.

Среди заснеженных деревьев поблескивал единственный крест пузатой зеленой церквушки, стоящей посреди села, — красивой, но заброшенной. Синеватые столбики дыма, вырываясь из печных труб, косматились кверху и растворялись в белом зимнем небе.

Скоро в начале улицы показались сани, груженные подушками, мешками, разными домашними вещами. Все ближе и ближе скрип полозьев...

Долохов огладил бороду и с напускным гостеприимством пошел навстречу.

Летом и осенью Авром-Герш, как и другие переселенцы, жил в палатке. Возил лес и камни на строительство Амурзета. А сейчас, покуда еще не готовы новые дома, приехал со своей Песей сюда, чтобы снять жилье на зиму.

— Гвалд, Песя! Ты глянть! Это тебе не Амурзет. Красота!..

Припорошенные снегом, стоят во дворах деревья.

Будто стражники, охраняют они крепкие, основательные дома. Не дома — терема! Каждый сложен из здорового листвяка, крыши поблескивают на солнце оцинкованной гофрированной жестью. Есть избы и победней, поскромней, с дощатыми крышами.

Небеленые дома посерели, потемнели от времени. Зато окна в них большие, с красивыми резными наличниками, тут и там нарядные крылечки, а кое-где даже балкончики у чердачных окон. И вся эта красота смотрит сейчас во все глаза на Аврома-Герша.

Если бы Авром-Герш не знал, куда завела его судьба, он и подумать бы не мог, что находится «аж возле Китая».

Широкая улица. Со всех крыш клубится дымок, пахнет теплом и уютом. И даже старые знакомые — колодцы-журавли приветливо выглядывают из-за заборов. И собаки, такие же дворняги, как и во всем мире, встречают его незлобивым лаем.

Авром-Герш жмурится от удовольствия. Но возница прерывает его радость.

— Квартира, — указывает он кнутом, — квартира у тебя будет хорошая. Но Долохов, хозяин, стало быть, — сущая стерва!..

Свистнув в воздухе кнутом и покрикивая на всю улицу, будто свадьбу везет, Василий умело натягивает вожжи, заставляя лошадей задрать морды, и останавливает сани у порога Долохова.

Вокруг тут же набегает народ.

Шустрее всех, понятно, ребята. В телогрейках — рукава чуть не до земли — сопят, шмыгают носами, толкаются, хотят протиснуться ближе к Аврому-Гершу.

— Ку-у-да-а, чтоб вас волк сожрал, — кричит Василий.

Но мальчишки его не боятся.

Их отцы и сами хотят посмотреть на еврея, проталкиваются к саням.

Тулупы, валенки, унты, лохматые козьи шапки и любопытные лица — обычные русские лица, но с монголоидными чертами, по которым узнаешь гуранов, — казаки окружили Аврома-Герша, заполнили все пространство вокруг него.

Их жены стоят чуть поодаль. Вытягивают шеи, смотрят, как Авром-Герш и Песя слезают с саней. Лица у казачек разочарованные, будто кто обманул их ожидания: люди как люди эти евреи, ничего особенного.

— Граждане, ну... Такой же человек, как вы... Расступись... — злится вдруг Василий, хотя на самом деле он доволен, что и сам невольно оказался в центре внимания.

Василий расхаживает в своем рваном тулупе. Его белая папаха из козьей шкуры выше, чем у других казаков. Кнут он воткнул в голенище, потирает руки и, поглядывая на Аврома-Герша, тихо рассказывает, что он вместе с этим евреем лес возил, зовут его Гершко, а скоро приедут еще евреи, и ему жаль, что нет у него самого избы для гостя, вот и пришлось везти Гершко к Долохову.

— Еврей? — удивляются крестьяне. — А как будто из нашенских.

Авром-Герш уже не молод. Его рыжий затертый тулуп подпоясан на манер балагул. Летняя фуражка надвинута на уши. Не слишком тепло одет Авром-Герш. Притоптывает прохудившимися сапогами, руками себя поколачивает.

— Холодно, — радостно сообщает он и стряхивает льдинки с бороды.

Ему хорошо среди этих людей.

— Здравствуйте, — снимает он фуражку, кланяется и представляется.

— Эй, разойдись! — расталкивает крестьян Долохов. — Ко мне, ко мне приехали. Дайте отдохнуть человеку.

Долохов уже знаком с евреями. Долохов много лет служил есаулом, был на войне — поездил по России, Украине.

— Ну здравствуй, еврейчик, — хлопает он Гершко по плечу. — Сосед теперь мой, а? Пожалуйте. Изба моя ждет.

Широкоплечий, плотный, изобразив на лице добродушие, стоит он напротив Аврома-Герша, ногу выставил, как на параде, смотрит на него сверху вниз.

— Эх-эх-эх, и куда тебя на старости лет в такую даль понесло? Едут и едут... Не нашлось там для вас землицы? — и сам будто смутившись своего вопроса, берет Аврома-Герша под руку, улыбается и ведет сквозь толпу.

И тут же бросает злой взгляд на Василия и рывкает:

— Поезжай в мой второй дом.

— А ты не командуй, гражданин Долохов! Хватит! — и даже не взглянув на него, Василий разворачивает сани.

Крестьяне расходятся, но Аврома-Герша Долохов не отпускает.

— Нет-нет, ты мой гость. Сначала ко мне. Вот та-ак.

И, открыв перед ним дверь, чинно пропускает Аврома-Герша вперед. Ведет его через большие сени, где висят косы лука, стоят мешки с зерном. Заводит в просторную, хорошо натопленную кухню, скидывает с себя тулуп и, властно зыркнув на жену, отдает приказание:

— Что встала? Гость в доме.

Жена тихо, как тень скользнула мимо них, открыла подполье и исчезла в нем.

Только теперь Долохов приглашает Аврома-Герша в зал. Тот, растерянно улыбаясь, садится на самый краешек скамьи.

Вся эта атмосфера уюта и покоя ошеломляет Аврома-Герша, сбивает его с толку. Не так он, по рассказам Василия, представлял себе кулака Долохова.

Уже долгое время Авром-Герш не жил дома. Целыми днями возил лес, копал канавы. Его сапоги еще не просохли от болотной влаги, а сам он насквозь пропах тайгой.

Сидит Авром-Герш, боится пошевелиться. У-ва-а!

На трех стенах в зале блестят позолоченные иконы, убранные рушниками. Подле них горят лампы, которые наполняют воздух чуть прогорклым запахом.

Жена Долохова — глаза долу, — едва слышно ступая, входит и ставит на стол кувшин желтой мутной медовухи, миску бочковых огурцов, две тарелки густой простокваши, кладет большую краюху хлеба.

— Ешьте на здоровье, — она украдкой бросает взгляд на Аврома-Герша, на «их грабителя», как ей сказал ее хозяин, ее муж и, тихо притворив за собой дверь, выходит.

Долохов ждет еще несколько мгновений и садится напротив Аврома-Герша.

Как и Авром-Герш, Долохов далеко не молод — ему пятьдесят или чуть больше. В его длинной причесанной бороде видна седина, но на лице ни одной морщинки. Кожа на скулах с легким румянцем, как у апостолов на иконах. Голубые глаза, такие человеческие, смотрят внимательно на изможденное, заросшее, морщинистое лицо Аврома-Герша.

Он говорит с ним тихо, неспешно. Так разговаривают между собой старики: о том, как трудно нынче живется, какие настали непростые времена.

— Трудно, ох трудно... — сочувственно кивает Авром-Герш.

И Долохов говорит с ним о доме, о том, что много денег с него не возьмет. Говорит о своих коровах, о своей земле, которую у него хотят отнять, о том, что Авром-Герш, как хороший человек, не сможет так поступить с Долоховым...

Аврому-Гершу по душе этот простой житейский разговор, но Авром-Герш не понимает:

— Что ты говоришь? Что значит, не дай бог, отнять у человека?

— Я знал, знал! Пей, хороший человек. Будь здоров! Долгих лет!

Долохов поднимается и наполняет стаканы.

Авром-Герш чокается с ним.

Медовуха сладкая и терпкая. Авром-Герш крикает от удовольствия и хрустит огурцом. Рассол течет по бороде. Ноги наливаются тяжестью, на сердце становится тепло, а в голове хмельно и весело.

В сенях жена Долохова дает ему торбочки изюма, муки и лука.

— Натё... Хозяин велел...

— Зачем? Зачем? Мы, не дай бог, не голодные, — Аврому-Гершу что-то не нравится, но земля уплывает из-под ног. Он бубнит под нос и уходит, роняет торбу и с трудом поднимает ее...

На улице ему навстречу идет Василий. Сани уже пу-сты, он не спеша шагает за лошадьми. Вожжи намотал на локоть, озябшие руки спрятал в рукава, а кнут держит подмышкой.

— Василий...

Но Василий презрительно щурится на Аврома-Герша и отстраняется от него.



— Фе-е, Гершко! Пятки ему лижешь? Тьфу! — Василий сплевывает, дергает вожжи и шагает прочь...



— Все село на меня ополчилось, — Авром-Герш изливал душу Песе. — А может, правы люди? И чего он, скажи, именно ко мне липнет? Что за радость от меня Долохову?

Все попрекают Аврома-Герша за то, что он якшается с Долоховым: «Нехорошо, Авром...»

— Но нельзя же так просто взять и прогнать человека? А, Песя?

Песя кивает в ответ, но душа ее противится.

Они сидят у горячей печки, а за окном беснуется пурга.

Этот дом не похож на тот, где они жили прежде. Но хотя они в десятке тысяч километров от своего родного штетла, и хотя климат здесь другой и вообще другой мир, старая Песя смогла наполнить эти стены воспоминаниями о прежнем доме, и даже мебель и две большие старомодные кровати с набалдашниками, которые проделали вместе с ними весь этот неблизкий путь, стоят теперь на привычных местах.

В простенке между окнами, как и в прежние времена, Песя поставила черный буфет и накрыла его кружевной скатертью, которую вязала еще в девичестве. На скатерть она поставила «богатство»: треснувшее зеркало с вмонтированными в нем часами, которые давно уже остановили свой ход, и двумя медными подсвечниками по бокам.

Все на своих местах.

И даже старые добрые фотографии висят на стене.

Авром-Герш на них еще такой молодой. Вытянулся, как струна, руки по швам. Был он в то время кучером у балагул. Здоровяк и силач. Рядом с ним Песя. Лицо у нее круглое, юное. Она напряжена, сидит как на иголках, глаза широко распахнуты, руки лежат на коленях, пальцы растопырены...

Старая Песя любит эти снимки.

На другую стену она повесила плакат случной кампании. На нем нарисована, почему-то зеленым цветом, круглобокая симменталка, а вокруг напечатаны советы по уходу за стельной коровой.

В избе полумрак.

Замерзшие, засыпанные снегом стекла дрожат в рамах.

Как это часто случается на Амуре, дни стоят то ясные, спокойные, то вдруг налетает ветер, вьюга. С Хинганского хребта, с Амура — без перерыва, дня три кряду, не сдерживаемый ничем — дует, крутит, смешивает небо и землю, катится по горам колючий безжалостный ветер.

Собаки тогда сбиваются в стайки, сворачиваются в снегу клубками. Лошади, которые зимой и летом стоят здесь под открытым небом, отворачиваются от ветра, тулятся одна к другой, опустив к земле морды...

В сенях вдруг слышались шаги. Кто-то громко топал, отряхивая снег с валенок.

«Подожди, я сейчас выйду», — кричит кому-то Долохов и тут же, запорошенный снегом, кряхтя, будто в предвкушении чего-то радостного, входит к Аврому-Гершу.

— У-у-х, студено! — говорит он и прикладывает шапку к печке.

— Пожалуйста, садитесь, — улыбается ему Песя, хотя улыбаться ей совсем не хочется. Но надо — гостеприим-

ство.

— Спасибо... Я на минутку... Праздник у нас... Рождество... Тысяча девятьсот тридцатый год как Иуда Христа погубил... Злые времена, а, Авромчик!

— Ой злые, — из вежливости поддакивает ему Авром-Герш.

У Долохова и других кулаков вот уже несколько дней переписывают хозяйство. Со дня на день их начнут высылать.

Но у Долохова уже почти нечего переписывать.

Он даже деревья вокруг дома в эти дни вырубил. Стоит теперь его дом среди пней, голый и сиротливый.

А по ночам Долохов резал свой скот. «Послушай, Авром-Герш!» — не раз будила мужа Песя, дрожа вслушиваясь, как кричит в тишине недобитая животина.

— Но ничего, — усмехается Долохов. — Это ненадолго, Авромчик, нет!

Он говорит спокойно, дружелюбно. Праздник, мол, сегодня, и он пришел пригласить Аврома и Песю. Его, Авромчика, первого еврея в селе, пришел он пригласить на свое последнее рождество.

— Пир, пир во время чумы, — бросает Долохов в дверях.

Авром-Герш и Песя слышат, как в сенях он говорит кому-то: «Придут!» — и недобро смеется.



Песя сказала, что, хоть умри, она не пойдет, хоть режь ее.

Но Авром-Герш все-таки достал свой единственный праздничный наряд — черную капоту, в которой стоял еще под хупой, и мятый картуз, когда-то шелковый, а те-

перь весь потрепанный и залоснившийся внутри.

Идти к Долохову ему не хочется.

— Но нельзя, Песя, некрасиво... Сосед пригласил...  
Надо по-человечески, Песя...

Он расчесывает бороду. Подходит к зеркалу, поворачивает голову влево, вправо, смотрит на свое морщинистое отражение и надевает картуз.

— Кажется, немного мятый, а, Песя?

Но ему становится стыдно перед женой.

Он накидывает тулуп, чешет горло, вздыхает, чтобы Песя не дай бог не подумала, что он рад этому приглашению.

— Нехорошо отказывать... Доброй ночи, Песя, — он открывает дверь и уходит.



К Долохову он еле добрался. Приходилось то и дело останавливаться, поворачиваться спиной к ветру, чтобы хоть немного перевести дыхание.

В облаке пара, будто не дверь открыл, а кипящий котелок, Авром-Герш ступил через порог.

Избу было не узнать.

Двери сняты с навесов, во всех комнатах, тесно прижавшись друг к другу, стоят накрытые столы, на которых громоздятся бутылки, тарелки со снедью, обгрызенные кости и недопитые стаканы.

За столами, как заведено, гости располагались по ранжиру, соответственно возрасту и положению.

Женщины сидели в кухне.

Будто исполняя священный ритуал, они едва слышно переговаривались между собой и пили чай вприкуску. Каждая держала правой рукой, всеми пятью пальцами,

блюдце. Подув на чай, они откусывали маленькие кусочки сахара, складывали губы как для поцелуя, прихлебывали, ждали чуть-чуть и снова прихлебывали.

Мужчины сидели в зале.

Оттуда доносились густые запахи еды и водки, слышались тосты и чоканье стаканов. Авром-Герш увидел раскрасневшиеся лица, седые, рыжие, черные косматые бороды и смутился.

Он стоял у порога в своей изношенной черной капоте, перехваченной узким поясом, беспомощно вертел в руках картуз и растерянно кивал.

Ох, не надо было идти!.. ай, не надо было...

Его старомодное местечковое одеяние еще больше подчеркивало, что он чужак в этом доме. К нему снова вернулось знакомое чувство приниженности, он сгорбился, втянул голову и будто стал ниже ростом.

Наконец его заметили, и тут же воцарилась тишина.

Из задних комнат высунулись любопытные лица девушек и нарядно одетых парней.

Замерла балалайка, брякнула вилка. Стало так тихо, что было слышно, как тикают часы и воет ветер за окном.

Кто-то засмеялся, но Долохов велел замолчать.

— Авро-омчик! — хозяин дома поднялся со своего места во главе стола. — Сюда иди, сюда!.. Гость дорогой!.. Стаканы, живо!

Авром-Герш неловко протиснулся к Долохову и настоженно сел. Ему было очень неуютно среди этих людей.

Мужики изрядно выпили. Мутные глаза из-под набрякших век обдавали холодком. Пьяные чужие лица.

Авром-Герш успокаивает себя: пришел — так сиди.

Он берет стакан вина, который ему протягивает Долохов.

— Дякую! Благодарю уважаемого Долохова и всех остальных хозяев...

— Э-э, нет, погоди! — перебивает его Долохов. — Пока я здесь хозяин, я — первый!

Он щурит левый глаз, морщит лоб, а в уголках губ таится усмешка.

Со стены на Аврома-Герша глядят скорбные лики в серебряных и позолоченных киотах. Перед иконами чадят, мерцают, масляные лампы. Желтым восковым светом горят огоньки, будто провожают мертвеца.

— Я пью, Авромчик, — начал Долохов, — за тебя... Иудушка ты проклятый... За тебя, кровопийца... Пью за вашу кровь, которая еще прольется.

Раздался гогот, и все начали громко чокаются.

Растрепанный священник, больше похожий на колдуна, поднял над головой запечённого поросенка и сунул его в лицо Аврому-Гершу:

— Ешь, ешь!

Авром-Герш побледнел, сердце его сжалось, а лицо исказилось от ужасной обиды.

— Собаки! — задыхаясь крикнул он и хлопнул дверью.



Авром-Герш сам не помнил, как вышел от Долохова и как пришел к себе.

На улице уже светало.

Песя испуганно села в кровати:

— Что с тобой, Авром-Герш?.. Авром-Герш, что ты молчишь?

Но ему стыдно рассказывать о том, что случилось. Скверно, тоскливо ему на душе.

— Ничего, Песя, — сказал он. — Спи... Ничего.

Не раздеваясь, он вытянулся на лавке, где Песя приготовила ему постель, и спрятал голову в подушку.

Уснуть он не мог.

Он вдруг подумал, что похож сейчас на того одноглазого китайца с обезображенным лицом, который работал с ним летом.

Как-то раз этот китаец охотился на медведя. Целый день преследовал зверя в тайге, а к ночи, когда совсем загнал его, медведь вдруг встал на задние лапы, передние, с мощными кривыми когтями, прижал к сердцу и, тяжело дыша, бессильно опрокинув голову набок, пошел прямо на охотника, глядя на него своими маленькими грустными глазами.

Китайцу надо было выстрелить, но ему стало жаль животное. Он улыбнулся и шагнул навстречу, и тут медведь полоснул его лапой и подмял под себя...

Авром-Герш поднялся и снял сюртук, подтянул штаны и крепче подвязал их веревкой. Вот он снова балагула-извозчик. На его худой сморщенной шее бьются две вены.

— Больно, Песя.

Но Песя его не слышит. Песя спит.



Утром в сельсовете собрался сход, где обсуждали создание коллектива. Там все и узнали о случившемся.

Вошел пограничник местной заставы, что-то сказал председателю собрания. Тот не поверил:

— Что-о-о? Не может быть!

В большом нетопленном доме, где только что кипели споры, сразу стало тихо. Пограничник начал рассказы-

вать о том, как кулаки посмеялись над Авромом-Гершем, но не успел он закончить, как кто-то крикнул:

— Вызвать Гершко на сход!

Кто-то побежал за Авромом.

Люди напряженно смотрели на председателя, но выступать робели. Не привыкли к этому. На сходе присутствовали и несколько только что прибывших еврейских переселенцев, но и они не проронили ни слова.

К председательскому столу вышел Василий, тот самый, что привез Аврома-Герша в село.

— Дай слово!

Но начать он никак не мог. Переминался с ноги на ногу и разглядывал свои растоптанные валенки. Наконец поднял глаза.

— Граждане... — он стал говорить о том, какой позор навлек на сельскую общину Долохов. — Гостя пригласил — и так над ним посмеялся...

Старик разозлился:

— Если Долохов думает, что ему когда-то... нарочно сказал Гершко...

На этих словах открылась дверь и вошел Авром-Герш. Все головы повернулись к нему и застыли. Сотни глаз внимательно изучали Аврома-Герша. Он не выдержал и опустил голову.

— Гершко, здравствуй, — Василий стал протискиваться к нему через толпу. — Ты это... не обижайся... Гершко...

Авром-Герш вздрогнул от неожиданности. К такому он не был готов. Он чувствовал себя виноватым. Виноватым перед собой и перед Василием.

В его глубоко запавших глазах под густыми седыми бровями сверкнула радость.



— Что ты, Василь?.. — И все морщинки на его лице собрались вокруг глаз. — Какие обиды?

Авром-Герш протянул Василию руку. Он просто хотел поздороваться с ним, как это делают старые знакомые. Но люди восприняли этот жест иначе. Бывает, что какая-то мелочь, пустяк истолковывается как что-то очень значительное.

Авром протянул Василию руку, — а народ поднялся со скамеек, хлынул к этим двоим и плотно окружил. Стоят Авром-Герш и Василий — борода к бороде, — а вокруг галдят люди.

Особенно стараются женщины. От горя ли, от радости — женщины кричат, так уж повелось.

У мужчин все иначе. Топчутся молча, прячут скупые улыбки под усами. А молоденький красноармеец от удивления разинул рот и вдруг закричал:

— Да здравствует...

— Дружба!.. — подхватили остальные.

Шум, гам, и вот уже летят шапки под потолок.

Авром-Герш тоже снимает шапку и тоже кричит. Он и сам не знает, почему кричит, только чувствует, что ему уже давно не было так хорошо на сердце.



**Абрахам Вайнер (1897–1982). Молоко и мед.**

Из альбома гравюр чикагских художников «Подарок Биро-Биджану», 1937 г.



## МОЙШЕ ГОЛЬДШТЕЙН

### Марш на Волочаевку

В то лето все небо над тайгой было затянуто тяжелыми холодными тучами. Неделями, почти не переставая, лили дожди. Вода от этого в ближних реках поднималась, все заметнее раздвигая берега. В округе затопило дороги, частью ушли под воду посевы. Обитатели таежного селения начинали и заканчивали дни в невеселом ожидании ясной погоды, и, когда, случалось, дождь на какое-то время прекращался, каждый из них работал за десятерых.

В один из хмурых дней, когда утренний дождь как будто перестал, а предобеденный вот-вот должен был начаться, по колхозу прополз тревожный слух, что на артельном складе не осталось ни горсти муки, ни ведерка фуража для лошадей. Еще слышнее стали разговоры о плохой работе правления, о председателе, который, затеяв «гигантское» строительство, отчего-то забыл о хлебе насущном для строителей, и что о вывозе муки со

станции Волочаевка надо было бы побеспокоиться еще до того, как начнутся эти дожди...

— Товарищ председатель, завтра мне уже нечего будет положить в котел, — услышал вместо обычного утреннего приветствия председатель Лейбман от поварихи Хаси, когда на минутку заглянул в столовую коммуны. — Это ж прямо беда! Вы посмотрите сами, сколько у меня осталось той черной муки, — показала хозяйка кухни на полупустой мешок в углу.

Лицо Хаси пылало не то от жаркого пламени печи, не то от плохо скрываемого гнева, и Лейбман невольно отвел глаза от пристального, прямо-таки режущего взгляда женщины. Что он мог сказать ей в ответ? Недовольно буркнув что-то себе под нос, председатель попятился к порогу. А Хася, уперев руки в бока и приняв позу превосходства, обратилась уже к работницам кухни:

— И как вам нравится такой хозяин, хочу я вас тут спросить?

Скосив глаза в направлении окна, она продолжала смотреть вслед поспешившему ретироваться Лейбману. Тот, не обходя луж, торопливо шагал по направлению к скотному двору, еще не уяснив себе, зачем он туда идет. Зачем? Да хотя б уж затем, чтобы не видеть разгневанного лица поварихи Хаси и опущенных глаз ее помощниц. «Стоп! А чего это я туда?..» — спохватился Лейбман, подойдя уже к самым воротам конюшни, и живо представил себе такие же лица, какие он только что видел на колхозной поварне. И уже поворачивая назад, подумал вдруг: «А что если сейчас на коня... и... хоть куда-нибудь?»

Осторожно, почти крадучись, что было совсем не в его привычках, Лейбман подошел к двери конюшни и, при-

открыв ее, заглянул внутрь темноватого помещения. Почуввав человека, лошади повернули головы в его сторону. Лейбман поежился: в глазах животных отчетливо читался немой укор. Досадливо крикнув, председатель переступил порог сарая. Что он увидел? Пустые ясли, опавшие — хоть ребра считай — лошадиные бока, изгрызенные доски перегородок... «Вот дожили, а! Не иначе, как самим нам придется в телеги впрягаться», — пятась к выходу, сокрушенно проговорил он вслух.

В дверях Лейбман лицом к лицу столкнулся с конюхом Мотей. Тот нес за плечами испачканный мешок. Сделав вид, что он и не заметил неожиданного гостя, Мотя ловко разминувшись с предкоммуны и, перекинув ношу на правую руку, двинулся вдоль яслей, посыпая в них что-то из мешка. И тут у Лейбмана возникло подозрение: уж не тот ли это мешок, который ему только что демонстрировала на кухне разгневанная повариха Хася?

— Стой, Мотя, стой! — рванулся председатель к конюху и крепко ухватил его за рукав. — Что ты делаешь и что у тебя в этом мешке?

— Не трогайте меня! Видите же, я занят!

И легко освободившись от председательской хватки, Мотя продолжил раздачу корма, пока мешок не опустел совсем. Лошади с негромким радостным ржанием теснились к кормушкам и, пофыркивая, быстро очищали их, по всей вероятности, от последних горстей колхозной муки.

— Я не знаю, кому хорошо от этих биробиджанских дождей, но скажите мне, кто должен думать здесь за корм для лошадей? — швырнув к ногам председателя пустой мешок, с надрывом в голосе проговорил Мотя и смахнул пот со взмокшего лба.

— Где ты взял эту муку, Мотя?! — эхом прозвучал вопрос Лейбмана.

— «Где взял? Где взял?»... Или то ваша забота? Украл — вот где! — послав себе под ноги смачный плевок, отвечал конюх, вызываясь глядя прямо в глаза председателя.

— Но ты знаешь, Мотя, за такое дело...

— Какое такое дело?

— Это же мука... — и Лейбман вновь отчетливо, до малейшей детали представил себе недавнюю сцену на колхозной кухне: вот Хася с закатанными по локоть рукавами кофты указывает ему на сиротливо стоящий в углу мешок с остатками общественной муки, а неподалеку от двери стоит Мотя, сосредоточенно сворачивая толстую махорочную сигарку... Да, точно так оно и было. И вот теперь этот Мотя стоит напротив него, а между ними валется тот самый мешок. Только уже пустой. И воображение Лейбмана рисует картину вероятных событий, когда грозная Хася обнаружит у себя на кухне пропажу последней муки...

— Слушай, Мотеле, — тихо говорит председатель стоящему напротив него человеку. — А что, если мы запрежем сейчас твоего гнедого и вон ту карюю кобылку и...

— И что потом? — озадаченно перебил Мотя.

— ...и притащим из Волочаевки хотя бы пяток мешков этой муки.

— И через реку тоже?.. — кривит в усмешке губы Мотя и изучающе смотрит на председателя: это ж, мол, надо только придумать такое!

— Ну а ты что тут можешь придумать? — будто прочитав мысль конюха, вслух парирует Лейбман.

— Ха! Разве это уже мое дело — морочить себе голову?

— срезал председателя конюх и, повернувшись в сторону яслей, громко произнес: — Эх, лошадки! Ну и хозяева у вас — чтоб им вот так же было! Или вы тоже не слышали, сколько раз говорили у нас за постройку склада здесь, на месте? Может, теперь и вы имеете что-то нам сказать?

Обескураженный Лейбман поспешил удалиться, а конюх Мотя, подостлав пустой мешок на мокрую корягу, присаживается, скручивает толстенную сигарку и, выпустив изо рта густой клуб табачного дыма, умиротворенно произносит:

— Ничего-ничего, лошадушки! Пока у вас тут в конюхах ходит Мотя, с голоду помереть он вам таки не даст.

Перекурив, конюх берет в руки мешок и направляется к строениям соседнего колхоза: уж мешочек-то овса он там обязательно выпросит в долг.

Между тем сперва как бы несмело накрапывающий дождь становится все чаще и гуще, небо над тайгой опускается еще ниже, и вот уже снова всю шумит холодный ливень.

...Вечером в коммуне «Гигант» было объявлено экстренное собрание. В переполненном клубе собрались, кажется, все, кто только мог. По лицам собравшихся легко определить стаж членов сельхозартели: вот эти — загорелые, обветренные — отличают старых биробиджанцев, все иные принадлежат «городским» — совсем недавно прибывшим сюда новоселам. В помещении шумно. Гул голосов стихает, когда секретарь парторганизации товарищ Лева объявляет о начале собрания:

— Товарищи, на повестке дня сегодня стоит один вопрос — ...

«... Что будем завтра кушать?» — доносится громкая реплика-подсказка откуда-то с заднего ряда.

— Правильно формулируете, — соглашается Лева. — А сейчас слово имеет председатель коммуны товарищ Лейбман.

За время, пока Лейбман проделал несколько шагов к столику для выступающих, голоса в зале стихли и в клубе наступила непривычная тишина. Лейбман держал перед собой раскрытую записную книжку, с которой не расставался, кажется, никогда. Он когда-то и на эту никем еще не обжитую сопку поднимался с записной книжкой в руке.

— В интересном оказались мы с вами положении, товарищи, — с вымученной улыбкой начал выступление председатель. — На складах на станции Волочаевка лежат продукты, которых всем нам хватит с избытком до самой зимы, а у нас тут образовалось узкое место. Вы только себе представьте: там мы имеем полторы сотни мешков муки, а здесь завтра не хватит муки даже на буханку хлеба.

— Что, уже-таки завтра?! — донеслось из тишины зала.

— А чего раньше ждали? — отозвался еще один голос.

— Ждали? Да нет, как раз и не ждали... Не ожидали тех трудностей, с которыми нам с вами пришлось здесь сегодня столкнуться — трудностей освоения земли Биробиджана, — продолжал Лейбман, но слова его потонули в общем шуме зала:

— А что конкретно сделало ваше правление?

— Разве нельзя было до этих пор построить свою базу?

— Ответьте, пожалуйста, какие меры вы сами принимали для доставки продуктов?

— Правление занимается... — начал было Лейбман.

— ...Гигантскими планами оно занимается, — бесцеремонно оборвал кто-то председательскую фразу.



— Надо в район жаловаться!

— Да что в район? В Москву писать надо!..

Лейбман стоял бледный. Он понимал, что весь этот «порох» — против него, и если сегодня произойдет взрыв, исправить его последствия будет уже невозможно. Мрачные размышления председателя прервал пронзительно зазвеневший в руке товарища Левы звонок:

— Прекратите ваш базар! Каждый получит слово.

Партсекретарю стоило большого труда урезонить расходившихся «ораторов из толпы». Однако Лейбмана слушать уже никто не хотел. Тихо в зале стало только тогда, когда к столику для выступающих подошел «старый» биробиджанец конюх Мотя.

— Ша! Штил, идн! Тихо! — начал он.

— Пусть говорит! Дайте человеку сказать! — прошумели голоса в зале.

Коммунары Мотю хорошо знали, относились к нему с уважением, цenia его трудолюбие, скромность и простоту. «Настоящий биробиджанец», — одобрительно отзывались о нем и новички, и старожилы «Гиганта».

Мотя пришел на общее собрание в белой полотняной рубашке, подпоясанной узким ремешком, был чисто выбрит и аккуратно причесан. Ни дать ни взять на посиделки или на свидание с девушкой человек собрался. Приосанившись, Мотя обвел глазами притихший зал и заговорил:

— Все это большое безобразие — вот что я хочу вам сказать, — выразительно встряхнул он в воздухе поднятым кулаком, будто собираясь кого-то хорошенько стукнуть. — Я уже четвертый год в Биро-Биджане, и еще-таки ни разу не было такого, чтобы мы остались без корма. Только если нельзя возить грузы на лошадях, то почему

нельзя возить те грузы по воде? А для фуража у нас давно можно было построить хотя бы временный навес. Но пока председатель товарищ Лейбман думает о разных гигантах, лошади наши стоят голодные.

— Ты лучше скажи, что нам, по-твоему, делать сейчас! — прервал речь конюха председательствующий товарищ Лева.

— Прямо сейчас?

— Ну да! Или ты не слышал, что на завтра у нас не то что корма для лошадей, а и хлеба нет.

— Завтра... — задумчиво произнес выступавший и обвел глазами ряды сидящих. — Завтра — день выходной. Можно будет всем пойти в Волочаевку и принести оттуда немножко продуктов.

При этих словах в зале с грохотом задвигались скамейки, поднялся невообразимый шум:

— Ну ничего себе!

— Весь склад сюда понесем?

— И всем колхозом утонем в болоте!

— И что, надо будет все нести прямо в руках? — со страхом и удивлением переглядывались недавние новоселы.

— Нехай те продукты наше правление носит!

— А давайте председателя в телегу впряжем...

Долго еще так шумел в клубе народ, на все лады обсуждая и осуждая никчемную работу правления и завтрашний поход в Волочаевку, в котором таки — а что делать? — придется принять участие всем колхозом.

...Пожилая чета Эльманов спустилась с сопки к реке самой последней, и один из колхозников, добровольно взявший на себя роль перевозчика, раздраженно прикрикнул на стариков:

— Нельзя ли побыстрей? Тащатся, понимаешь, с ножки на ножку...

— Иди, Меир, иди скорее! Посмотри-ка, мы же с тобой последние, — торопила мужа Бейла и, ухватив его за рукав пиджака, тянула спутника к лодке.

— Садитесь поживей! Или вы не видите, какой дождь опять собирается? — торопил супругов перевозчик, сидя в раскачивающейся лодке, и как только Эльманы устроились на корме, сильными взмахами весел погнал лодку к противоположному берегу, уже завешенному сеткой дождя. Здесь он привязал лодку подле двух других, переправившихся первыми, и весело крикнул пассажирам: «А теперь рулите сюда!» — и зашагал напрямик через болото. Едва поспевая за ним, двинулись вперед и Эльманы. Большой дождь шел чуть в стороне отсюда, лица путников холодила липкая водяная пыль. По обеим сторонам дороги, едва ли не сплошь залитой желтыми и серыми лужами и лужицами, стеной стояли дикие травы.

Эльманам не без труда удалось догнать пешеходов, растянувшихся по дороге редкой цепочкой.

— Поторопись, пожалуйста, Меир. Давай уже пойдем вместе со всеми. Вон видишь, где они, — время от времени повторяла старая Бейла, обращаясь к мужу. Оба они только что одолели подъем на заросшую дубняком горочку и едва переводили дыхание.

— Вечно ты торопишься, Бейла. Ты сама посмотри: разве можно устраивать гонку по такой дороге? — уже вливаясь в нестройные ряды коммунаров, ворчал Меир, радуясь про себя, что теперь можно и не очень-то спешить.

«О, и реб Меир с нами!» «Бейла, здравствуйте. Идемте

уже вместе», — явно сочувствуя старикам, приветствовали их в группе замыкающих колонну.

Растянувшись неровной цепочкой, люди упорно идут вперед. Извилистый проселок, беспорядочно выложенный мутно-серыми плитами лужиц, луж и целых разливов, скользит под ногами идущих, минуя невысокие подъемы и спуски. Дорога, обходя сплошь залитые водой низины, все время жмется к мокрым кустарникам и перелескам. Необычно выглядит в это хмурое утро нестройная колонна путников посреди зеленой пустыни, словно придавленной мрачными низкими тучами. Медленно-медленно, словно нехотя, занимается новый день, и — вот он — опять начинает накрапывать холодный дождь, сгоняя с людей остатки сна.

Меир и Бейла, влившись в группу отставших, так и идут вместе с ними. Впереди всех шагают старые биробиджанцы. Станным кажется этот переход коммунарам, прибывшим в «Гигант» не так давно. И правда: разве это не удивительно, когда члены коммуны-артели все до одного закрывают двери домов и всем кагалом, едва ли не по бездорожью, отправляются куда-то на продуктовый склад? Прямо как в лавку за покупками. Только «лавка» та располагается далековато. Как раз за семь верст от дома...

Идущие изредка обмениваются скупыми репликами.

— Послушай сюда, Меир. Ты можешь понять, что делается?

— Ох, Бейла, — тяжело дыша, отвечает ей супруг. — Разве кто может такое понять? Только придумать, ты видишь, это было можно...

— А я, хочу вам сказать, совсем не таким представляла себе этот Биро-Биджан, — пытается завязать Бейла раз-

говор с человеком, идущим слева от нее. Меир тотчас же одергивает жену:

— И что? Сейчас тебе обязательно надо об этом говорить?..

Между тем усилившийся было дождь слабеет, однако впечатление такое, будто дождевые капли просто оставались, повисли в воздухе, и без того до отказа напитанном влагой.

— Все дождь и дождь... — слышится вздох.

— Может, уже вернемся назад?

— Ой, да разве ж то дождь!

— Погоди еще...

Передняя группа идущих ускоряет шаг. Их поступь тверда и уверенна, ноги их уже приучены ходить по трудным дорогам этого края. А задние едва поспевают за головной колонной и, кажется, готовы остановиться со всем. Меир и Бейла опять семянят позади всех и уже с трудом переводят дыхание:

— Ой, сил моих нет! — остановившись, восклицают оба в один голос. Они и вправду выдохлись, эти старики, и сейчас еле переставляют ноги, чуть ли не по щиколотку облепленные тяжелой глиной. Лица Эльманов покрылись нездоровым румянцем, в странно посветлевших глазах — страдание, почти скорбь.

— Может, вам не нужно было с нами идти? Или, может, вам уже надо потихоньку вернуться? — участливо обращается к Эльманам кто-то из биробиджанских старожил.

— И правда, чего вам так мучиться? Идите уже обратно

— Как?! Что вы себе такое говорите?! — звучат в ответ возмущенные голоса. Хорошенькое дело — вернуться...

Вы слышали такое? Вся наша сопка пошла, а нам «не надо было идти»?

Нет, разве их можно вот так отделять от всех остальных? Им даже обидно сейчас, что их вроде как жалеют. Да они, если хотите знать, весь вечер вчера к этому походу готовились. И вот на тебе — «Может, вам с нами и идти не надо было»... Разве ж не Бейла Эльман вчера после собрания принесла из дому целых десять новеньких чистых мешков и отдала их Лейбману? Возьмите, мол, товарищ председатель, если вам надо, эти мешки. Посмотрите: они совсем новые. В них, я вам должна сказать, можно держать сахар — вы сами видите, какие они плотные. От чистого сердца Бейла все делала, а тут мы ну как будто лишние стали. Разве не обидно?..

Однако через минуту о досадном недоразумении было забыто: над головой колонны, нарастая и ширясь, зазвучала хорошо знакомая всем здесь песня со словами: «Дальневосточная, даешь отпор, даешь отпор!..» Выдвинувшись из-за леса, перед глазами тех, передних, во всем своем величии и великолепии предстала статуя героя-народоармейца, венчающая Партизанскую сопку. Окруженный изгородью из колючей проволоки, высоко над головой держа винтовку, стоит боец революции, а далеко вокруг льется сейчас песня, которую любят и поют люди упорные, крепкие и уверенные в себе. «Даешь отпор!»

Давно уже проснувшиеся жители Волочаевки, слышав громкое пение, выходят на крылечки и с удивлением смотрят на идущих:

- Это что за марш?
- До завтрака вроде как рано маршировать...
- Це який же ж сьогодні як то... праздник?
- Неужто евреи решили бежать со своей сопки?

— Та ни. С пустым-то мешком не побежишь.

— Куда ж это они все?..

Для волочаевцев, которым далеко не в новинку разные марши, этот сегодняшний казался по меньшей мере странным, и сейчас вся улица, по которой коммунары входили в село, с удивлением смотрела на идущих. Кто-то качал головой, кто-то пожимал плечами, кто недоуменно почесывал затылок: гляди-ка ты, идут да и поют еще... Пели теперь уже все марширующие. Даже шедшие позади всех Меир и Бейла подпевали молодым голосам («Какая же трудная эта русская военная песня, Меир...»). И хотя Эльманы, как и все в колонне, промокли до нитки, шаг их стал тверже и уверенней...

Надо было видеть, с какой скоростью и сноровкой действовали люди на расфасовке муки, пересыпая ее из неподъемно-тяжелых складских кулей в разномастные и разнокалиберные мешки, сумки, мешочки и саквояжки. Пропустив очередной состав, к работающим подошел начальник станции с бидончиком в руке и, глядя, как ловко работают коммунары, сказал, обращаясь к Лейбману:

— Надо бы вам, друзья, уже и свою базу в коммуне иметь. Тогда можно будет и урожай с поля к себе домой свозить, и все, что по железной дороге к вам идет, у себя хранить. Пора вам хозяевами на этой земле быть.

Лейбман принял замечание молча. Он только что-то хмыкнул себе под нос, занятый записями в своем блокнотике. Да, ты прав, начальник. Или не о том же самом говорили мы у себя вчера на колхозном собрании? А сейчас мне не до разговоров с тобой — надо продукты принять. Лейбман считал килограммы муки, выносимой сейчас со склада, и каждый мешок казался ему частью

груза, который люди дружно снимают с его собственных плеч. Председатель снова постепенно переключался на привычные мысли о будничных делах сельхозартели: завтра надо будет обязательно сделать то-то и то-то, а послезавтра... Ну перестанет же когда-нибудь, наконец, этот дождь?!

Конюх Мотя, едва ли не первым набив овсом объемистый мешок, нетерпеливо поглядывал на остальных, чего, мол, они возятся, если все уже получили свои порции продовольствия, и крикнул:

— Ну, чего ждем? Пошли! Я, например, уже ушел...

— Погоди, Мотя, — отозвался кто-то из колхозников.

— Одному в лодке тебе тесно так не будет. А другим на этом берегу что же, ждать да мокнуть, пока ты обернешься?

Махнув рукой, — ладно, дескать, понял, — Мотя отставляет свой мешок и принимается помогать тем, кто еще не готов идти:

— А что, нельзя шевелиться побыстрей? Да нет, не я — вон дождь нас торопит. Видал, какая туча опять заходит?

Конюх был прав: в округе потемнело, ближние сопки уже потонули в пелене дождя. Впрочем, торопить здесь никого особо не требовалось. И тот, кто был готов отправиться в обратный путь, тут же помогал другому. Супруги Эльманы наполнили свои мешки сахаром: или они не говорили, что новые мешки годятся как раз для сахара?

Когда в складском помещении стало совсем просторно, коммунары «Гиганта» дружно отправились в обратный путь. Теперь в Волочаевке уже не удивлялись, глядя на их шествие. А бывшие партизаны смотрели на людей с мешками с уважением: в свое время им, участникам



Гражданской, тоже приходилось совершать похожие переходы. Удивляло их только то, что в «строю» были и женщины.

— Это у них субботник сегодня, — со знанием дела громко пояснила стоящим с ней рядом девушка в красной косынке.

В голове колонны опять кто-то завел было песню, но скоро она сама собой угасла: не много напоешь, когда ноша оттягивает плечи. К тому же стоило и поторопиться — людей подгоняла погода. Вершины ближних сопок прятались в низких тучах.

— Давайте побыстрее, товарищи! — слышится из головы колонны голос Лейбмана, хотя он и сам прекрасно видит, что люди спешат, двигаются по дороге напрямик и уже не обходят глубоких луж. Сам председатель несет на плечах пухлый мешок, время от времени замедляет шаги и, повернув наклоненную голову в сторону идущих, не без удовольствия отмечает: все идет нормально и сопка теперь продуктами и фуражом, считай, на какое-то время обеспечена. Лейбман отыскивает глазами конюха Мотю. Коренастый, не очень рослый, навьюченный большим мешком, колхозный конюх бредет сейчас чуть ли не по колено в воде и от этого кажется совсем маленьким. Когда конюх поравнялся с председателем, тот окликает его:

— Зря ты, Мотя, не захотел вчера лошадей запрягать, чтоб они сами доставили для себя фураж, а теперь вот... Смотри, дорога-то дальше совсем плохая.

— А что, сейчас тут есть где-то дороги совсем хорошие? — хрипло отвечает Мотя вопросом.

— Но ты же сам видишь, что...

— Что я вижу?

— А то, что хотя тут у нас хороших дорог нет, зато у нас тут есть хорошие люди, — смеется Лейбман. — Идет, посмотри, народ, двигается...

— Народ, конечно, идет, — тяжело повернувшись к председателю всем корпусом и глядя ему прямо в глаза, парирует Мотя. — Только что тому народу остается делать, если какой-нибудь председатель не сумел найти для него другой дороги?

— Ты так думаешь? — криво усмехается Лейбман.

— А как мне думать еще? — с вызовом рубит Мотя и, резким движением поправив на плече тяжелый мешок, останавливается, ожидая, пока с ним поравняются задние и присоединятся к ним. В последних рядах — только женщины.

— А вы чего это держитесь отдельно от всех? — полуссутя интересуется у них Мотя.

— А чтоб вы не слышали, что мы о вас тут говорим, — сощутив жгучие черные глаза, отвечает языкастая Хася.

— Критика и самокритика — дело хорошее, — подходит к группе женщин Лейбман. — Говорите все, что думаете. Только самое-то главное сейчас что? — обращается он к Хасе. — То, что теперь тебе есть что в котел положить. Так?

— Ой, спасибо вам с кисточкой, спаситель вы наш! — дурашливо запричитала повариха. — Только если в другой раз по вашей милости мы останемся без продуктов, мы знаем, кого в тот котел покласть.

Женщины хмуро поглядывают на Лейбмана:

— Что хорошего? Люди еле ноги тащат.

— Все плечи эта мука оттянула. Уже не знаешь, как ее лучше и нести.

— Мы сюда ехали, думали, хоть тут жизнь получше бу-

дет, — особо ни к кому не обращаясь, вздыхает одна из новоприезжих.

— Будет, милая, будет и здесь хорошая жизнь, — тотчас отзывается Хася.

— Когда то еще будет? — тяжело вздыхает новенькая.

— А вот как только выберем нового председателя, так все и пойдет как следует, — полыхнув глазами в сторону Лейбмана, четко декларирует Хася. — И нечего тут вздыхать! Слышали же: субботник у нас сегодня. А субботник — дело добровольное, и никто вас не принуждал с нами тащиться. И кому легко? Кто от нас далеко.

— Даже так?

— А как вы думаете?

— Я знаю?..

— Я не знаю, как вы жили там, откуда вы сюда приехали, только здесь у нас хорошая жизнь обязательно будет. Иначе для чего мы эти болота месим, для чего строим, для чего эту землю своей назвали?

Говорят, от сердца сказанные слова к другому сердцу сразу льнут. Лица женщин, окруживших Хасю, становятся строже и светлей, и как-то легче — пусть всего лишь самую малость — становится ноша...

...Когда передние подошли к реке, сюда же, к ее берегам, подтянулась и первая волна дождевых туч, наступающих с юго-востока. Начали подходить к реке и все остальные участники «марша». И уже здесь, перед самым домом, внезапно хлынувший ливень заставил людей снимать с себя верхнюю одежду и спешно укрывать ею мешки. Не нести же домой вместо муки тесто?.. В это время от берега донеслись тревожные крики. «Что там такое случилось? — спрашивали друг друга люди. — Пора

уже переправляться, иначе ж перепортим все продукты. Такой дождь»...

— Так ведь лодок нет!!!

— Как это нет?!

— Ничего себе!

— Господи, и тут эти вредители...

— Мамочка моя! И что ж теперь делать?

— И ведь привязали крепко...

— Ну вот здесь же они, на этом самом месте были!..

На лица людей легла печать недоумения, растерянности и страха. Сейчас они беспомощны.

— Евреи, что ж вы стоите?!

— Надо бежать и искать эти лодки.

— Куда бежать? Когда? Ты посмотри, как льет.

И тут произошло нечто, заставившее всех замолчать. Отделившись от толпы, к тому самому месту, где были привязаны лодки, подошел конюх Мотя и, вскинув над головой мешок, вошел в воду. Сделав десяток шагов и стоя уже по пояс в мутной воде, он громко и как будто даже весело крикнул, оборачиваясь к стоящим на берегу:

— Здесь неглубоко! За мной — шагом ма-а-арш!..

На берегу воцаряется тишина. Люди переминаются, переглядываются и, кажется, чего-то ждут, а затем несколько стоящих у самой воды на удивление дружно вскидывают над головами свои мешки и один за другим входят в воду. Сначала идущие как будто уменьшаются в росте, на середине реки они бредут по пояс в воде. Медленно тянутся минуты, медленно движутся люди, и вот уже из-за сетки дождя видно, как переправляющиеся поравнялись с деревьями, что растут прямо из воды у того берега реки, перед самым подъемом на сопку.

Оставшиеся на этой стороне реки коммунары следуют

примеру тех, первых. С поднятыми над головами мешками, мешочками, узлами и «оклунками» коммунары один за другим входят в воду и медленно передвигаются наискось по течению реки, стараясь не отклоняться в сторону от «дороги», по которой только что проследовал конюх Мотя и те, первые. Шум дождя сливается с плеском и журчанием мутной воды. И вот уже и самые последние идут по залитому водой прибрежному лугу. Здесь совсем мелко, мешки можно снова положить на плечи. И хотя по лицам людей струями стекает вода, в глазах светится радость. Они пришли домой...

Меир и Бейла уже переоделись в сухую одежду. В руках у старика — насквозь промокшее полотенце, Бейла зябко кутается в шерстяной платок. Только теперь они чувствуют, как же они сегодня замерзли в этой реке и под этим дождем. Но на полу перед ними — вот они — лежат два мешочка с сахаром. Конечно, сильно отсыревшим. Ну а что можно было сделать?

— Нет, Меир, ты таки можешь мне сказать, что делается на этом свете? — пряча руки в рукава кофты, пытается мужа бобэ Бейла.

— Ну что тебе сказать, Бейлочка? Разве ж ты сама не видишь, что делается? — вздыхает Меир, задумчиво глядя в залитое дождем окно...

А с верхнего этажа дома до слуха стариков доносятся веселые голоса мужчин, громкий женский смех и топот крепких ног.



**Моррис Топчевский (1899–1947). Навстречу новой жизни.**

Из альбома гравюр чикагских художников «Подарок Биро-Биджану», 1937 г.



## ЯША ЧЕРНИС

### Дорога на Кукан

*(отрывок)*

На север от города Биробиджана, в самой глубине тайги находится селение под названием Кукан. В начале тридцатых годов в этом селении (а вернее будет сказать «в этом стойбище») кроме двух-трех десятков русских проживали нанайцы и якуты, а сам населенный пункт входил тогда в административные границы Биробиджанского национального района. В Кукане были колхоз, школа и детский сад, клуб и медицинский пункт, работал там же небольшой магазин потребительской кооперации. Колхозники дальнего таежного поселка занимались главным образом охотой и рыболовством.

В теплое время года ни малейшей возможности попасть в Кукан никогда и ни у кого не было: сплошная тайга, перемежаемая на протяжении километров непроходимыми болотами, напрочь отгораживала это селение

от относительно обжитых мест. Летом лишь немногим смельчакам из числа рабочих леспромхоза удавалось выбираться из-под Кукана на плотках по реке Урми. Однако, доставив лес на железнодорожную станцию Николаевка, лесозаготовители-плотогоны могли возвратиться на свои деляны только с наступлением устойчивых морозов, которые, сковав ледяным панцирем реки и болота, позволяли людям добираться в Кукан по снежной целине — по так называемому зимнику, направление которого знал далеко не каждый даже из местных старожилов.

В таких условиях, например, школьные учителя, как и другие прочие служащие, волею судеб заброшенные в Кукан, едва ли не по целому году ждали выдачи заработной платы и получали ее лишь с наступлением зимних холодов.

Однажды случаю было угодно возложить миссию курьера-инкассатора на автора этих записок. Хотя почему бы не порадовать куканцев и мне? Все бы ничего, если б не одно существенное обстоятельство: в Кукане том я ни единого раза не бывал и, естественно, дороги туда знать не мог (сразу же должен оговориться, что слово «дорога» употреблено здесь мною, как вы понимаете, чисто условно). Однако мне обещали дать надежного проводника. Стать им должен был председатель Куканского сельсовета нанаец Издикан. Человек этот должен был тогда со дня на день вернуться из поездки в Москву, куда в числе других делегатов от Биро-Биджанского национального района куканский предсельсовета ездил встречать очередную годовщину Октября.

В райкоме партии мне, между прочим, было сказано буквально следующее:

— Вот побываешь в Кукане и, надо думать, благопо-



лучно оттуда вернешься, будем считать, что нет во всем нашем Биро-Биджане такого уголка, где бы не побывал товарищ Чернис. Ведь так?

В биробиджанском отделении Госбанка мне вручили под расписку при мне же извлеченный из сейфа объемистый и обляпанный сургучными печатями рюкзак с деньгами. Тут же, поудобней прилаживая на себе его широкие лямки, я почувствовал, что ноша моя будет не из самых легких. Здесь же, в банке, мне сообщили, что мой провожатый Издикан уже завтра утром будет ждать меня на базе Курурмийского леспромхоза, что он будет с собакой и что при себе у него имеется охотничье ружье плюс добрый запас провианта в дорогу — мешок мороженных пельменей из медвежатины.

На складе биробиджанской конторы «Заготпушнина» я получил целых два костюма из меха косули, сшитых наподобие комбинезона, меховую же куртку, спальный мешок и вдобавок ко всему этому — унты, какие носят у нас обычно летчики полярной авиации. В общем, я мог себя чувствовать с лихвой обеспеченным легкой и удобной одеждой, в которой человеку в тайге никакие морозы не страшны.

## В ПУТИ. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

В углу широкого заснеженного леспромхозовского двора трепещет на ветру огонек костра. Над огнем, на трехногом таганке исходит паром закопченный казанок. Подле костра на толстом березовом чурбаке неподвижно сидит нанаец с трубкой в зубах, чуть в сторонке от него лежит лохматая собака.

На ходу скинув с себя рюкзак, подхожу к костерку, здороваюсь. Кивнув мне в ответ на приветствие, нанаец окидывает меня оценивающим взглядом, и по его темному морщинистому лицу, вижу, расплывается доверчивая улыбка. Да, этот человек и есть тот самый Издикан. Представившись ему, сажусь рядом и, чтобы начать разговор, интересуюсь, как зовут его собаку. Сразу не ответив на мой вопрос, Издикан поворачивается в сторону пса и проговаривает что-то на своем языке. Собака поднимается с земли, приблизившись ко мне, устремляет на меня неподвижный взгляд желтых глаз, потом обнюхивает мои колени и опять ложится на свое место. Рассматривая здорового охотничьего пса (как мне было сказано, он отзывается на кличку Хунзай), сразу не могу сообразить, то ли передо мной черная собака с белыми пятнами, то ли, наоборот, белая с черными пятнами. А уже через минуту я наблюдал такую сценку с участием Хунзая. Издикан что-то опять негромко сказал ему по-нанайски, после чего собака подошла к моему рюкзаку, лежавшему в сторонке, неторопливо обнюхав его, повиляла косматым хвостом так, словно выражала удовлетворение от знакомства с новым для себя объектом, и снова улеглась на снег.

В начале девятого во дворе показался заведующий леспромхозом Скворцов, невысокий коренастый мужчина средних лет со следами оспы на лице и пышными буденовскими усами. Скворцов видит одним глазом (как я узнал позже, левый глаз он потерял в результате ранения в годы Гражданской). Леспромхозовский зав освещен о моем поручении и, перебросившись с нами несколькими фразами, решил попробовать на вес мой «рюкзачок». Но стоило Скворцову только наклониться к

мешку, как рукав его полушубка мгновенно оказался крепко зажатым зубами Хунзая. Строгий окрик Издикана предупредил дальнейшее развитие небезобидного «сюжета»: пес выпустил из пасти рукав любопытного и с недовольным рычанием вернулся на свое место, приняв свою обычную позу — лежать на брюхе, уложив голову на вытянутые передние лапы.

Издикан, вынув изо рта трубку, сощурился и без того узкие глаза-щелочки, всматривается в прозрачно-голубое небо, произносит:

— Солнце однако поднялось, а день, шайтан-шаман, долгим не будет. В дорогу собираться пора.

— Може, погодишь ишшо? Ты ить сам после такой дороги. Из самой аж Москвы, — нерешительно возражает Скворцов.

— Не-а. У нас говорят, если с началом дела опоздал, постарайся его закончить рано... Ну а еще говорят, что самая тяжелая ноша в пути — голод твой. Так что нам сейчас и покушать будет не во вред.

По-русски Издикан говорит с сильным акцентом, и вместо «законного» ш в словах его звучит с, поэтому «покушать» превращается у него в «покусать». И как бы в подтверждение своего высказывания о еде, он толстой щепой отодвигает от огня казанок с варевом и широко разводит над ним ладони, что определенно соответствует приглашению «Пожалуйте к столу!» Я реагирую на это должным образом: то есть подставляю повару для наполнения свой котелок и с готовностью вытягиваю из-за голенища унта деревянную ложку. До того завтрака под холодным ноябрьским небом медвежье мясо, а тем более в пельменях, мне употреблять как-то, знаете, не доводилось, и, распробовав это блюдо, я представил себе, что

вот прямо в этот момент вдруг появится передо мной великан-медведь и скажет мне: «Ты ешь с таким аппетитом, как будто еще в детстве привык питаться медвежатиной в своем Володарске, когда, помнишь, был подручным у отца-пекаря».

Пельмени с необычной начинкой мне действительно пришлись по вкусу. Правда, бульон, в котором они варились, показался мне сладковатым. Но, думаю, если чуть больше обычного добавлять в него соли и перца, то выйдет очень даже ничего. Кстати сказать, Издикан уже перед самым нашим выходом в путь и пса своего попотчевал остуженными пельменями. Не забыли мы прихватить с собой в дорогу трехногий таганок (по совету моего спутника я привязал это приспособление к рюкзаку), а запас из нескольких коробков спичек я упрятал под лицевой козырек своей ушанки.

Мешок с провизией Издикан с помощью бечевки тоже превратил в рюкзак, но гораздо более тяжелый, чем мой с деньгами. Кроме того, моему провожатому предстояло нести на себе ружье и полный патронташ. Нелегко придется человеку. Утешало одно: по мере нашего продвижения к цели ноша Издикана будет терять в весе: количество пельменей уж точно с каждым днем будет уменьшаться. Но пока что проводнику — что тут поделаешь? — придется какое-то время потерпеть.

Все то время, пока мы готовились к переходу, Хунзай наш не переставал тихо поскуливать, постоянно крутился под ногами и, наверняка понимая смысл наших действий, был чрезвычайно доволен тем, что мы вот-вот покинем место нашей встречи.

— Вы там мимо наших никак не пройдете. Так что обязательно передайте им, что через недельку я сам к ним с

пополнением буду, — прощаясь, попросил нас товарищ Скворцов. А перед этим он вручил мне что-то вроде дорожного посоха со словами: «Примите от меня на удачу. Пригодится. Палочка эта уже три раза в Кукане побывала...»

Мы вышли с леспромхозовского двора. Первым, словно в точности зная наш маршрут, радостно прошмыгнул через калитку Хунзай. Перейдя линию железной дороги, мы оказались на необычно широкой улице, образованной, судя по их виду, недавно построенными однотипными бараками, и вскоре уже шагали по околице санным путем, по бокам которого множеством тонких нитей тянулись по снегу полосы — следы, оставленные возами с сеном.

Время близилось к полудню, крепкий еще с утра морозец и не думал спадать, хотя солнце над заснеженной равниной полыхало во всю свою мощь. Впереди нас бежал пятнистый пес, за ним шел Издикан, позади него я. Двигались молча. Я не без некоторого удивления наблюдал за проводником. С избытком нагруженный ношей, он двигался вперевалку, покачиваясь из стороны в сторону, отчего меня не оставляло опасение: может ли человек вот такой с виду небрежной «прогулочной» походкой преодолеть большое расстояние? Однако спутник мой шел легко и довольно быстро, а чтобы мешок с провизией не очень мешал ему при ходьбе, Издикан немного сутулился.

По мере нашего продвижения вперед к дороге все ближе подступали заросли орешника, над которыми поднимались густые кроны не теряющих зимой сухих и шумливых листьев своих молодые дубки. С утра было безветренно, вокруг царила тишина, и, если остановить-

ся, можно было расслышать разве что шорох листвы под лапами Хунзая. Этот все время бегал взад-вперед, словно отыскивая чьи-то следы, временами настороженно вострил уши; повиливая хвостом, крутился вокруг хозяина и снова, будто вспомнив что-то важное, принимался суетливо носиться туда-сюда.

Через несколько часов ходьбы следы саней и листочки от сена под ногами остались у нас где-то позади, теперь нас со всех сторон обступала тайга. Издикан, преодолев небольшой подъемчик, останавливается и, обернувшись ко мне, дает знак сделать привал. С облегчением сбрасываем с плеч груз и располагаемся под старым кедром, ствол которого в полутора-двух метрах от земли раздваивается и издали смотрится этакой косматой рогаткой. Присев на толстую колодину — на то, что осталось от могучего дерева-великана после давней свирепой бури, оглядываюсь вокруг. Странное, даже тягостное впечатление производят на меня уже бывшие кедры, от времени и климатических невзгод потерявшие хвою, ветви, сучья и даже кору. Мертвые деревья неровными столбами там и сям торчат из гущи древесно-кустарниковой растительности по всему склону сопки. Зато радуют глаз сказочной величины гигантские ели, сторожевыми башнями возвышающиеся над лесом.

Мешки наши повешены на толстые сучья поваленного дерева. Издикан неторопливо достает из-за пазухи трубку, я — свой портсигар из кармана. Хунзай тоже решает отдохнуть и растягивается на брюхе, уложив косматую черно-белую голову на вытянутые лапы. Когда один из нас начинает говорить, пес голову поднимает и внимательно смотрит в лицо говорящего. Неужто собака понимает, о чем речь идет? Да нет, скорее всего, она делает

вид, что понимает. Но в пору подивиться тому, как же она так натурально собственную причастность к нашему диалогу изображает!

— Ты когда-нибудь был в Москве? — с вопросом обращается ко мне Издикан.

— Конечно. Из украинского города — он Одессой называется — в наш Биро-Биджан по-другому, кроме как через Москву, и не попадешь никак.

— А сколько ты дней в Москве пробыл? — лукаво сощурившись, продолжает Издикан.

— Где-то дня три, не меньше.

— Три дня... Шибко мало это — три дня, шайтан-шаман. А у Калинина ты был? Нет? И у Смидовича тоже не был?

Издикан просто представить себе такое не может: как, мол, это так — пробыть в Москве, ну пусть даже три дня всего, и к Калинину или к Смидовичу хоть на часок не заглянуть. Чудно.

Больше куканский предсельсовета вопросов мне не задает. Выколотив о «сиденье» трубку, он снова набивает ее табаком, прячет за пазуху и командует: «В дорогу однако!»

Эх, если бы еще и дорога дальше была! Та, которой мы шли по санному следу часа два назад, осталась далеко позади, а от места нашего перекура под кедровой «рогаткой», дальше надо двигаться, ориентируясь по зарубкам и затесям на древесных стволах. Только вот отметины эти разглядеть не так-то просто: сделаны они были здесь неизвестно когда, а солнце, дожди и ветры старательно «замаскировали» следы топора под цвет стволов, на которых их оставляли. Ну а кроме того в час, когда солнце перевалило за полдень, в путанице

косых теней лесные «дорожные знаки» попробуй еще разгляди.

Передвижение по зимней тайге куда больше похоже на преодоление препятствий, нежели на ходьбу: под ногой то и дело оказываются скрытые снегом коряги-валежины, пеньки, какие-то сучья, и различаешь их только тогда, когда ты обо что-то споткнулся, за что-то зацепился, на чем-то поскользнулся. Я все никак не могу отделаться от опасения: не дай-то бог, Издикану в этих дебрях с пути сбиться, а то смотрю, он как-то уж больно медленно идти стал, иногда даже останавливаться. Может, оттого, что еще и трубку на ходу курит? Шагает молча. Правда, несколько позже я к немалому удивлению своему заметил, что проводник мой как раз и не молчит, а этак совсем негромко, вроде как про себя, на ходу разговаривает. С кем? Не с кем, а с чем, точнее будет спросить. Да со всем, что он перед собой и вокруг себя видит. И если, как справедливо полагают, что здешние коренные жители, потомственные охотники, тайгу как книгу читают, то Издикан — не исключение и, выходит, читает он эту тайгу как бы вслух. А сейчас, судя по всему, он как раз вычитывает самые нужные для нас элементы «текста» — те самые указатели, что на стволах деревьев для лесных странников топором были написаны...

Не знаю, как мои спутники, а я все отчетливей ощущаю необходимость пообедать-поужинать. Хотя, сказать по правде, мне больше-то хотелось бы где-нибудь присесть да посидеть подольше. Ну вот совсем уж непривычны мне условия похода, на который я тогда в райкомовском кабинете так опрометчиво отважился. Одно только и не дает мне совсем уж «завянуть»: вот впереди меня идет по снежной целине человек, которому приходится



определенно труднее, чем мне. Мало того, что выбор пути за ним, но у него и ноша раза в два, если не в три повесомей моей будет, да и возраст Издикана уж конечно с моим не сравнить. «Так что не кисни, парень!», — прикизываю я себе, примериваясь в эти секунды перепрыгнуть с шаткого камня посреди дымящего паром ручья на скользкий его бережок.

Временами у меня создается полное впечатление, что Издикан выполняет сейчас не ответственное поручение, а совершает приятную прогулку. Надо видеть, с каким, прямо-таки мальчишеским восторгом, он наблюдает за белкой, перелетающей с ветки на ветку и с дерева на дерево, за поведением собаки, которая при этом начинает с истошным лаем метаться между деревьями. При этом по широкоскулому лицу нанайца расплывается добродушная улыбка, которая делает его лицо еще шире.

— Ну ты только погляди на этих хвостатых, шайтан-шаман! — со смехом оборачивается в мою сторону Издикан.

Тут он вдруг наклоняется и, неуловимым движением вынув из деревянных ножен на поясе свой нож, ловко срезает ветку с ближнего куста.

— Вот. Сегодня будем однако чай с лимоном пить. На, пробуй, — протягивает он мне тонкий прутик.

Я пробую на зуб кончик прутика и действительно ощущаю привкус лимона. Как называется растение, с которого проводник взял ветку, я не спрашиваю: нанайское название мне ничего не скажет, а как оно переводится на русский, Издикан знает навряд ли.

Идем дальше. Очень кстати для меня оказывается палка, которую на Ине вручил мне Скворцов. Посох этот — надежная опора при ходьбе, с его помощью можно лег-

ко «разглядеть» под снегом очередное препятствие, а при случае воспользоваться как шестом, минуя то ручей, то колоду поперек «дороги».

Издикан, слышу, с вопросом ко мне:

— Видишь во-он ту сопку? Там перед ней, шайтан-шаман, место тихое есть. Там ночевать будет надо.

Мне, признаться, трудно рассмотреть то, что видит проводник. Вот отдельные деревья, за ними — лес, а дальше, до самого горизонта — сплошным массивом залегла синева вековой тайги...

Мороз между тем крепчает, что можно определить даже по скрипу снега под ногами: таким звонким сделался этот скрип! Но если остановиться, можно расслышать разве что собственное дыхание — такая тишина на земле. Проходит час-другой — и мы на том самом «тихом месте», о котором говорил Издикан. Первым делом освобождаемся от ноши и, повесив мешки на рогатые сучья упавшей лесины, готовим для костра хворост. Справа, неподалеку от места нашей будущей ночной стоянки, если вслушаться, журчит горный ручеек. К нему мы оба и направляемся за водой. У Издикана в руках не только походный чугунный казанок, но и ружье за правым плечом.

— Может, мне и рюкзак свой не стоило бросать? — спохватившись, обращаюсь к проводнику по пути к ручью.

— Да никто твой мешок-на-спине здесь не тронет, — доносится в ответ. — Тут все кругом, шайтан-шаман, сама тайга сторожит. Слышишь, как тихо?

Вечерняя порция пельменей сварена и без промедления съедена, время готовиться к ночлегу. Разгребаем снег, застилаем «постели» еловыми лапками. На них в спальных мешках мы и будем почивать. Рюкзаки укла-

дываем в ногах так, чтобы они находились в поле зрения. Ну а перед этим мы выпили по кружке горячего чая (с «лимоном», понятно). Правда, и после этого справиться с усталостью мне все же не удастся.

— Сколько же мы с вами сегодня километров отшагали? — интересуюсь у своего вожатого.

— Сегодня только полдня шли, шаман-шайтан, — отвечает Издикан. — Завтра надо еще день идти. Весь день однако идти.

— И сколько же это километров будет, если весь день?

— Не знаю. Мы тайгу километрами не меряем. С какого конца и в какой край ее мерить надо, скажи?

Укладываемся в спальные мешки. Издикан, сняв ружье, кладет его у изголовья. Я спрашиваю:

— А может, рюкзак с деньгами надо было на ночь в снег закопать?

— Спрятать? От кого? Если сюда человек ли, зверь ли подходить будет, Хунзай еще за полчаса его учует и сразу же по-своему, по-собачьи, мне все скажет.

— А зачем же вы тогда ружье близко к себе положили?

— Ружье всегда при себе держать надо. Без ружья в тайге ты однако хоть днем, хоть ночью не охотник совсем, шайтан-шаман.

Мы ложимся головами на север, между нами на еловых ветках устроился Хунзай. Я отчетливо слышу его дыхание и ощущаю исходящее от него тепло. Все выглядит так, словно мы все трое собрались спать в одной постели, и нам не хватает разве что общего одеяла. Вокруг нас безраздельно царствует тишина — безмолвие, от которого звенит в ушах и которое бывает наверно лишь в зимней тайге. Здесь, кажется, за целый километр можно расслышать сейчас малейший шорох. Но вот откуда-то издале-

ка донесся довольно громкий звук — не то стук, не то хлопок.

— Это кедры от мороза маленько трескаются, — не ожидая моего вопроса, объясняет Издикан.

Он не спит, а я чувствую запах табачного дыма от его трубки. Час не такой уж поздний, и Издикан, решив продолжить нашу короткую дневную беседу, говорит:

— Так значит у Калинина в Москве ты так и не был? Жалко однако...

Он поворачивается ко мне лицом и продолжает:

— Хороший город Москва... Шибко большой только. Сколько по нему не ходи, шайтан-шаман, а до конца никак не дойдешь... Машины, лошади с телегами, трамваи еще — не сосчитать однако... А людей как деревьев у нас в тайге...

Издикан помолчал минутку. Я слышу, как он чмокает, раскуривая свою трубку, и продолжает:

— А как же, шайтан-шаман, далеко от нас эта Москва! Поезд ой как шибко скоро ходит, а до нее ему дойти целых девять сутки надо... А знаешь, я там, в Москве, прямо чуть без ног не остался, да. Куда ни пойдешь, где ни встанешь, все тебе на ноги наступают. В трамвай заходишь — наступают, в магазине стоишь — тоже наступают. Люди ходят там в сапогах или в ботинках с галошами. Вот они под ногами и не чувствуют ничего. А я-то всегда в мягких ичихах да в унтах. Как мне кто на ногу наступит, я сразу чувствую, шайтан-шаман — больно однако!

Издикан затягивается дымом и, кашлянув, заливается веселым смехом.



**Рэймонд Кац (1895–1974). Моисей.**

Из альбома гравюр чикагских художников «Подарок Биро-Биджану», 1937 г.



## ДАВИД БЕРГЕЛЬСОН

### **Параллель — по-русски параллель**

*Из книги «Биробиджанские мотивы»*

Поздний октябрь, расцвеченный красками увядания, бродит опалело по опаленным солнцем горам и долинам. Горький и дразнящий запах полыни, бурная дикость нетронутого леса биробиджанской тайги, уходящей в горы под самый край нависающего неба...

Я возвращаюсь пешком с Теплого озера в горный поселок, еще носящий старое тунгусское название, — Лондоко. Еврей-переселенцы заканчивают здесь строительство большого известкового завода. В этом диком горном уголке, куда и по сей день заглядывает уссурийский тигр, я только что присутствовал на лекции «О методах разведения рыбы». Я изнываю от жары. Голова устала от двухчасовой лекции.

Идти приходится звериной тропой. Она ведет меня то вверх, то вниз. Я размяк от зноя. Кругом бескрайние пространства, куда еще не ступала нога человека. Они уходят во все концы мироздания. Стрекот кузнечиков в траве утомляет и расслабляет, как монотонные напевы.

Вывела меня из этого состояния неожиданная встреча. На крутом повороте тропы передо мною очутилась заведующая еврейской школой в Лондоко. Я сразу очнулся. Вернулось чувство реальности. Я снова стал постигать, что тут же, на этих необъятных первозданных пространствах, пробивается, подобно подземному потоку, молодая, трудовая и радостно-напряженная жизнь. Сама заведующая школой — струйка этого потока. В далеком горном поселке она оборудовала прекрасную школу. Сверкающие чистотой окна глядят на расцветающий поселок радостно и бодро, как детские глаза. Заведующая уже не молода. Говорит она медленно, нараспев. Так говорят у нее на Волыни. Я сразу представил себе ее мать, местечковую еврейку в старомодном парике.

— Куда вас несет в такую жару? — спрашиваю я.

— Именно — несет! — подтверждает заведующая.

Она защищает ладонью глаза от солнца и хмурится на русское селение у подошвы горы.

— Не только несет, — прибавляет она, — а разносит! Прямо распирает! — Она кивает на селение: — Я им сейчас такое спою, чего они еще никогда не слыхали!

— Что случилось? — удивляюсь я.

— Не спрашивайте. Горе — и только! Сама же виновата. Глупость сделала!

— Что случилось? — снова спрашиваю я.

— Эх! Мы своими руками дали им учителя взаймы!

— Как? Взаймы?!

— Да. Русским товарищам в этом селении мы дали учителя взаймы.

— Что-что вы им дали взаймы? — переспрашиваю я, не веря ушам.

— Ну да, — повторяет она, — учителя. Учителя математики.

— Учителя?

— Да, настоящего, живого учителя. Что вас так удивляет?

— Нет, — говорю я, — ничего... Я думал, взаймы можно дать деньги, ухват, ну, корыто для белья, что ли. Но давать взаймы учителя — этого я что-то не слыхал...

— Вполне согласна, — говорит заведующая. — Разве можно дать взаймы свой собственный глаз? Вы думаете, у нас тут лишние учителя валяются? Самим не хватает!

Но что поделаешь, когда люди изо дня в день ходят, просят, кланчат. Как-никак соседи. В праздник — вместе. Чуть у кого беда — на помощь друг другу. И вот надо людям учебный год начинать, а к ним еще учитель математики не приехал. Срывается учеба! Вот мы и дали им взаймы учителя. Уговорились на десять дней, не больше. А они его уж скоро три недели держат. И не видно, чтобы вернуть собирались! Пришлось сегодня все дела бросить и потащиться к ним. Я им такую нахлобучку задам, что долго меня помнить будут!

— Пожалуй, и я с вами пойду, — говорю я.

Мне любопытно посмотреть, что это за учитель, которого отдают взаймы, и как станет моя заведующая взыскивать «недоимку», и как она поведет домой свое живое добро.

Жителей таежного русского селения мы застали за ра-



ботой. Вспотевшие на солнцепеке до соли на рубашках, они обтесывали толстые бревна. Работал и председатель сельсовета — высокий статный сорокалетний мужчина с красноармейской выправкой.

— Ни стыда, ни совести у тебя нет, Павел Александрович! — сразу перешла в наступление моя заведующая. — Ты нас подвел! Сделали мы вам одолжение, дали учителя взаймы... Уговорились на десять дней. А ты что? Держишь его три недели!..

— Постой-ка, постой!..

У председателя оказалась похвальная привычка подумывать малость, прежде чем отвечать. Он медленно повернул голову сперва вправо, потом влево и только тогда сказал:

— Постой, погоди! Вы, говоришь, сделали нам одолжение? Учителя взаймы дали? — Он вытер лицо, подумал и посмотрел заведующей в глаза. — Ну а мы? Так-таки ничего вам взамен за ваше одолжение не дали? А это что?

Он показал на незастекленные окна большого здания неподалеку, на котором красовалась надпись «Клуб».

Моя спутница и председатель продолжали спорить. Я узнал, что заведующая еврейской школой в Лондоко нуждалась в стекле для зимних рам. В русском селении ожидали стекла со дня на день и, чтобы выручить соседей, вынули стекла из окон клуба и отдали им. Со своей стороны, еврейская школа отпустила к русским соседям своего учителя математики.

— Ну хорошо, — вынуждена была признать заведующая. — Допустим. Но уговор-то был, что мы вам уступаем учителя только на десять дней? Был такой уговор?

— Что верно, то верно, — признал и председатель. —

Был такой уговор: десять дней, и не больше. Но ведь учитель-то ваш говорит, что он в русском языке не силен, и просил учительницу к нему приставить. Она с ним заучивает разные там названия по-русски. Как выучится, он и позаймется с ребятами — десять дней, не более. Тогда и вернем. А ты уж думала, мы вас ограбить собираемся, так, что ли?

— Боже! — всплеснула руками заведующая. — Три недели, чтобы заучить названия? А ведь он говорит по-русски. Где он?

— Вон там, — показал председатель на школу. — Сходи к нему, сделай милость. Может, он тебя послушает. Женщина ты солидная. Убеди его, пусть маленько поторопится!

Павел Александрович снова взялся за топор.

В школе уборщица подметала, поливая пол из большого чайника. Окна были по-летнему раскрыты. Горный ветер приносил острые запахи, сливавшиеся с запахом оседавшей пыли.

В одном из классов оживленно разговаривали. Кто-то весело смеялся. Мы вошли. За партой сидел молодой еврейский парень с густой шапкой черных волос. Спина к окну стояла русая девушка лет девятнадцати, остриженная, как мальчик. Узкий синий поясок стягивал тонкую талию. Нос был слегка вздернутый. Глаза, светлые, прозрачные, большие, как крупные виноградины, смотрели задорно и весело.

Увидев нас, парочка смутилась. Девушка повернулась к окну. Теперь мы видели только ее спину. Паренек с минуту сидел неподвижно. Вдруг он схватил лежавшую перед ним тетрадь и, упершись локтями в парту, принялся усердно зубрить:

— Трапеции — по-русски трапеция; квадрат — квадрат; пирамиде — пирамида.

Заведующая пристально посмотрела на молодую учительницу. Потом медленно повернулась ко мне, прикусила нижнюю губу и тихо шепнула мне:

— Она очаровательна!.. Теперь все ясно! Вы поняли?

С минуту она смотрела на парня. На этот раз, кажется, даже с уважением. Потом снова обратилась ко мне:

— Ну, что теперь делать? Будьте умным, посоветуйте. Как поступают в таких случаях?

— Радиус — по-русски радиус, — долбил парень, — параллель — по-русски параллель; диагональ — диагональ; перпендикуляр — по-русски перпендикуляр.

У заведующей был озабоченный вид. Она молчала.

— Послушай-ка, паренек, — сказала она наконец, — я останусь здесь дня два-три и сама помогу тебе выучить.

**1934**



**Бернис Беркман (1911–1979). К новой жизни.**

Из альбома гравюр чикагских художников «Подарок Биро-Биджану», 1937 г.



## ТЕВЬЕ ГЕН

### Отъезд

Около белого одноэтажного дома, известного в городе под названием «Переселенческий пункт», стоят три грузовика. Они должны отвезти в приамурский переселенческий колхоз «Красный Октябрь» новую большую группу переселенцев.

Выехать предполагалось в восемь утра, но лишь в девятом часу отъезжающим начали выдавать телогрейки и валенки, затем еще прошел битый час, пока столовая всех накормила и выдала сухой паек на дорогу. Одним словом, было около двенадцати, а машины все еще не тронулись с места.

Шоферы — трое молодых рослых парней — уже неоднократно заводили моторы и каждый раз, заглушив их, осаждали заведующего переселенческим пунктом Кленского, шумно доказывая ему, что становится поздно и что нельзя отправляться в дорогу под вечер с таким «грузом».

Кленский, успевший охрипнуть за утро от объяснений со всеми, сердито отвечал:

— А чем вас так не устраивает сегодняшний «груз»? Бочки с керосином вам веселее везти?

— Но ведь все на месте! Кого мы ждем? — настойчиво допытывались шоферы.

Наконец Кленский подошел к грузовикам и с некоторой торжественностью приступил к последней процедуре — проверке, все ли отъезжающие находятся на машинах. Беспокоил его один парень...

— Рувим Бенцианович Лапидус с женой и двумя детьми здесь? — начал вызывать Кленский, заглядывая в список.

— Тут, — раздается голос из кузова головной машины, и вскоре показывается голова черного худощавого мужчины.

— Тут! Тут! — кричат остальные пассажиры. — Читайте дальше!

— Авром Ехезкелевич Басис!

— Я здесь, — поднимается человек лет сорока и продолжает стоять, упершись руками о плечи соседей. Он, видимо, ждет, чтобы у него еще что-то спросили.

— Посмотрите, не потеряли ли вы кого-нибудь из своих? — обращается к нему заведующий. — По моему списку, у вас должна быть еще жена Эстер Вульфовна и четверо детей.

— Спасибо, что сказали, — рассмеялся Авром, и с ним вместе смеются остальные пассажиры.

Авром садится на свое место, и сразу же раздается женский визг: «Ой, ногу, вы мне отдавили ногу!» Снова смех, и кто-то из мужчин острит: «Здесь еще теснее, чем в одесских трамваях».

Между тем Кленский продолжает перекличку:

— Гедалье Хаимович Айзеншток с женой и ребенком!

— Здесь! — отвечает Айзеншток, высокий, рыжий молодой человек. — Шифре! — кричит он по направлению к третьей машине. — Отвечай, что и ты здесь!

— Где же мне быть? — доносится тонкий голосок с третьей машины.

На этой машине едут женщины с детьми. Тут пол покрыт циновками и кузов обтянут брезентом. Машина кажется громоздкой и напоминает допотопную карету, зато в пути будет теплее.

— Хане Рувимовна Загускина! — вызывает Кленский.

— Вот я! — каким-то особенно радостным, приподнятым голосом откликается Хане.

Эта низенькая женщина едет не по общему наряду, а по специальной телеграмме мужа, работающего в колхозе «Красный Октябрь» конюхом, и поэтому она чувствует себя как бы выше остальных.

— Арон Тевелевич Портной, — снова раздается голос Кленского.

Тихо. Никто не отвечает.

— Берта Львовна Маенчик!

Тоже тихо.

Заведующий повторяет эти две фамилии еще и еще раз, все громче и с различными вариациями.

— Портной Арон Тевелевич!

— Маенчик Берта Львовна!

— Арон Тевелевич! Механик!

— Берта Львовна! Младший бухгалтер!

Пассажиры тоже помогают заведующему, и со всех сторон несутся возгласы: «Портной!», «Маенчик!»

Ни жив ни мертв прибегает кругленький человечек со свежесбритым лицом коричневого цвета. Он только что из парикмахерской, которая находится здесь же, при переселенческом пункте.

— Я — Портной, — испуганно говорит он, притрагиваясь руками к пламенеющим щекам.

— Арон Тевелевич Портной? — радуется Кленский.

— Нет, Хаим Янкелевич Портной, — оторопел, отвечает он. — Я бухгалтер в пекарне.

Кленский с досадой отмахивается от него.

Все смеются и предлагают вызывать пока остальных.

Кленский продолжает перекличку и через каждые две-три фамилии снова возвращается к Арону Тевелевичу Портному и Берте Львовне Маенчик. Их все нет.

— Сколько ему лет? — спрашивает вдруг Хане Загускина, и глаза у нее вспыхивают при этом особенно озорно. Сразу видно, что свой вопрос она задает неспроста.

— Ему двадцать три года, — заглянув в список, отвечает Кленский.

— Чтобы мне столько было, — воскликнула Хане. — Разгуливает он теперь с этой Маенчик!..

Сняв с колен чемоданчик, она передает его другой женщине, а сама ловко поднимается со своего удобного местечка в середине кузова.

— Вы ищете Арку — сироту из Умани, ведь так? — спрашивает она, едва переводя дыхание. — Я его знала, когда он был еще ребенком. А с Бертой Маенчик он познакомился в поезде, ни на шаг не отступал от нее.

С выражением приподнятости на лице Хане садится на свое место. Это она первый раз в жизни выступила перед такой большой аудиторией и с такой «высокой трибуны».

— Берта Маенчик? — переспрашивает еврей, прибежавший из парикмахерской. — Она высокая такая?

— Высокая, высокая, — вскакивает Хане со своего места. — И огненно-рыжая! — кричит она, радуясь, что приметы совпадают. — Все пассажиры удивлялись: каких только рыжих не бывает на свете.

— Тогда я, кажется, знаю, где ее надо искать, — про-



молвил однофамилец Портного и посмотрел на заведующего так, как может смотреть человек, знающий себе цену и уверенный, что никогда и нигде он не бывает лишним. — Уже дня три вижу я эту рыжую особу около нашего дома. Это недалеко, только перейти железнодорожную линию.

— Может, вы сходите туда? — попросил Кленский. — Амурзетская МТС всю зиму умоляет нас прислать механика, и я не могу отправить машины без этого парня.

— Можно и сходить, — не совсем охотно соглашается Портной.

— Чтобы вам было не скучно, — вдруг опять вскакивает Хане Загускина, — я пойду с вами. Помогите мне только слезть с машины.

Через минуту Портной и Загускина отправляются в путь. Оба низкорослые, полные, солидные, они выглядят идеальной парой. Вместе пролезают под вагонами товарного состава.

— По закону запрещается лезть под вагоны, — объяснил Портной своей спутнице, — полагается идти мимо семафора, но зато здесь дорога в три раза короче.

Благополучно выкарабкавшись из-под вагона, они прошли мимо вокзала и свернули на узкую тропинку. Вскоре показался двухэтажный каменный дом. Не успели Портной и Загускина подойти к нему, как перед ними, словно из-под земли, вырос длинный, сухопарый человек и окинул их быстрым пронизывающим взглядом. Казалось, каким-то особым чутьем он сразу пронюхал, кто им нужен, и торопливо спросил:

— Вы тоже к ним?

— К кому? — спросили хором Портной и Загускина.

— Как к кому? К механику и к бухгалтерше. Тут, наверное, с десятков ходок приходили искать их, но они

уже мои! Мои! Я их завербую в нашу гвоздильную артель. Я дам им квартиру, хороший оклад. И теперь, когда у нас будет механик, мы завалим гвоздями весь край!

Заметив, что гости смотрят на него с недоверием, он пояснил:

— Почему, думаете вы, в нашем городе, хоть умри, иногда не найдешь ни гвоздика, ни задвижки, ни чепуховой завески? А все потому, что у меня нет человека, который смог бы наладить машины. Мой автомат дает только сто килограммов гвоздей в день, а он может дать их полторы тонны. Мне нужен хороший механик. А этот парень из Умани — человек с умом и умелыми руками. Я его заметил еще три дня тому назад, как только он сошел с поезда. Теперь поджидаю я его и, как только он вернется со своей женой из загса, сразу же поведу показывать им приготовленную квартиру и...

Хане и Портной переглянулись, как бы спрашивая друг друга: что это все значит и что надо сейчас предпринять? Недолго думая, Хане взяла своего спутника за рукав и отошла с ним в сторону.

— Вам придется сбежать в загс, — шепнула она Портному, — а я побегу на переселенческий пункт и скажу, что придется еще немного подождать. Молодых вы узнаете за версту. Невеста — огненно-рыжая, а жених — черный как уголь.

Портной недовольно поморщился. Но сознание, что его однофамильца могут перехватить и он не доедет до назначенного места, заставило Портного действовать.

— Ладно, — буркнул он, — я пойду в загс, но, если их там не будет, тогда пускай их сам черт забирает! Одна морока — да и только.

Черно-рыжую парочку он увидел еще издали, на пороге загса.

— А теперь — айда, — с ходу обратился он к ним после поздравления, — вы задерживаете машины!

Мерным шагом все трое — оба Портных и Берта Маенчик отправились на переселенческий пункт. В пути Портной-старший, уверенный, что Портной-младший только его однофамилец, все же начал допытываться, как звали его отца, матушку, деда, дядюшек и тетюшек. Если так уже получилось, что пришлось бегать да искать этого молодого человека, то Портному-старшему явно хотелось, чтобы этот парень был ему родственником, пусть даже дальним. Тем более что молодой человек не такой уж простой, из-за него целая кутерьма, он задерживает три машины! Однако самые обстоятельные расспросы ни к чему не привели, никаких родственных связей обнаружить не удалось.

— Выходит, что мы совсем чужие, — разочарованно сказал Портной-старший.

Ему уже можно было отойти теперь в сторону, но хотелось, чтобы все увидели, кто именно привел эту парочку.

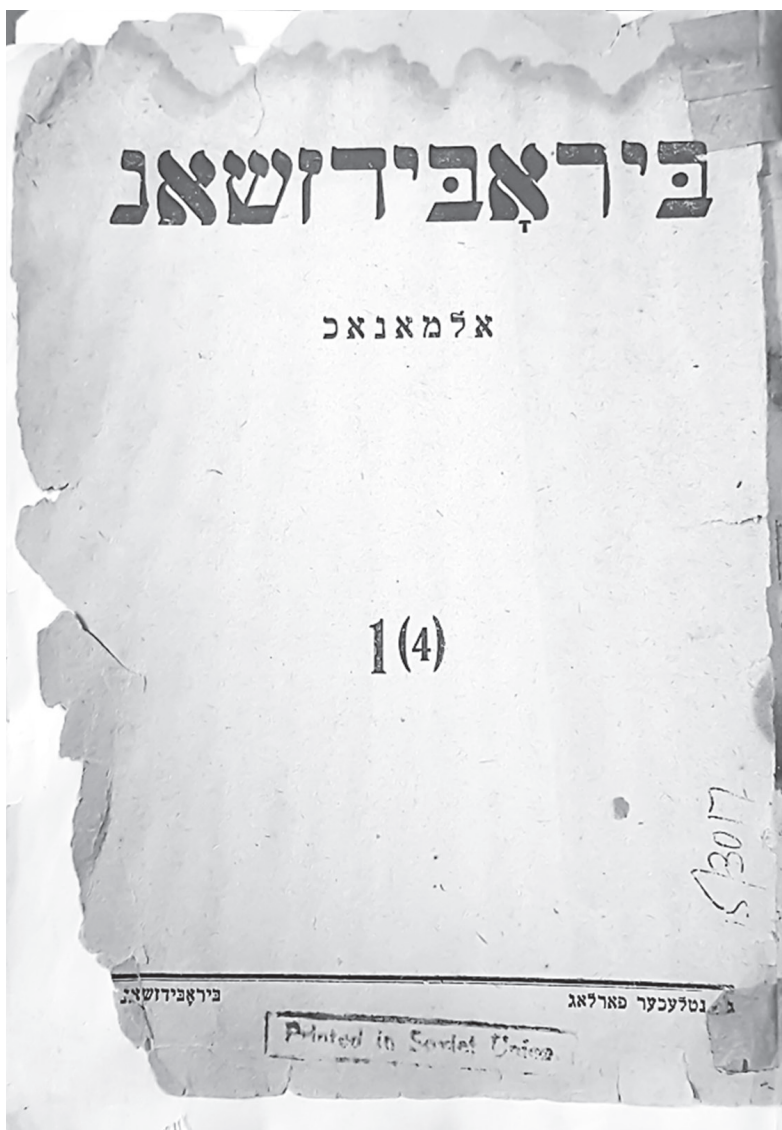
Когда они пришли на переселенческий пункт, оказалось, что все уже прекрасно осведомлены о случившемся. Хане давно успела сообщить. Отовсюду неслись поздравления и пожелания. Молодоженов поместили на первую машину, в самую середину кузова.

С треском, оставляя позади синеватый дымок, машины рванули с места. Заведующий переселенческим пунктом Кленский вытер пот со лба. Все-таки отправил, будет теперь Амурзетская МТС со своим механиком...









Литературно-публицистический альманах «**Биробиджан**» выходил с 1946 по 1948 год. Был закрыт в разгар «Биробиджанского дела», по которому были осуждены местные литераторы, представители еврейской интеллигенции. Возобновлен в 2012 году и выходит на двух языках – русском и идише

Входящий № 22.  
30/12-49г.

Архивная  
копия

## П Р И К А З

Уполномоченного Совета Министров СССР  
по охране военных и государственных  
тайн в печати

17. сентября 1949 г.

№ 1105

г. Москва

Утвердить приказ Обллита Еврейской Автономной области  
№ 7 от 10 августа с.г. об изъятии из библиотек общественного  
пользования и книготорговой сети нижеследующей литературы:

1. "Форпост". Двухмесячный журнал. № 1-2, 3, 4. Биробиджан,  
1939, 2000 экз.
2. "Форпост". Двухмесячный журнал. № 1/5, 2-3, 4-5, 6. Биро-  
биджан, 1940 г.
3. "Форпост". Двухмесячный журнал. № 1-2. Биробиджан,  
1941, 151 стр., 1500 экз.
4. "Биробиджан". Литературно-художественный и обществен-  
но-политический альманах. № 1-2. Биробиджан, 1946, 140 стр.,  
5000 экз.
5. "Биробиджан". Литературно-художественный и обществен-  
но-политический альманах. № 3. Биробиджан, 1947, 125 стр., 5000 экз.
6. "Биробиджан". Литературно-художественный альманах.  
№ 1/4. Биробиджан, 1948, 78 стр., 3000 экз.
7. "Биробиджан". Литературно-художественный и обществен-  
но-политический журнал. № 2/5. Биробиджан, 1948, 109 стр.,  
3000 экз.

Уполномоченный Совета Министров СССР  
по охране военных и государственных  
тайн в печати

/ К.Омельченко/

Сберка. Ближняя



## ГИРШ ДОБИН

### Два берега

К больнице, расположенной в одном из новых приамурских поселков, подъехал конный красноармеец, ведя в поводу еще одну лошадь. Увидев медсестру на крылечке, он чуть кивнул ей и тут же спросил:

— Хирург здесь?

Вместо ответа медсестра повернулась к приоткрытой двери и крикнула:

— Товарищ Левин, к вам приехали с заставы.

Из больницы вышел взволнованный хирург в белом халате — совсем молодой, с большой черной бородой, которую он отпустил специально, чтобы выглядеть старше и солиднее. Он пристально посмотрел на красноармейца, который поспешно приложил руку к своей зеленой фуражке:



— Начальник просил приехать на заставу, незамедлительно, экстренный случай.

— Незамедлительно? — Левин снял соломинку с шинели красноармейца. — Незамедлительно я не могу. Я только с операции.

— Начальник просил отложить все дела и приехать.

— Я устал, у меня сегодня во рту маковой росинки не было, а уже полдень, — Левин показал на солнце, которое стояло довольно высоко. — Скажи начальнику, что я приеду чуть позже.

Красноармеец задумался на мгновение, покачал головой и подвел обеих лошадей ближе к крыльцу.

— Начальник велел без вас не возвращаться.

Хирург беспокойно взглянул на красноармейца и, развязывая на ходу рукава халата, вернулся в больницу. Вскоре он вышел оттуда в дождевике и широкополой шляпе. Его внешность полностью изменилась. Он стал меньше, будничнее. Потом, сев в седло, он стал вдруг похож на мальчишку с черной бородой — он делает все, чтобы выглядеть мужественнее, но все равно остается мальчишкой.

Застава — длинное беленое здание со сторожевой вышкой на крыше, где круглые сутки нес вахту красноармеец с ружьем, — на краю поля отражалась в светлом потоке Амура. Строение окружал двойной дощатый забор, заполненный камнями. У двора паслись лошади и коровы; несколько красноармейцев строили погреб для хранения овощей.

Начальник — низкорослый, плотный человек с бородавкой под правым глазом — сгребал в копну скошенную во дворе подсыхшую траву. Увидев хирурга, он шагнул

ему навстречу, весело приветствовал и повел не в свой рабочий кабинет, не знавший отдыха ни днем ни ночью, а к себе домой.

Его жена, молодая, рослая, с красиво причесанной головой, мыла пол. Она с улыбкой подняла глаза на Левина, выпрямилась. С той же улыбкой посмотрела на свои мокрые руки и, протянув Левину локоть, попросила его пройти во вторую комнату, где был накрыт стол. У занавешенного окна в колыбели лежал распеленатый младенец и улыбался.

Начальник сел за стол и взял кусок хлеба.

— Бери, ешь, — сказал он хирургу.

— Спасибо, я не хочу.

— Без фокусов. Садись. Выпей стакан молока, — начальник навалился на еду. Он был явно голоден и жевал с большим аппетитом. — Так что слышно? Как у тебя дела здесь, в новой больнице?

— Пока ничего. Могло быть и лучше.

— Как это?

— Как везде в новых поселках: менее нужные вещи присылают больше, чем надо, а более нужных не хватает.

— Например?

— Мало эфира. Надо усыпить больного перед операцией — будь любезен, отправляй конного в Сталинфельд<sup>1</sup>, чтобы привез хлороформ. Ругай фельдшера, медсестер... Вот только что оперировал Лишанского.

---

<sup>1</sup> Село Сталинфельд было переименовано в Сталинск в соответствии с постановлением ЦИК СССР от 27 июля 1934 г. «О переименовании некоторых районных центров автономной Еврейской национальной области».

Пожилой человек, из первостроителей, хороший работник. Небольшая операция, но хлороформа нет. Пока за ним поедут, пока привезут... Вот я и подумал: старик еще вполне крепкий — выдержит без наркоза. Оперировать его, а он кричит: «Доктор, если мне суждено умереть, то я готов, но сделайте это побыстрее!» Фе, паскудное дело! Мой отец хотя бы всегда имел при себе наперсток, утюг и ножницы, которые выручали его из всех бед, а я — черт знает, сколько видов инструментов на меня навесили...

— Ну да, — начальник щурил улыбающиеся глаза на Левина, глядя на него и с тихой товарищеской радостью, и будто с какой-то скрытой мыслью. И вдруг вскочил, посерьезнел: — Послушай, тут такая история... Тут у меня ждет китаец из поселка, расположенного на той стороне. По его словам, у него очень болен ребенок. У него при себе разрешение от маньчжурско-японской погранслужбы привезти отсюда врача. Он говорит, что у них там врача нет. Выдает себя за бедного крестьянина. Плачет. Говорит, что сын умирает. Говорит, что если бы он не был хорошим охотником и не поставлял пограничной службе всякую дичь, то ему, бедному человеку, не позволили бы привезти доктора отсюда. Вот я тебя и вызвал...

Начальник взглянул на дверь и сел ближе к Левину.

— Любопытное дело, понимаешь? Одно из двух — если у него действительно болен сын, то почему бы нам не спасти бедного китайского ребенка от смерти? Но если тут кроется какой-то подвох, чтобы сбить нас с толку, то надо бы разузнать... Одним словом: если бы ты сплавал туда посмотреть и сразу вернулся назад, мы бы по меньшей мере узнали, действительно ли там кто-то болен, или это притворство... Что ты об этом думаешь?

Молодой врач все это время тянул рукой половину своей бороды, будто хотел оторвать ее. Он задумался, потом его глаза сразу прояснились.

— Хочешь не хочешь, — Левин взял стакан молока и как ребенок макнул в него хлеб, — а надо переправляться. На что, говорит китаец, жалуется больной?

— Его поймешь... Говорит, на живот. Сейчас прикажу его привести.

Скоро привели китайца — высокого, черного, морщинистого, в широких латаных штанах, зауженных книзу. Он кланялся и очень почтительно о чем-то шептал. Вслед за ним привели одного из местных переводчиков. Все, что удалось узнать о больном, это то, что у него болит живот. Это все. Китайца вывели из комнаты. Врач тем временем успел расчесать до красноты свой лоб.

— Проблема в том, что именно сейчас у меня в поселке есть серьезно больные. У одного парня по имени Йосл, из новых переселенцев, жена рожает. Ребенок у нее лежит неправильно. Ей может потребоваться операция.

Левин посмотрел на начальника и подумал, что его могут заподозрить в желании отвертеться от поручения. Он быстро добавил:

— Переправиться, быстро посмотреть и тут же вернуться. Это можно.

— Пусть так и будет! Захватите на всякий случай инструменты.

— Чем они мне помогут? Я должен сначала съездить в поселок, посмотреть, как дела у роженицы, и отправить человека за хлороформом в Сталинфельд. Прикажи дать лошадь.

— Хорошо. Поторопись. Вечереет.



Ночью хирурга переправили на ту сторону Амура. Было темно и холодно.

С гор дул сильный ветер. Измученные долгим полетом против ветра, где-то высоко в небе кричали дикие гуси. Их крики отдавались у Левина глубоко в сердце, напрягая все его нервы. Молча переплыли Амур, молча вышли на берег. Вошли деревню. Среди растрепанных облаков показалась луна.

Низкие, крытые соломой фанзы спали в кривых задымленных переулках.

Взволнованный Левин огляделся: ни огонька в окнах под широкими стрехами. Не деревня, а кладбище...

Странно и коротко, на китайский манер кто-то зарыдал в ночи. Это рыдание спиралью ввинтилось в самую дальнюю даль, отдаваясь в ней эхом. Окружающая тьма ответила на это пустотой. По телу Левина пробежала дрожь. То, что в округе не было видно никого из пограничной службы, показалось ему странным и подозрительным. Из-за того, что никто из местных пограничников не остановил его и китайца, Левину казалось, что на него смотрят отовсюду из темноты. Им овладели тоска и пустота. В ночи снова кто-то зарыдал. В окне одной бедной фанзы мерцал язычок огня в каганце. Сюда китаец и привел хирурга. В полной темноте в дверях в ожидании стояла китаянка средних лет — это, наверное, она рыдала. Увидев врача, она тут же принялась кланяться, шептать и уступать ему дорогу. В покосившейся фанзе, состоявшей из одной комнаты, мебели практически не было. На каком-то подобии топчана на

спине лежал китайский мальчик лет семнадцати. Его узкие глаза открылись и уставились на врача. Они были затуманены, как это часто бывает с людьми, страдающими от сильных болей. Его рот был скошен набок, чтобы не кричать, и время от времени подрагивал. Под носом и ртом у него были белые мертвенные пятна, как у больных перед тем, как они теряют сознание. Отец-китаец исчез и сразу же вернулся с еще одним старым китайцем, который понимал и объяснялся по-русски. Врач снял покрывало с больного. Перед ним открылось тело молодого парня — кожа да кости. Врач сразу же забыл, где находится, почувствовал себя свободно, как у себя в больнице. Он прослушал легкие и сердце больного и принялся простукивать его живот, нашел глухой звук снизу с правой стороны, попробовал легко надавить на это место. Больной закрыл глаза, мертвенная белизна из-под его носа расползлась по всему лицу. Врач сразу же поднял руку. Но через мгновение снова стал прощупывать там пальцами, ладонью, спросил, рвало ли больного, и снова пощупал. Пока не понял, что это начало воспаления аппендицита. Без операции тут не обойтись. Через старого китайца он узнал, что никакого врача и никакой аптеки здесь нет — есть только старик, который лечит разными пряностями. Если так, то ничего не поможет — надо возвращаться, все равно врачу надо посмотреть, как у него в поселке обстоят дела с роженицей. Отец и мать мальчика упали Левину в ноги, начали плакать, умолять, чтобы он спас их дитя. Через переводчика он с большим трудом успокоил их, объяснил, что голыми руками он все равно ничего не сможет сделать. Велел снова получить разрешение и завтра днем приплыть за ним на лодке. После этого они

с мольбами и благодарностями проводили его до берега. Отец-китаец переправил его на наш берег. Было прохладно, и все еще дул сильный ветер. Восточный край неба начал светлеть, занимался рассвет.

Левин сразу же пошел к начальнику заставы. Войдя во двор, он ощутил скрытое беспокойство. Несколько оседланных лошадей жевали сено. Одна из них, подняв красивую голову, посмотрела на него так, будто здесь скрывалась какая-то тайна. Седла на лошадях были увешаны всем необходимым для боя. Покой на дворе, как показалось врачу, был из тех, что в любой момент может стать тревогой. Появился красноармеец, приехавший вчера за врачом в больницу. Он был при оружии.

— Вон там, — он указал на освещенное и занавешенное окно кабинета начальника. — Он ждет вас.

Начальник сидел за столом и что-то писал. Телефон приглушенным дребезжанием реагировал на звонки. У двери стояли винтовки. Начальник поднял глаза на вошедшего врача.

— Присаживайся, — сказал он ему.

Сам он встал.

— Ну, что расскажешь?

— Я там был.

— Есть больной?

— Есть, а как же.

— Не симуляция?

— Нет, настоящий больной — паренек лет семнадцати. Такая нищета вокруг. Аж за сердце берет. Если не прооперировать в течение суток, будет поздно. Но, чтобы сделать операцию, надо его забрать ко мне в больницу. Без тебя я, естественно, не мог принять такого решения.

Начальник снова сел и задумчиво посмотрел на лам-

пу, огонек которой казался бледным на фоне разгорающегося рассвета. День начинал проникать сюда через опущенные занавески.

— Ну хорошо, — он снова обернулся к Левину. — Отправляйся домой и отдохни. Посмотрим, что будет днем.



Врач не успел толком вздремнуть и прийти в себя, как его разбудили:

— У жены Йосла тяжелые роды. Дела у нее плохи.

— Фельдшер там. А медсестра?

— Тоже там... Женщина помирает.

Левину пришлось снова одеться и идти к роженице. В доме у нее царила суматоха. Старая мать роженицы ставила чугуны с водой в раскаленную печь и плакала. Несколько женщин сновали туда-сюда, суетились, вздыхали, заламывая руки. Левин зашел в комнату роженицы. Молодая чернявая женщина с растрепанными волосами лежала на кровати в жару и кусала подушку. Ей только что чуть полегчало. Из ее больших воспаленных глаз текли слезы. Молодой фельдшер что-то шепнул на ухо врачу. В дверной проем испуганно просунул голову муж роженицы, Йосл, волосатый здоровенный кузнец, человек, считающий, что «ему не везет в жизни — и все». В местечке у него не было заработка, а здесь, где у него заработков сколько угодно, то на тебе другое несчастье. Его жена уже третий раз беременна. Одного ребенка она потеряла, случился выкидыш, второй родился мертвым. Хоть бы этот ребенок родился как надо. Так нет, он перевернулся в чреве матери и застрял. Крик нечеловеческой боли и страдания распахнул окровавленные, искусанные губы роженицы. Она вздрогнула,



ощутив, как в ней, казалось, переворачивается все нутро. Ее дыхание прервалось. Она задыхалась и принялась рвать на себе волосы.

Йосл растерянно метался по дому. У печи кто-то начал нараспев читать псалмы — это старая мать взялась за свой толстый молитвенник. Мелодия псалмов наполнила Йосла страхом, напомнила ему о смертях всякого рода, которым ему пришлось быть свидетелем с детства. Пение псалмов прервалось. Стало тихо, как сразу же после звона больших колоколов. Роженица потеряла сознание. Потом снова вокруг нее засуетились люди. Ребенок внутри нее рвался и не мог выйти. Снаружи повисло солнце, заглянуло полосой серебра под занавески и вдруг коснулось своим теплом влажного лба роженицы. Левин вывел Йосла наружу и, не глядя на людей, в тревоге стоявших под окном, сказал:

— Седлай коня и мчи с этой запиской в Сталинск\*. Тебе дадут там бутылочку с хлороформом или эфиром. Нет, погоди, — о чем-то вспомнил врач. — Записка на одну порцию, а ты скажи, чтобы тебе дали две бутылочки — одну для твоей жены, а другую для китайского паренька, больного, которого надо сегодня перевезти сюда и сделать операцию. Помни же: если привезешь только одну бутылочку, из-за тебя умрет бедный китайский парень. Ну, поезжай! Да не забудь!

Йосл вскочил на коня, потеряв при этом шапку. Кто-то побежал было за ним с шапкой в руках, но Йосл ускакал, даже не обернувшись. Он поднялся по склонам сопки, проплыл высоко между деревьев и оттуда улетел в пропасть. Через минуту снова появился, сопровождаемый ветром, на фоне хмурого неба, а потом исчез.

Ветер крутился, вертелся, пока не пошел снег. Солнечное небо, которое с утра блистало такой доброжелательностью, погасло. Стало тускло и холодно.

Без шапки, в расстегнутом пиджачке Йосл летел на коне назад из Сталинфельда. Ветер хлестал ему в лицо. Пригоршни снега взлетали с земли, падали с пролетающих мимо дубков. Высокие пожелтевшие травы били его по щекам. Во внутреннем кармане, завернутое в вату, лежало лекарство для Двойры. Йосл был сейчас переполнен такими чувствами, что и сам не знал, что он ощущает. Люди рожают детей, испокон веков так заведено на свете, и Йосл тоже хочет иметь ребенка. Почему у других есть дети, а у него нет? Йосл чувствовал, что иметь ребенка — это счастье, к чему тут философия? Что говорить — есть заработок, есть красивая жена. Йосл, когда не находится рядом с Двойрой, помнит ее такой, какой увидел в первый раз в жизни. В местечковом детском саду, в кругу танцующих детей он ее увидел. Это было пять лет назад. Она пела «Каравай, каравай», хлопала в ладоши, и дети водили хоровод вокруг нее. Теперь Двойра на грани жизни и смерти. И он мчится к ней, он везет во внутреннем кармане лекарство, он спасет ее. Вдруг Йосл вспомнил нечто очень важное. Кровь застучала у него в голове: «Что теперь будет?!»

Теперь он ясно вспомнил слова доктора: «Не забудь же. Если ты привезешь только одну бутылочку, из-за тебя умрет бедный китайский паренек». Из-за него, Йосла, умрет человек, потому что он забыл, потому что он везет за пазухой только одну бутылочку — одну бутылочку для своей Двойры. У него совсем вылетело из головы. Что делать? Необходимо спасти Двойру. Это вообще не

вопрос. Он еще быстрее погнал лошадь. У него одна единственная бутылочка, чтобы спасти только одного человека. Так он отдаст ее другому?.. Вот беда! Ему сказали, а он, как назло, вспомнил об этом только теперь, когда уже проделал три четверти пути... Он должен ехать дальше — может быть, сейчас Двойре остались считанные минуты.

«Но-о!» — поминутно погонял он мчавшуюся галопом лошадь, пришпоривая ее башмаками. — «Но-о!»

Ему пришла в голову мысль. Ну да! «Пока доктор будет делать Двойре операцию...» Лошадь мчалась из последних сил... А он закрывает глаза и гонит, гонит. Чтобы из-за него, Йосла, умер человек? Нет, этого он не хочет. Ему пришла в голову счастливая мысль!

«Но-о!»

Еще немного — и он уже в своем поселке. Стрелой скачет к больнице, видит у входа медсестру.

— На, — протягивает он ей бутылочку в вате. — На, лови.

А сам, без шапки, в расстегнутом пиджачишке, сразу же поворачивает коня назад на дорогу к Сталинску. Он мчится, чтобы привезти вторую бутылочку. Он не может себе простить. Надо было хотя бы спросить у медсестры, как дела у Двойры. Но, с другой стороны, всегда помнить, что из-за него погиб человек — нет, этого он не желает.



Начальник заставы служил на границе уже не один год. У него были основания для подозрения, что на «той стороне» что-то готовится.

Уже пару дней приносят вести: за нашими рабочими,

которые углубляют дно у берега, следят с той стороны в бинокли из кустов.

Неожиданностью для него это не стало. Ему уже не раз приходилось иметь дело здесь, на границе, с беломаньчжурами и особенно с японцами, которые ими командовали. Он на них насмотрелся. Малость заносчивый народ, как заносчивые юнкера. Они, когда взлетают на аэроплане, думают, что аэропланы есть только у них. А если они смотрят в бинокли, то забывают подумать о том, что и на них могут смотреть в бинокли. А если собираются кого-нибудь бить, то забывают, что у него тоже есть руки, и он может дать сдачи. Уверенный в колоссальных силах своей страны, уверенный в организованной бдительности здесь, на берегу, уверенный в себе, как в части этой бдительности, начальник при каждом соприкосновении с «ними» держался спокойно, стараясь, насколько это было возможным, не задевать их юнкерскую заносчивость. Они смотрят с той стороны на наш берег в бинокли? Ну и ладно, пусть смотрят. Имеют право быть любопытными. Но если они собираются, как уже пару раз случалось, тайно переправиться на лодке на нашу сторону и фотографировать наш берег, если для этого они сейчас держат на той стороне, за островом, наготове судно, которое видели вчера ночью плывущим в нашу сторону с погашенными огнями, им придется отрезветь от чрезмерной заносчивости. Если именно в это время старику-китайцу дали разрешение переправиться сюда и пригласить врача, это должно было бы означать, что на «той стороне» ничего не собираются делать: вот ведь посылают сюда за врачом, как настоящие добрые соседи, которые берут друг у друга займы то, чего не хватает в доме. И именно потому, что на первый взгляд

так оно и выглядело, начальник на всякий случай отдал приказ повысить бдительность. Он исходил из того, что шахматист-виртуоз может иной раз получить мат от плохого игрока только потому, что плохой игрок принимает его, виртуоза, за простофилю. Известие о том, что у старика-китайца действительно болен сын — именно потому, что логически оно должно было успокоить, — вызвало у начальника еще больше подозрений, что на «той стороне» могут обыгрывать эту логику. После возвращения врача он приказал наряду занять позиции вдоль нашего берега и назначил для каждой группы ее место. Чтобы не вызвать на «той стороне» никакого беспокойства, он приказал сделать все тихо — чтобы никто, даже рабочие, углубляющие дно у берега, ничего не узнали: пусть рабочие спокойно занимаются своим делом, как вчера и позавчера. Выждав некоторое время, он в полном вооружении сел на коня и в сопровождении красноармейца ускакал проверять, насколько правильно выполнены его приказы.

Не спеша, как на прогулке, начальник скакал на лошади вдоль широкого, как море, Амура, держась все время не слишком близко к берегу. Он пускал свою лошадь вверх по склонам сопок, а потом вниз, туда, где бурный поток шумел между поросших зеленой тиной камней и валялись вывернутые с корнем деревья. Он снова подъехал ближе к берегу и увидел оттуда Амур. Ветер утих. Посеннему красная земля была чуть притушена снегом. Как раз в той стороне, где солнце прорывалось между облаков, пенившийся Амур казался черным, он отражал целые пригоршни лучей, переламывая их, как кусочки желтой меди.

Лошадь остановилась, опустив голову, и забеспокои-

лась. Далеко от ног лошади волны Амура бились об обрывистый берег. Начальник смотрел в бинокль. На той стороне реки множество китайцев тащили на канатах вверх по течению какую-то очень тяжелую и большую массу, которую было невозможно разглядеть за поросшим лесом островом. На согнутых ногах, тяжело опустив головы, китайцы карабкались с камня на камень, прыгали как проклятые, со стоном разом выкрикивая время от времени что-то рыдающее и тяжелое.

Из-за острова наконец начала показываться тупая нижняя часть судна — наверное, того самого, которое сутки назад видели приближающимся сюда ночью с потушенными огнями. Ну да, берег там был плоский. Судно большое, видать, село на мель. Начальник проворно встал на стремених и внимательно посмотрел в бинокль. На судне он заметил вооруженных людей, командовавших оттуда согбенными китайцами, которые надрываясь, тянули канаты. Вот из-за лесистого острова уже показалась большая часть судна. Вода под ним была уже глубокой. По палубе бегали туда-суда вооруженные люди. Готовятся к чему-то, нацеливают аппараты. Ясно дело: недаром доставляют сюда судно посреди ночи при погашенных огнях. В бинокль начальник видит, как на палубе все быстро бегут в один угол и строятся. Наверное, слушают приказ. Потом все разбегаются по палубе и занимают места у бортов — по двое, по трое на каждой позиции. Судно выпускает пар, поворачивается и плывет к нашему берегу, именно в том направлении, где наши рабочие копаются под берегом. Судно ускоряет ход, с него раздаются звуки выстрелов, видны дымки. Стреляют по нашим рабочим, все ближе подходя к нашему берегу.

Вдруг показалась советская канонерка.

Японское судно начало отходить назад, к поросшему лесом острову, который ближе к «той стороне». При этом оно выглядело каким-то куцым, как человек, которого только что поймали на какой-то большой глупости и натянули ему шапку на самые уши.



Когда Йосл во второй раз вернулся из Сталинска, ему прямо с крыльца больницы сообщили новость: уже была операция, ее уже разбудили... Прошло гладко. Ребенок жив... Мазл тов!.. Девочка.

Йосл соскочил с коня, ворвался в больничную палату, где находилась роженица. В дверях он услышал заливыстый плач новорожденного младенца и остановился, оцепенев, с открытым ртом, с широко распахнутыми глазами, полный восторга от того, что он, Йосл, просто кузнец и работяга с детства, дожил до такого великого дела: настоящее дитя, которое он привел в этот мир... И только послушай, как оно пищит, не сглазить бы. Чтoб оно было здорово и благословенно! Ребенок был уже выкупан и запеленат. Медсестра положила его в протянутые руки Йосла. Йосл за всю жизнь еще не держал на своих сильных руках такое нежное существо, и ему все не верилось, что это происходит на самом деле. От удивления его рот так и остался открытым. Здоровая стыдливая улыбка выскользнула из его глаз и медленно растеклась по всему его широкому заросшему лицу. Он всматривался в красненькое личико малышки с плотно закрытыми глазами и с пушком на щечках. Рядом с ним стояла его теща:

— Вылитый ты, — сказала она ему по поводу малышки. — Точно такой же нос и точно такой же лоб...

Йосл смотрел, как у малышки начинает кривиться личико, она шевелит губами, у нее движутся щечки — он вот-вот сам расплачется вместе с ребенком, потому что он и малышка как бы едины. И вдруг он, будто чего-то очень испугавшись, перестал улыбаться. Вдруг он вспомнил, как врач сказал ему: «Помни же, если ты не привезешь еще одну бутылочку, из-за тебя умрет бедный китайский парень».

— Натe! — Йосл протянул малышку теще. — Быстрее! Быстрее! Сам он выбежал на улицу, вскочил на усталую лошадь и снова поскакал — разыскивать Левина.

Врача Йосл нашел на крыльце заставы вместе с начальником. Он тут же устремился к нему, протягивая ему вторую бутылочку:

— Берите, — сказал он испуганно и очень запыхавшись. — Спасите его, этого... китайского парня... Я немного припозднился...

Увидев, как неспешно у него берут бутылочку, он снова, на этот раз всерьез, испугался.

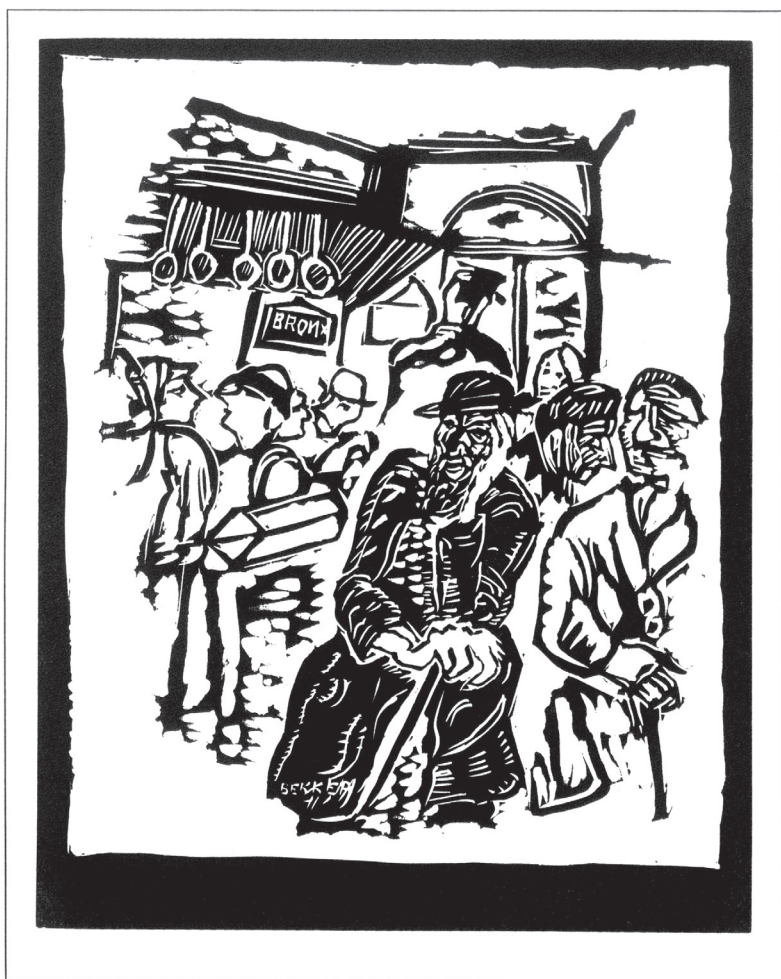
— Что случилось? — спросил он. — Может, это я виноват? Что вы на меня так смотрите?

Некоторое время было тихо. Оба, начальник заставы и врач, все еще смотрели на него.

— Нет, не ты, — наконец сказал начальник. — Есть другие виноватые.

1936





**Дэвид Беккер (1897–1956). Бронкс-экспресс.**

Из альбома гравюр чикагских художников «Подарок Биро-Биджану», 1937 г.



## ЛЮБА ВАССЕРМАН

### Дом

Его звали Лейба.

Его прозвище среди столяров:

Мерагл<sup>1</sup>.

Он строительный рабочий.

Приехал в Тихонькую с первыми переселенцами — длинный, тощий юноша. Здесь он заматерел, обрел широту, насколько позволяла его длина.

Любил Лейба здесь, в этой стране главным образом реки, он постоянно их считал и пересчитывал. Эта любовь передалась ему от отца-рыбака, который часто брал

---

<sup>1</sup> Буквально — «разведчик» (древнееврейск.). Аллюзия на 12 разведчиков, отправленных Моисеем из пустыни, чтобы разведать страну Ханаан перед тем, как в нее войдет народ Израиля (книга Чисел 13).

с собой совсем еще маленького Лейбу помогать вытаскивать сети.

Как только Лейба приехал сюда, он отправился высматривать ради любопытства, сколькими реками располагает страна Биробиджан. Какой-то дух вселялся в него, когда он видел реку. Ему хотелось воскликнуть:

— Посмотрите, что за реки здесь!

— И сколько рек!

На них можно построить множество водяных мельниц, электростанций, по ним можно далеко плыть, можно перекидывать через них мосты, а сколько рыбы можно здесь поймать! Можно здорово разгуляться вокруг такого множества рек!

Столяры дали Лейбе прозвище «мерагл», потому что он все время что-то высматривал, что-то искал, что-то пробовал на вкус. Он дошел до Амура, начал любоваться им, рассматривать его — большая река, почти море. От такой большой реки Лейба так быстро не уйдет. И он остался там работать. Выстроил почти все дома в Амурзете. Потом его отправили строить гараж в Бирофельде, а после этого — организовывать курсы столярного дела в Валдгейме. Вместе с учащимися курсов он выстроил колхозные дома. Теперь Лейба строит город, он — прораб.



В городе Биробиджане на длинной улице Постышева стояли несколько старых развалившихся домишек. Никто не знал, к какой стороне улицы относятся эти домишки, к правой или к левой. У всех них был один и тот же номер — 63. Между этих домишек постоянно кисла лужа, подернутая зеленоватой ряской. Нередко это боло-

то окрашивалось в разные цвета из-за частых радуг. По ночам вокруг болота квакали лягушки. Как плохо вырванные зубы вокруг болота торчали черные корни — память о тайге. Эта лужа кисла точно на проезде. Почти всем автомобилям и лошадям, запряженным в телеги, приходилось мерять ее глубину, потому что другой дороги не было. Часто на улице начиналась суматоха. Стар и млад выходили посмотреть, помочь вздохнуть, давать советы, обсуждать, как шоферы или извозчики стояли по брюхо в болоте, кричали «но!», перекидывались острыми словечками, подкладывали доски. Из расположенной поблизости кирпичной бани выходили красноармейцы, скатывали шинели и подставляли плечо. При этом они вымазывались грязью с ног до головы, хоть иди снова в баню. Но все это мало помогало. Автомобили оставались скованными жидкой грязью. Вытащить машину мог только трактор с железными зубьями. Если трактор был где-то занят, машина так и оставалась торчать в болоте. Этой луже в городе дали название «гараж», потому что в ней постоянно ночевала то одна, а то и сразу две машины. К этой луже однажды пришел Лейба. Остановился со своим нивелиром, зажмурил один глаз и заглянул в глубину лужи, словно хотел ее измерить.

На улице Постышева сказали:

— Если уж Лейба сюда пришел, то тут что-то будет — что-то выстроят.

В тот же день копали сточные канавы, в тот же день огородили болото.

Вокруг высокого забора была кутерьма — машины, лошади и телеги крутились там, как травленные мыши:

— Взяли и посреди бела дня перекрыли дорогу.

Один извозчик бушевал:

— Безобразие! Вы видели?! Мерагл ни с того ни с сего запер весь город!

Когда стали сносить развалюхи, начался новый скандал. Тетя Бейлка, толстая еврейка в платье, застегнутом до самого верха зелеными пуговицами, в синем чепце и с еще более синими губами, разоралась:

— Душегуб, разбойник, что вы так наседаете на мое имущество? — и при этом она так орала, что сразу было видно: тетя Бейлка большая специалистка в этом деле.

Лейба не отвечал. Он терпеть не может много говорить. А когда он работает, он еще молчаливее. Кепка у него в таком случае сдвинута на лоб. Даже глаз не видно.

Зато когда он заканчивает строительство и выпивает после этого рюмку, он становится очень разговорчив. У него развязывается язык, он рассказывает тогда любопытные истории о бывлой Тихонькой. Люди слушают его истории и радуются.



Рядом со стройкой вдруг появилась девушка. Она приходит каждый день, крутится несколько минут, осматривается и уходит. Потом она начала приходить дважды в день, и, как всегда, первым это заметил Пейсах по прозвищу Гелеймтер<sup>1</sup>. Станный тип этот Пейсах Гелеймтер: сколько бы он ни мылся, он все равно остается грязным. Раньше его из-за этого называли Фарклептер<sup>2</sup>, но потом за его лень и нерасторопность стали называть Ге-

---

<sup>1</sup> Паралитик (идиш).

<sup>2</sup> Облепленный грязью (идиш).

леймтер. Так вот этот Пейсах заприметил незнакомую девушку.

Когда Лейба стоял со своим нивелиром и смотрел на противоположный берег Биры, аж на сопки, Гелеймтер тронул его за плечо:

— Эй, Мерагл, ты уже снова ищешь реки, смотришь на далекие места, а тут крутится девушка-огонь. Только посмотри, какая красавица. Чтоб мы так оба были здоровы.

Лейба выплюнул потухшую папироску и повернулся к девушке. Он увидел невысокую, но крепкую девушку. Как показалось Лейбе, у нее было открытое улыбающееся лицо с сияющими серыми глазами.

Лейба, когда он видит девушку, всегда немного краснеет. Его длинное тело начинает казаться ему каким-то странно тяжелым, а руки ему некуда девать. На этот раз он начал застегивать рубаху на волосатой груди, но, как назло, на рубахе не было ни единой пуговицы. Его широкая волосатая грудь осталась открытой. Пейсах заметил растерянность Лейбы и сказал:

— Надо оторвать пару зеленых пуговиц у тети Бейлки и пришить их на рубаху Лейбы.

Когда Гелеймтер смотрит на девушку через очки, его глаза кажутся такими же мутными, как вода в луже. Неизвестно, действительно ли у него такие глаза или же так кажется, потому что стекла у него всегда испачканы. Теперь он смотрел так сквозь очки на эту девушку. Девушка повернулась к нему и спросила:

— Товарищ, что вы так смотрите? Вы никогда не видели девушек?

Но Гелеймтер таков, что за словом в карман не лезет. Он сразу же отвечает:

— Говорят, из-за границы идет целый эшелон с неве-

стами. Когда они уже приедут, эти невесты?

На это девушка ответила с такой улыбочкой, которая резанула Пейсаха по сердцу:

— А я как раз и пришла в качестве делегатки от эшелона. Я хочу тут выбрать женихов. Если бы вы сходили в баню и вымыли очки, а заодно и лицо, вы, возможно, были бы первым женихом.

Рабочие громко расхохотались.

Лейба тоже улыбнулся. Лейба никогда громко не смеется. Такая уж у него натура. Он улыбается очень широко, а когда он улыбается, его смуглое костлявое лицо становится еще обаятельней. Лейбе очень понравилась эта веселая девушка:

— Может, вы останетесь работать у нас на стройке? — спросил один из рабочих.

Девушка отвечала:

— Нет, я не могу.

— Почему?

— Да так. Скажите лучше, какие комнаты тут будут солнечные? — ответила он вопросом на вопрос и быстро ушла в направлении швейной фабрики.



Строительство шло, и девушка от стройки не отступилась. Но вот прошел день, другой, третий — девушки нет.

Это вызвало беспокойство у народа на стройке.

— Может, обиделась? Что-то ее задело? Или что?

Пейсах Гелеймтер, который был уверен, что он втюрился в эту девушку, особенно сильно переживал.

— Наверное, заболела. Надо бы пойти взглянуть, как у нее дела, где она живет?

Хотя никто не знал, зачем девушка приходит сюда, и кто она, собственно, такая, всем хотелось, чтобы она приходила чаще. В те дни, когда девушка не приходила, все чувствовали, что чего-то не хватает.

Прораб Лейба даже себе не хотел признаться, что эта девушка в сером беретике уже вошла в его сердце. Но отрицать того, что эта девушка его заинтересовала, он тоже уже не мог. Целый день он ходил потерянный и, вопреки своему обыкновению, не молчал, а что-то бормотал про себя.

Уже третий день, как Хава больна. Уже третий день, как она лежит с высокой температурой и с потрескавшимися губами. На ее бледном лице появились два пятна, похожие на красные лепестки мака. У нее страшно болела голова, но она все же пыталась думать о многом. От раздумий голова начинает болеть еще сильнее, а пятна на бледном лице становятся еще больше. Мысли в ее горячей голове получают новое направление: уже так много лет она бездомна, неприкаянна с тех пор, как себя помнит. У нее никогда не было дома. Вот она вспоминает: была зима. Множество цветов и ветвей карабкались на серые окошки и делали их еще серее. Какой-то жуткий плач нарушал ее детский сон. Когда она проснулась, она увидела: мама лежит на полу. Вокруг ее головы коптели и мерцали сальные свечки. Отец громко плакал. Глаза его были красные, опухшие. Она испугалась этого ужаса, который наполнил весь дом. Ее унесли из дома, а на следующий день, когда она вернулась, мамы уже не было.

С тех пор прошли годы. С тех пор у нее действительно нет дома. Всю свою жизнь она хотела, всю свою жизнь она искала, она побывала в далеких городах, в далеких



странах. И нигде она не находила пристанища. Как проклятая она скиталась по всему миру, безработная, голодная. У нее не только не было дома, но и своей комнаты у нее нигде не было.

Ее воспаленный мозг начала терзать новая мысль: не одинока ли она все еще в этой огромной социалистической стране?

Голова была ужасно тяжелой. Она взглянула на часы. Пройдет еще много времени, пока ее подруги вернутся с фабрики. Может быть, кто-нибудь зайдет? Может быть, тогда эти мысли так не терзали бы ее. Ну а здесь в Биробиджане? Работа у нее есть. Комнату она, наверное, найдет. Но дом? Найдет ли она дом? Или нет?

Она спрятала свою раскаленную голову глубже под одеяло и попыталась заснуть. Но напрасно. Она не могла заснуть. Скрипнула дверь. Она увидела: рядом с ней стоит Лейба. Он стоял ровный, тяжелый, со смеющимися глазами.

— Лейба! — воскликнула она с какой-то дикой радостью. — Вас зовут Лейба, правда? — и она сама не заметила, как схватила его за руки.

Когда Лейба шел к иностранной девушке, он намеревался очень много рассказать ей. Он хотел ей рассказать о своей тоске, но он мог. Он сидел, такой тяжелый, на табуретке у ее кровати и смотрел в ее серые и в то же время светлые глаза. Дверь снова скрипнула и появился Пейсах Гелеймтер. Он хотел быть первым, но уже застал тут Мерагла. Везде он перебегают ему дорогу.... Кажется, вместе ходили искать реки, кажется, вместе учились, но Лейба стал квалифицированным рабочим, техником, а он стал калекой. И, наверное, к этой милой иностранной девушке он тоже опоздал. И, наверное,

Лейба уже принес все, что надо приносить больному, вызвал врача, принес еды, и ты только посмотри — цветы тоже!

Когда Лейба ушел, Хава увидела, что на столе лежат несколько цветков. Стебельки уже пожухли, но головки были еще свежи. Она поставила их в стакан с холодной водой. Цветы сразу же ожили.

Она почувствовала, что люди, которые были у нее, очень близки, очень симпатичны ей. Она начала ощущать, что как-то начинает возникать дом, новый дом для нее. Когда девушки вернулись с работы, они нашли Хаву приободрившейся.

— Знаете, девушки, я скоро выйду на работу.

Лейба больше не отходил от общежития. Он часто ходил гулять с Хавой вдоль Биры. Ей было очень хорошо рядом с этим крепким молчаливым парнем, который так горячо дышал над ее головой. Она ходила с ним на новый мост, пахнувший свежеструганным деревом, слушала тихое журчание быстрой и бурной реки. На зеленом острове рабочие отдыхали после купания. Хава с Лейбой тоже сидели здесь и прислушивались к напеву волшебных биробиджанских вечеров.



Хава сжимала в своих горячих пальцах холодный кушочек железа и не верила, что это действительно ключ от ее собственного дома. Новое, только что родившееся чувство потрясло ее. Впервые в ее руке лежит ключ от собственной комнаты.

Она вошла в комнату. Ей бросилось в лицо большое вечернее солнце: такое солнце, такой свет! Такой простор! Ей никогда не было так светло. Хотя уже пришла

зима, она распахнула окна и двери. Она хотела вдохнуть здоровый, морозный воздух.

Хава стояла у распахнутых дверей и окна и смотрела, как от заходящего солнца город окутался росой. Небо разрезала напополам радуга. Хаве казалось, что это в честь ее нового дома зимнее небо украсилось радугой. С высоты своего балкона она увидела, что вырос не только ее дом, но родился целый город. И этот город становится домом, ее домом, ее родным домом. Наверное, Хава долго стояла на балконе, потому что уже наступила ночь. Над городом растянулось глубокое небо с миллионами танцующих звездочек.

Огни в городе уже давно погасли. Улицы опустели, а Хава все еще стояла на балконе. Ей стало холодно, и она зашла в комнату. В комнате было темно, пусто. Стоял один-единственный деревянный топчан, приготовленный для нее Лейбой. В тусклом свете луны Хава увидела цветы на обоях, и ей показалось, что это живые цветы. Некоторое время она крутилась в голубых полосах лунного света. Теперь ей очень хотелось разговаривать, рассказывать о своей жизни, поделиться своей юной радостью.

Где Лейба? Ведь он своими собственными руками построил ее комнату. Она пойдет и найдет его, она отыщет всех рабочих, строивших этот дом. Почему она не позвала их раньше?

Хава спустилась по ступенькам. Город лежал, притихнув. По остывшим улицам бродили потерянные звуки вечернего шума. На углу дома еще работали. Левое крыло было еще не закончено.

Она почувствовала руку на своем плече. «Это, конечно, Пейсах Гелеймтер», — подумала она.

Но это был Лейба. Теперь он не улыбался, как обычно, а смеялся во весь голос. Он посмотрел ей в лицо и увидел неожиданно, что, кроме серых ясных глаз, на нем есть еще черные густые брови, и что ее высокий белый лоб прорезают вдоль две морщинки, и что на ее лице — всегда широкая улыбка, улыбка, обещающая так много радости. Она действительно очень красивая и сердечная девушка — думал он, — вязанная голубая кофточка плотно охватывает ее крепкое тело. Он легко взял ее за руку и сказал ей:

— Хава, пойдем!

На этот раз Лейба говорил и смеялся. Ее удивило, что этот всегда молчаливый парень теперь так громко смеется. «Может быть, это тоже из-за моего нового дома?»

Усталые и счастливые они возвратились домой. В комнате было темно. Ночные тени жались к лепесткам на стене.

Двое молодых людей сидели и молчали. Через молчание они рассказывали друг другу о своей жизни. Хава подняла усталую голову и посмотрела в большие темные глаза Лейбы.

— Лейба, надо разжечь огонь.

— Не надо Хава. Уже день.



**Фрици Брод (1900–1952). Швеи.**

Из альбома гравюр чикагских художников «Подарок Биро-Биджану», 1937 г.



## ШМУЭЛЬ ГОДИНЕР

### В новой избе

В новый дом Израиль Бройда перебрался с вечера. К вечеру как раз показалось солнце. Люди поселка, уже отработав и отужинав, взглядывая в эмалевую синь неба и на золотой диск солнца над Бирой, вместе с крошками махорки смачно сплевывали желтую слюну. Они говорили:

— Видишь, снова настало лето!..

— Когда это страна сплошных капризов! Она то в самую летнюю жару хлюпает дождями семьдесят два дня подряд, то, наоборот, когда дождь нужен, — начинает сиять солнце... Не страна, а словно бы какое-то единственное, избалованное дитя...

Когда они увидели Израиля, впрягшегося в оглобли и тащившего на телеге скарб с железной дороги, то обрадовались этому больше, чем солнцу: их языкам такое было добрым куском пищи.

— Израиль, — кричали они ему вслед, — почему с вечера?

— Израиль, ты боишься, что за ночь захватят твой дворец?

Но Израиль им не отвечал. Он молча волок телегу, вертел оглоблями и мысленно поругивал «деятелей», не сумевших найти для него хоть какую-нибудь лошаденку, чтобы перетащить вещи. Он тратил на это свои силы, а они имели удовольствие. Что же, он чувствовал, что ни его жене Алте, шагавшей позади телеги, ни детям, шедшим сбоку, нет необходимости затрачивать много сил, чтоб подталкивать ее. Он и сам еще в силах таскать, трудиться...

Люди глядели ему вслед и говорили:

— Вот этот — для Биробиджана...

— У него тоже блохи в носу...

— Так он за это получил премию...

— Нечего смеяться... Он захватил завалюшку, перестроил ее, у него таки будет дом... И молоком он тоже обеспечен...

— Я не люблю хапать... У меня есть время, чтобы подождать...

— Ну так у тебя будет возможность переспать зиму на чердаке...

— Или да, или нет... Ведь нам обещали квартиры, где они?

— Мало что тебе обещали...

— Ой, дурят нашего брата!..

— Ну, так из этого ничего не получится... Массы нельзя обманывать... Не должны должны... массы...

Заговорил «агитатор», и люди замолчали. Они не любили «агитатора». Вскоре все разошлись. Какое-то время «агитатор» одиноко стоял посреди улицы.

Израиль Бройда, туда-сюда, сделал три ходки на стан-

цию и перевез скарб. Когда он в третий раз подкатил к своей избушке, был уже поздний вечер, и солнце давно уже село. Он поставил на землю большой топчан, большим грязноватым платком вытер пот с лица и затылка, взглянул на свою Алту, улыбнулся ей, набил махоркой трубку, затянулся и, выпустив пару клубков дыма, сказал:

— Вот мы, Алта, уже и дома... Серьезно и навсегда... Тебе дом чем-нибудь пахнется? А-а, хорошо! — и он носом потянул вечерний воздух.

— Ишь, обрадовался, — возясь с вещами, ответила Алта.

— Не балуй, Алта... Не проказничай. Прошу тебя... Я ведь вижу, что и ты довольна. Так тебе жаль доставить удовольствие мне?

— Ты уже разговорился? Вокруг дома черт-те что делается, а он стоит и агитирует меня!

Израиль покружил вокруг Алты, легкая досада охватила его. А досада была из-за ненормальных мыслей: Алта его еще куда как хороша! Ни живота, не сглазить бы, ни той замызганности, что у других, умная. Ум — первый сорт! А ночевать придется на улице... Ах, будь оно неладно! «Деятели», черт бы их побрал, украли у него сегодняшнюю ночь... Завтра будет уже не то... Завтра будет уже вторая ночь...

С трубкой во рту он стоял напротив Алты и все думал о том, о чем сказано выше. Алта лишь разок взглянула на него и тотчас же догадалась, о чем он думает. Она тоже ощутила какую-то досаду, которую тут же и высказала ему:

— Впервые вижу в своей жизни человека, который то сыплет словами, то стоит, как истукан, и думает... Вокруг содом, а он...



Эту сцепку прервала их «квартирантка» Эстер Старо-закалка. Это молчаливая молодая девушка. Вот она идет сюда своими широкими шагами. Она улыбается своими ярко-зелеными глазами, а лицо аж покраснело от гнева:

— Как вам не стыдно! — сразу набросилась она на них. — Я же вас просила дать мне знать... Ведь я хотела помочь вам... Как вам не совестно! Все сами тащили на себе...

— О, Эстерка! — обернулась к ней Алта. — У тебя есть еще время, натаскаешься...

— Товарищ, — сказал Израиль Бройда, — не гневайся, это не идет твоему комсомольскому лицу. Вот помоги теперь... Что? Ты хотела шагать в одной упряжке со мной?

Ночевали на улице.

В новой избе пока уложили лишь парочку, двойняшек — Эйдена и Семку. Уложить их было трудновато — загорелые двенадцатилетние мальчишки были до крайности обижены. Все будут спать на улице, у костра, почти как в сказках об удивительных путешественниках, а они должны валяться в избе. А почему, разве они не такие же равноправные граждане, как отец с матерью?

Но за эту работу — уложить спать детей — взялась Эстер. С Эстер нет смысла препираться. У Эстер есть чем вознаградить за оскорбление. У Эстер есть ружье. Эстер может пообещать что-нибудь такое... А если Эстер пообещает — она выполняет. Эстер пообещала: пойти завтра с ними за фазанами. Завтра свободный день, а фазаны тут разгуливают, будто петухи. Их можно ловить голыми руками. А с ружьем и говорить нечего. И, видя перед глазами чудесную окраску фазаньих оперений, усталые дети уснули. Где-то на зеленоватых перьях фазаньей грудки им виделось красное пятно — это Эстер по ним стреляла и попала.

Как только дети уснули, Эстер поднялась. Она хотела пойти к Алте, на улицу. И в эту минуту ей показалось, что ее затошнило. Она подумала, что кусочек селедки, полученный ею на обед, был несвежий, зеленый и расползающийся. Но в темени она вдруг покраснела. Она почувствовала жар на щеках. «Не ищи причины и хоть себе самой не лги», — ударило ей в виски. Между тем тошнота прошла, и она уже сама не знала: то ли ее действительно затошнило, или ей просто померещилось. Она вышла во двор.

В последнюю минуту, когда вся работа уже была сделана, постели и другие «ценные» вещи внесены в дом, а на улице осталось кое-что из мебели да полудохлая королева, Израилю снова вдруг захотелось подумать о том, где переспать.

— Кажется, что ночь будет холодная, — сказал он обеим женщинам сразу, — может быть, мы как-нибудь...

— Как-нибудь я не хочу, — прервала его Алта, — а остолоповские клопы я не стану тащить в новую биробиджанскую избу. Ничего с тебя не убудет, если ты одну ночь поспишь на улице.

Эстер натаскала веток. И подальше от избы, у подножия биробиджанской сопки, разожгли костер. Было тепло и уютно. Чуть попозже над костром взошла неполная луна. Эстер расстелила вокруг костра несколько ряден. Израиль завернул в эти рядна Алту и Эстер.

— Пospите пару часов, — сказал он им и взялся за свою трубку, — потом я подремлю.

Где-то далеко в тайге закричала косуля. Израилю почудилось, будто он слышит низкое похрюкивание дикой свиньи, крики фазанов, всплески рыб в реке Бире, мягкие кошачьи шаги уссурийского тигра.

— Какое богатство! — сказал себе Израиль и, пыхнув трубкой, вошел в избу глянуть, как спят дети...

Он подкинул несколько веток в костер, присел лицом к тайге, выгреб из огня красный уголек и, кинув его в трубку, подумал: «Мне сегодня пошел сорок первый год, а жизнь только еще начинается...»

Каждый человек имеет свою скрытую страсть. Скрытая страсть Израиля Бройдера — это думать. Или он размышляет о том, как тяжела и горька была жизнь раньше, еще до того, как он появился на свет божий, или он думает о том, что намного легче жизнь теперь. Он думает над тем, что надо сделать, чтобы улучшить и украсить свою жизнь, или заново очень ярко переживает все свои встречи с людьми, разговоры с Алтой, важные происшествия своей жизни. При этом он чувствует себя очень легко и бодро, словно бы плывет на светлых водах своего былого.

Вот он сидит у костра, подбрасывает в него пару веточек, а из тайги на него как бы надвигается его прошлое.

Остолопье, за день до отъезда в Биробиджан. В нагрудном кармане у него уже лежат все бумаги. В доме все уже упаковано. Теперь надо все упакованное добро разделить: что взять с собой, а что сдать в багаж. Он стоит посреди дома и, прежде чем взяться за работу, говорит:

— Алта, я забыл сказать тебе... Для Биробиджана надо хорошенько подпоясаться... Ты женщина, Алта, но ты у меня закаленный человек! Десять мужиков за тебя не жаль! Так подпояшись, Алта! Ты полагаешь, что построить себе новый дом навсегда — дело шуточное? Трудновато придется. В «Эмес»<sup>1</sup> писали то же самое.

---

<sup>1</sup>«Эмес» («Правда») — советская газета на идише, выходила с 1918 по 1939 год.

Он замечает, что Алта смотрит на него, как на сумасшедшего. Он знает, что она скажет на это. И она говорит:

— Пошептать тебе от дурного глаза, что ли? Сумасшедший! Вспомнил! За час до отъезда!..

Но он знает, что Алта хорошо его изучила, они живут играючи. Как бы жизнь ни была тяжела, они всегда играли. Он продолжает игру. Он делается серьезным и говорит:

— За час до отъезда еще не поздно завернуть дышло, Алта. Вот через час после отъезда уже будет поздно, некрасиво. Поговаривают, что Биробиджан уже посылает мед в Америку. Алта, убери слюнки, до меда еще там далеко. Наверное. Но все-таки...

Алта не поддается, в их игре она дает ему сдачу.

— Израиль, — восклицает она, — боже мой, ты уже заговариваешься. Говорят, что помешанных в Биробиджан не пускают...

Израиль смеется. Он доволен. И спохватывается:

— Все-таки выгорело!

— Что?

— Поедем через Москву. Мы увидим Кремль! Ленина в Мавзолее...

— Это они тебе дали в приданое? Воры! И дураки! Воры — это они, а дурни — вы. Как будто есть другая дорога. Другой-то дороги нет!..

Ярко горит костер, Алта крепко спит. Эстер короче Алты, она лежит к ней спиной. Голова Эстер уткнулась Алте куда-то в грудь. Она спит, как ребенок. Неполная луна стоит высоко над тайгой. А по тайге бродят звери. Израилю кажется, что он слышит их крики. Во рту он держит трубку, покуривает и улыбается. Пламя отражается в его темно-голубых глазах. Сердце его, словно кора-

блик, плывет по большой воде его прошлого. Они с Алтой объездили свет. На целых три года даже увез ее в Америку, и вернулся. Им не понравилась Америка.

— Алта, — сказал он ей к концу третьего года их пребывания в Америке. — Пакуйся, мы едем домой. Мне не хочется быть фаршем для кишки. Америка кишка, а люди фарш. Не хочу, чтобы американский дьявол съел меня со всеми потрохами. Пакуйся, Алта! — хотя к тому времени вещи были уже упакованы и отправлены.

В Америке он не хотел иметь детей.

— Тут мы в гостях, Алта... А в гостях неприлично заниматься такими делами...

Зато они после, в Остолопье заимели сразу близнецов. Двое мальчишек, как дубки.

Вот так, по большой воде воспоминаний его сердце плывет часов до трех. Сердце его баюкается, качается на тихой воде. И он засыпает.

Часа в три на рассвете Алта будит его:

— Иди, поспи, — говорит она, — я уже готова.

Израиль взглянул на спящую Эстер и протянул ноги к костру. Вместо подушки под головой у него кучка сена. Он почти мгновенно засыпает. С трубкой во рту.

На рассвете взошло солнце. Первый луч его разбудил Израиля. И первое, что он увидел, еще почти не проснувшись, была его изба.

Первый взгляд после сна всегда немного темноватый, неясный. Но если ты засыпаешь с радостью на сердце, то просыпаешься... в сладкой тревоге: «Не потеряна ли вчерашняя радость? Ах, вот она...»

Израиль видит: его новая белая избушка стоит, как светлый дом. Возле избы комод, деревянная кровать, хорошо прошпаренная, топчан, стол, несколько стульев, а

на новой изгороди развешана постель — три подушки, перина, одеяла, простыни. Все это уже изрядно перечинено, как и приличествует этому старому еврейскому добору. И человек тащил это сюда двенадцать тысяч километров.

Израиль вскакивает на ноги. Какое-то мгновение он стоит посредине двора, между своим раскиданным скарбом. Во рту он уже держит свою трубку, доверху набитую махоркой. Над его простоволосой, слегка уже седеющей головой высится биробиджанская сопка, густо поросшая вековыми деревьями и снизу доверху вымощенная осыпью камней.

Солнце подымается над Израилем, над сопкой, над его добром и над новой свежепобеленной избушкой. Какую-то секунду он стоит под солнцем, как огнепоклонник. Ему кажется: вот он падает перед ним на колени и поет ему утреннюю хвалу.

Он наскоро выпивает свой стакан кипятка с хлебом и принимается за работу.

Эстер и дети пошли в тайгу за фазанами. Эстер привезла с собой в Биробиджан небольшое одноствольное ружье. Она одна уехала поездом вперед своей партии. И некому было смеяться над ее ружьишком. Но когда она приехала в Биробиджан и нашла себе уголок, на нее поглядывали с подозрением: «Зачем она сюда приехала? — думали люди. — У человека имеется небольшое лукошко с парой белья, подушка и охотничье ружье...» Теперь, с ружьем на плече, она с детьми бродит по ближайшему куску тайги и ищет фазанов...

Солнце поднялось выше. Алта все ошпаривала мебель, проветривала одежду, палкой выбивала пыль из постелей. Израиль трудился с жаром и с большой радост-

ной охоткой: вот он все расставит в избе, устроит, положит крышу и лишь тогда начнет работать в лесу! Но по середине работы его охватила большая досада, и он рас-терянно встал. Он уже несколько раз пытался занести мебель в избу, а она не лезет. Не становится. Избушка слишком мала и главное — топчан не лезет в дверь.

Степь большая. Тайга еще больше. Чего-нибудь стоит и его двор. Тут можно построить целый завод. А домик маленький. Кровать разбирается. Частями ее можно про-тащить в избушку, а топчан «одно литье», он не лезет, хоть разруби его на куски.

— Вот он уже прется сюда, рыжий Бер. — кричит ему Алта с другого конца двора. — Израиль, помни же, о чем мы с тобой договорились.

— Ладно, — говорит Израиль и сызнова начинает из-мерять топчан. Он еще надеется, что протащит его в дверь.

Через минуту на дороге появляется длинный человек с рыжей бородой и проволочными очками на глазах. На человеке порванные штаны, подошвы его ботинок под-вязаны бечевками, а короткая ватная телогрейка подпо-ясана толстой веревкой.

— Израиль, я иду к тебе, — издали говорит подпоясан-ный человек с рыжей бородой и темноватыми проволоч-ными очками.

— Ты идешь, значит, благополучно придешь... Здрав-ствуйте. Добрый день... Что желает еврей? — не очень го-степриимно спрашивает его Израиль.

От такой встречи рыжебородый еврей в темных очках не в восторге, но он и не теряется. По дороге сюда он, видно, продумал, что ему надлежит здесь сделать, и поэ-тому говорит сейчас спокойно и как будто с холодком,

хотя борода выдает его, вкладывает в его слова насмешку, а глаза упрятаны за темными стеклами, вероятно, они у него вороватые.

— Человеку везет, — говорит рыжий, и борода его двигается, открывает то место, где рот, и открывает на секунду-две узкие, злые, почти синие губы. — Человеку везет! Я слышал, корова у тебя телится... Совсем не ко времени, но если человеку везет, то не касается!..

— Да, да, Бер, — говорит назло Израиль. — Не идет, а прет, летит, само в руки бежит биробиджанское счастье... Разверни полы и хватай... Это же страна молока и меда... Тебе-то я эту истину не должен втолковывать... Но я прошу тебя, Бер... сними тряпье... Ведь у тебя есть что надеть... И очки, за каким лядом они тебе нужны... Неприлично в таком маскараде ходить по Биробиджану...

У этого рыжего Бера тоже есть сердце. Его сердчишко, с тех пор, как оно вместе с ним прибыло в Биробиджан, все тлеет на здешнюю дикость, на гнус, на людей, которые сидят в квартирах, а он должен обретаться на чердаке, а главное, что и здесь, как повсюду, не дают разводить руками, делать что-то... С раскаленным сердчишком лазит этот человек по биробиджанским поселкам. А если человек скажет ему слово про его бездельничанье, то оно падает будто кипяток на разогретый камень — сердчишко начинает кипеть, бурлить, klokотать. Вот оно раскипелось на этого... — на Израиля Бройду, он издевается. Но пусть он — этот!.. Однако рыжий помнит хорошо, зачем он сюда пришел. То, для чего он сюда пришел, и для тела, и для души.

— Ты бездельничаешь, Израиль, — говорит он ему. — Лучше бы ты подумал о наших братьях.



— У меня есть более важные дела. Вот... топчан не пролазит в дверь, хоть возьми да и развали стены...

— Ты бездельничаешь, Израиль, — говорит он ему еще раз, — а я думаю, к чему мне все это понадобилось...

— Не беги — никто тебя не гонит... Иди потихоньку... Заверни дышло назад... — говорит Израиль и сызнава начинает мерять топчан в ширину и в длину.

— Куда назад? — спрашивает рыжий.

— Ага! — говорит Израиль. — Лентяй, что же ты спрашиваешь?

— Израиль! — кричит Алта с другого конца двора. — Я не дам вам зря шушукаться... Поговорили, и ладно... Разойдитесь по-хорошему... У меня в руках дрын!..

— Конечно! — говорит Израиль и вдруг весело сплевывает. — Ох и осел же я! Два часа зря ломаю себе голову! Алта! — кричит он весело. — Есть выход, Алта! Через крышу! Через крышу пролезет в самый раз!

Он тащит новую лестницу к полураскрытой крыше. Рыжий Бер с веревкой на бедрах смотрит ему вслед с ненавистью в глазах, и сердчишко у него кипит.

— Израиль, — доверительно говорит он ему, — ты уже слышал о вчерашних премиях? Нас с тобой обделили, а?..

— Не морочь мне голову со своими премиями... Кого ты тут ищешь? Ты ведь слышал, что сказала моя Алта... Лучше помоги втащить топчан в дом...

Однако через минуту он вспомнил и спросил:

— Ты полагаешь, что тебе причитается премия? За что? Тихо, вот он идет... С него и спрашивай премию...

На дороге показался еще один человек. Этот молод. Он не идет, а шагает — три метра шаг... Этого молодого человека зовут Туермахер.

Туермахер — юноша-богатырь. У него достаточно сил, чтобы один на один выйти с ножом на медведя. Если бы он только захотел, у него хватит сил, чтобы валить в тайге тысячелетние деревья или рубить камень на Лондоковском известковом заводе, — он может перевернуть горы. Но он занят чем-то другим: он секретарь какого-то отдела. У него полный рот языка, и ему трудно произнести слово. Он, словно бы мокрой тряпкой, ворочает во рту языком, тянет его туда-сюда, и пока от него дознаешься, чего он хочет, пропадает интерес к работе, которую он велел делать, если работа эта даже важна и необходима. Для секретаря это большой недостаток. Зато у него свое свойство: его голова всегда полна телеграмм — полученных, отправленных и даже тех, которые только еще предстоит получить или отправить. На своей голове он держит весь Биробиджан. По тридцати телеграмм ежедневно! И всегда он бежит. У этого человека нет даже времени на то, чтобы постоять секунду с другим человеком и выслушать его желания. Ни в коем случае не обращайтесь к нему. Скажите ему, что горит тайга, он спросонья улыбнется и ответит вам:

— У меня голова полна телегра-а-амм...

То же самое он вам ответит при наводнении, при эпидемии или когда прибудет новая партия переселенцев.

Но что-то он делает, этот Туермахер. Что за вопрос — государственная работа! Из-за этого он сейчас и прибежал к новой избушке Израиля Бройды.

Тайга велика, а избушка мала, дверь ее — узкая щель. Топчан не пролазит в дверь. Корова лежит привязанная с полузакрытыми глазами. Ее высокий живот подымается и опадает. Алта трясет подушки. Израиль Бройда стоит на лестнице и измеряет открытый чердак, сумеет ли

он через него втащить топчан в дом. Рыжий с веревкой на бедрах стоит внизу и придерживает лестницу. Он уже увидел Туермахера и не хочет стоять без дела. Над ними всеми светит доброе, теплое ноябрьское биробиджанское солнце. Туермахер бежит в этом свете, как добрый посланник, с полным ртом языка и головой, набитой телеграммами. Он еще издали машет руками и кричит:

— Израл, Израл! Подпиши! Скорее!..

Он замечает рыжего Бера и гукает на него:

— Что вы тут делаете?

— Я придерживаю лестницу, чтобы Израиль не свалился со своей новой крыши, — отвечает тот вполне серьезно, а рыжая борода насмехается.

— Ты ведь должен быть в Лондоко! Зертир!

— Доктор... — Рыжий левой рукой показывает на свой пах. — Он сказал, что я покалеченный, и мне нельзя делать тяжелую работу...

— Зертиры! — говорит Туермахер, у него нет времени вымолвить слово целиком. — Подпиши, Израл.

Солнце стоит уже достаточно высоко.

Израиль Бройда слезает с лестницы. Он нарочно спускается медленно, он испытывает терпение Туермахера. Он знает, зачем Туермахер к нему пожаловал. Он еще вчера дал ему свое согласие.

— Ты прав, Туермахер. Мы таки напишем о наших достижениях Калинину, Сталину...

— Быстрее! — кричит Туермахер. — Времени нету!.. — и подает ему бумагу и карандаш.

Однако без Алты такие дела не вершатся. Она подходит сюда. Она заглядывает в бумагу. Израиль сбоку подмигивает ей. Одними глазами она, улыбаясь весело, как бы отвечает:

— Слово за тобой, Израиль, выложи, но только как мы с тобой договорились...

Он пыхнул своей трубкой и не совсем простодушно говорит:

— Выслушай, Алта, я хочу посоветоваться с тобой... Вот пришел рыжий Бер: он вроде бы пришел посоветоваться со мной, что ему делать со своей тяжелой хворью... Кстати, он заботится о еврейском народе...

Трубка у Израйля не горит. Нет табака. Он набивает ее свежим и с большим удовольствием пыхкает снова. Солнце светит. Тайга молчит. Эстер с Эйдемом и Семкой бродят где-то в ней и ищут фазанов на обед. На станции свистнул паровоз и ушел. Люди вокруг Израйля стоят ошарашенные. Они видят — он заводится, как помешанный, не к ночи будь сказано. Они слышат — человек говорит не к месту... И поэтому они таки молчат. Пусть он выговорится, тогда мы увидим, с кем имеем дело...

Израиль попыхивает своей трубкой и говорит:

— С еврейским народом будет так: кто будет работать, тот будет есть. Я сам это видел в Москве высеченным на камне... ОЗЕТ, чтоб ему радостно было и на том, и на этом свете, не хотел выпускать нас из поезда... Ну так я их все равно обвел вокруг пальца. Я взял свою Алту, и пошли мы с ней посмотреть Москву. Там я видел высеченным на камне: «Кто не работает, тот не ест!» Вот так будет и с еврейским народом. Бер... так если ты хочешь есть, иди и берись за работу... Теперь ведь ты спрашиваешь, Алта...

Алта прерывает его:

— Я ничего не спрашиваю, я ничего не хочу, господи боже мой, человек опять стал заговариваться! Сейчас дети вернутся из тайги, а ничего еще не сделано! Товари-

щи, я прошу вас, идите себе подобра-поздорову домой! Калинин и Сталину мы напишем сами...

— Стоп машина! — вскричал Израиль. — Главное — это мысль! Золотая мысль! Мы таки напишем сами...

Первым ретировался рыжий Бер. Он споро пошагал в своих порванных штанах и подвязанных бечевками ботинках. Шагая, он еще туже затянул веревку на бедрах. Уже отойдя от Израиля на приличное расстояние, он вдруг обернулся, задрал голову и, широко раскрыв в бороде свой безобразный рот, засмеялся гулким, скрипучим, мерзким смешком.

Вторым ушел Туермахер.

Израиль уже без охотки пошел к топчану. Они испоганили ему настроение. Но он взялся за работу. Один конец веревки он привязал к двум ножкам топчана, второй конец намотал на руку и полез на лестницу.

— Стой здесь, — сказал он Алте. — Не надо помогать. Ты только следи, чтоб ножки не цеплялись.

С улицы, ведущей к парому, слышалась песня. Человек пятьдесят, полная улица, пели:

По долинам да по взгорьям,  
Шла дивизия-я-я вперед...

Израиль и Алта стали приглядываться, прислушиваться.

«Куда это?» — думает Израиль.

«На речку. Субботник. Бревна таскать», — думает Алта.

«На речку. Субботник. Бревна вытаскивать», — думает Израиль и тянет топчан.

Он не замечает, что втаскивает топчан на чердак ритмично, в такт с песней.

— Не надо мне помогать, — говорит, — не трать силы

зря. Хватит и моих. Ты только поглядывай, чтобы ножки не цеплялись.

К двум часам солнце стоит высоко. К этому времени вся тяжелая работа уже сделана. Израиль Бройда уже живет в новой избе. И топчан уже стоит на месте.

Простой обед — пшенный суп с зажаренным луком и «фальшивое жаркое», тоже приправленное зажаренным луком, — ели на улице. В избе еще успеют...

После еды Израиль закурил трубку. Покуривая, он задумался. Задумчивый, взглянул на солнце. Ему охота узнать, который теперь час и успеет ли он переделать всю работу к вечеру. Поглядывая, он увидел вокруг себя тайгу, реку Биру, светлую амурскую дорогу и блестящее солнце, похожее здесь на висящий в небе кусок плавленного золота. Зависть охватывает человека к этой удивительной природе, и он громко произносит:

— Ты гляди, какое богатство!..

На дороге показалась Эстер с детьми. Семка побежал к дому, держа за лапки какую-то птицу.

— Подстрелили или купили? — улыбаясь, спрашивает Алта.

Эстер улыбается.

А Эйден клянется:

— Честное слово, мама, подстрелили. Она подстрелила. Она у нее еще сидит в животе.

— Кто?

— Пуля! — весело кричит Семка. — Вот возьми, пощупай. Эстер хорошо стреляет. Попала как раз в живот!

— Хорошо, хорошо, — сказала Алта. — Идите есть.

— Эстерка, — по-отцовски сказал ей Израиль, — на самом деле подбили или купили?

— Что, это большое дело? — тихо улыбаясь, отвечает

Эстер. — Тут только требуется одно: знать, где находятся гнезда. Мы почти что вернулись ни с чем. А это случайность. Мы наткнулись на трех разгуливающих фазанов. Кое-как в одного попали.

— Это что, самец? — щупая фазана, спросил Израиль.

— Фазан. Я попала как раз в петуха.

Вечерком, когда в избе все уже расставлено и устроено, Израиль присел к столу.

Солнце начинает садиться. Вершины далеких гор начинают убираться всеми цветами радуги. Первый цвет, который они примеряют на себя, — золотистый. И в предвечернем полусумраке они выглядят, будто позолоченные.



**Луис Лозовик (1892–1973). Деревня.**

Из альбома, выпущенного ИКОРом в 1929 году в связи со своей деятельностью в США и Канаде в поддержку еврейской колонизации в Советском Союзе.





## ЭСТЕР РОЗЕНТАЛЬ-ШНАЙДЕРМАН

### **Прямо «Тысяча и одна ночь»!**

*Главы из книги «Биробиджан вблизи»*

А время не стоит на месте: партия лицемерно создает и создает новые искусственные препятствия для еврейского культурного строительства. И чем больше беспокойства вызывают у нас дальнейшие перспективы работы здесь, в центрах страны, тем больше становятся наш интерес к биробиджанскому проекту и забота о его реализации. Нас интересует любая мелочь, которая происходит там, в далеком еврейском районе. Малейшая победа радует нас, каждая неудача огорчает.

Начало 1932-го. Два года до провозглашения Еврейской автономной области.

Какое-то время мы носимся с таким планом: пусть кто-нибудь, кто в состоянии трезво оценить ситуацию, посетит Биробиджан, побывает там в каждом уголке, увидит своими глазами, что там происходит. Наиболее

подходящие люди — Иосиф Либерберг и Борух Губерман: они занимают высокие посты и оба — прекрасные организаторы.

Профессор Иосиф Либерберг — историк, блестящий ученый, оратор и организатор. Заведующий кафедрой еврейской культуры Всеукраинской академии наук в Киеве, потом Научно-исследовательского института еврейской культуры. В юности — сионист. Потом — убежденный коммунист. В мае 1934-го по воле Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии выбран первым председателем областного исполнительного комитета Еврейской автономной области.

Подробнее о его добиробиджанском периоде — в моей книге «На путях и перепутьях», третий том, первая часть.

Борух — так называли Боруха Губермана в широких еврейских и нееврейских культурных кругах. Как и Либерберг, бывший левый поалей-ционист. Приехал в Советский Союз из Польши в начале двадцатых. Имел большие заслуги перед Коммунистической партией в СССР. Несколько лет служил в разведке Красной Армии на польской территории. Поселился в Биробиджане в начале 1935-го. Потом оба, Либерберг и Губерман, были расстреляны НКВД.

Как сказано выше, мы сейчас говорим о 1932 годе.

Оба кандидата пользовались огромным авторитетом и получили поддержку, но в те годы такая поездка была нелегким делом. От Киева до Биробиджана одиннадцать тысяч километров. Гражданского авиационного сообщения с Дальним Востоком, можно сказать, нет. Надо ехать на поезде. Дорога туда и обратно занимает примерно двадцать два дня, даже если ехать на международном экспрессе «Париж — Варшава — Москва — Владивосток

— Пекин», и стоит бешеных денег. В конце концов мы собрали средства в ОЗЕТе, Институте, Академии и еще где только смогли. И в 1932-м удалось предпринять долгожданное путешествие. Губерман и Либерберг все-таки поехали в Биробиджан.

Думаю, в большом актовом зале Всеукраинской академии никогда не царило такое приподнятое настроение, как на собрании, где Либерберг и Губерман отчитывались, что видели и делали в Биробиджане.

Затаив дыхание, мы слушаем их рассказы о заседаниях, которые они там провели почти со всеми руководителями района, и о их выступлениях на массовых митингах, на которые приходило почти всё городское население и часами стояло под открытым небом, прислушиваясь к спорам, которые Либерберг и Борух вели с некоторыми руководителями области.

Посланники вернулись, очарованные бескрайними просторами еврейского района, ведь его площадь свыше семидесяти тысяч квадратных километров, больше, чем трех европейских стран — Бельгии, Голландии и Люксембурга — вместе взятых, с их восемнадцатимиллионным населением.

Они с восторгом рассказывают, как посещали Биробиджанскую сельскохозяйственную опытную станцию. Там они видели собственными глазами, как на тучной биробиджанской земле произрастают всевозможные культуры, от тех, что цветут только в жарком климате, до тех, которые растут только на холодном севере.

Хотя мы знаем об этом из отчетов, которые собираем уже не один год, мы засыпаем посланников вопросами: «А помидоры растут на опытной станции? А арбузы там еще не пробовали культивировать?» Даже

скептически настроенные сидят и слушают с открытым ртом.

Посланники не могут нахвалиться богатейшими водными ресурсами Биробиджана. Засуха там абсолютно исключена. А какие там леса! Они занимают шестьдесят процентов площади, это девять миллионов гектаров. Оба посланника провели несколько дней в дикой, девственной тайге. Погостили у гольдов, а также у корейских и тунгусских старожилов-охотников. Побывали там, где не ступала нога человека...

Вековые кедры, ели, пробковые деревья, гигантские сосны и липы — благословение еврейской страны. Они гарантируют быстрое и дешевое строительство предприятий и домов для переселенцев, а кроме того — доходы от экспорта ценной древесины, который может принести миллионы. А охота на редкого таежного зверя даст возможность экспортировать меха, которые стоят дороже золота.

Слушатели стараются не пропустить ни слова, когда Либерберг и Борух рассказывают, как они со старожилами-рыбаками плыли по великой реке Амур. Эта одна из крупнейших рек мира ждет, чтобы на ней организовали механизированную рыбную ловлю, ведь амурская рыба может прокормить весь Дальний Восток. Амур ждет, когда еврейские переселенцы пустят по нему пароходы и построят на нем мощные гидроэлектростанции.

Народ сидит как зачарованный. Прямо «Тысяча и одна ночь»!

Когда Либерберг и Борух начинают описывать сокровища, скрытые в недрах биробиджанской земли, мы ясно видим дым, поднимающийся над трубами металлургии.

ческих заводов, и снопы искр из мартеновских печей за-  
втрашнего еврейского социалистического государства...

И сердце наполняется радостью. Шутка ли сказать! Последняя научная экспедиция доказала: горный хребет Малый Хинган хранит в себе полмиллиарда тонн железной руды! Несколько миллиардов тонн высокосортной извести! Мрамор высшего качества, причем редких сортов (его вывозят украшать дворцы Кремля и метро, которое начали строить в Москве). А золотые жилы! Они тянутся от реки Сутары аж до Амура... А колоссальные запасы графита и магнезита! Всё это дремлет до поры в земле Биробиджана и ждет наших еврейских рук!

В общем, именно там, на Дальнем Востоке, — счастливая судьба советских евреев. Нужны только еврейские рабочие руки, еврейские мозги и еврейская инициатива, помноженные на советский патриотизм, и советское многомиллионное еврейство станет таким же народом, как все остальные!..

## ПЯТНА НА СОЛНЦЕ

Наши посланники не замалчивают и недостатков Биробиджана. На солнце тоже есть пятна, хотя оно так ярко светит...

И какие же пятна есть на нашем биробиджанском солнце? Летом неделями льют дожди, а гнус жрет людей и скот до крови. Ничего, гнус исчезнет, когда разрастутся города и поселки. А дождь? Наоборот, это же благо для урожая! Зимой морозы достигают минус сорока-пятидесяти градусов! Да, это правда. Но мороз мягкий, ветра почти нет, а яркое восточное солнце сияет почти всю зиму, в середине дня можно загорать, как на пляже...

Большую часть площади занимают болота. Но мы осушим их и превратим в цветущие сады, поля и города.

Биробиджан находится ужасно далеко от Европы и крупных советских центров! Зато он расположен прямо на важнейшей транспортной артерии — железной дороге, которая идет из Парижа через Берлин и Варшаву в Москву, а из Москвы во Владивосток и оттуда — аж в Китай и Японию... Уже сегодня поезда останавливаются на сонной станции Тихонькой. Правда, только на минуту, но недалек тот день, когда Биробиджан благодаря еврейскому труду станет важным железнодорожным узлом мирового значения.

Всекие скептики за рубежом и у нас, в СССР, твердят, что Биробиджан лежит у самой границы с враждебными азиатскими государствами, что еврейское население будет подвергаться опасности и примет на себя первый удар! И это как раз нравится многим сторонникам Биробиджана: советская власть и Партия оказывают нам, евреям, большое доверие. Они доверяют нам, проверенным еврейским патриотам, быть форпостом на Дальнем Востоке. И мы оправдаем доверие. Что мы готовы в первых рядах защищать нашу социалистическую Родину от любого агрессора, мы уже доказали в Гражданскую войну. Да и вообще, что нам бояться каких-то врагов? Ведь во всем мире нет такой силы, которая может противостоять нашей могучей защитнице — славной Красной Армии. Но лучший способ избежать интервенции наших дальневосточных врагов — это густо заселить приграничные районы верными советскими гражданами.

Итак, нам, советским евреям, предстоит решить одновременно две важные задачи: возродить еврейскую нацию и укрепить наши дальневосточные границы. С эти-

ми двумя заданиями мы должны справиться как можно быстрее. Это обязанность советских евреев.



Но пока задача решается неудовлетворительно, с волнением рассказывают посланники. В Биробиджане почти не заботятся о новоприбывших. Посланники видели, что переселенцы живут в ужасных условиях. Питание хуже некуда. Профессиональные навыки приехавших не применяются как должно. К тому же приезжает много старых и больных, которые становятся обузой... В руководстве района есть люди, которые строят переселенцам бюрократические препятствия. КомЗЕТ и ОЗЕТ бессильны что-либо сделать, и переселенцы в массовом порядке бегут обратно. Хорошо, если половина останется. Колоссальные деньги растрачиваются впустую.

Вывод ясен: так продолжаться не может. Как ни сильно наше радостное возбуждение, беспокойство еще сильнее.

Либерберг и Борух обращаются к высшему партийному руководству и там, на Дальнем Востоке, и здесь, в центре, с меморандумами: переселенцы живут в недопустимых условиях. Кандидатов в переселенцы, пишут они, отбирают неправильно. Агитация ехать в Биробиджан ведется недостаточно серьезно и недостаточно активно. Поэтому и невелико число тех, кто туда едет, но высок процент возвращающихся. Теперь КомЗЕТ и ОЗЕТ должны направить свою деятельность на Биробиджан, но он не делает этого в достаточной мере.

Меморандумы вызвали недовольство как среди биробиджанских руководителей, так и в верхушке КомЗЕТа и ОЗЕТа. После долгих препирательств Мойше Литваков

согласился опубликовать в «Дер эмес» статьи, где Либерберг и Губерман, помимо прочего, отмечали, что массовое бегство переселенцев нельзя списывать только на проливные дожди, которые шли всё лето 1932-го. Причина того, что восемьдесят новоприбывших сбежали, — плохая работа районных руководителей. В доказательство приводятся цифры: многие уехали до того, как начались дожди, а двадцать пять процентов возвращенцев приехали туда еще в предыдущие годы. Две статьи неделями немало шуму.

Тогда, в тридцать втором, нам казалось: весь план строительства Биробиджана получил такой удар, что Партия, не дай бог, может и вовсе от него отказаться...

Мы не можем успокоиться: сколько еще переселение будет идти такими медленными темпами? Голос агитатора еще не достиг далеких, заброшенных еврейских местечек, где нужда столь велика, что им буквально угрожает физическое исчезновение. Вести в них разъяснительную работу должны все, и в первую очередь мы, еврейские ученые. Нам беднота поверит.

А теперь представьте себе такую картину: специальное общее собрание в Институте еврейской культуры. На повестке дня только один вопрос — Биробиджан. Либерберг произносит пламенную речь: «Мы обязаны создать новый контингент еврейских переселенцев!» Он так зажигает аудиторию, что вскоре в зале начинают раздаваться голоса: «Давайте вместе включимся в практическую работу! Прямо сейчас!» Со всех сторон доносится: «Запишите меня!» Слышен голос Нохума Штифа: «И меня отправьте!» И еще кто-то, и еще: «Я мобилизуюсь собирать новых переселенцев!»

Мы на целый месяц прерываем исследовательскую



работу Института. Делимся на бригады по два человека: один старший, другой младший. И более шестидесяти ученых отправляются по голодным, полумертвым местечкам Украины. Они едут агитировать еврейскую бедноту переселяться в Биробиджан. И чем местечко меньше и дальше от центра, тем больше в нем уважения к ученому посланнику Института.

В памяти всплывает еще одна трогательная картина. Агитаторы уже готовы в путь. Весь персонал, и молодые, и старые, собрались в Институте. Либерберг проводит последний инструктаж. И тут у нас опять возникает возможность убедиться, как велики его знания о Биробиджане — будто он родился там, в дальневосточной тайге. С верой и любовью он еще раз наставляет уезжающих.



Это было в тридцать втором — тридцать третьем годах с их ужасными последствиями принудительной коллективизации, от которой еврейская деклассированная местечковая беднота зачастую страдала больше, чем украинская деревня. Мы с Нохумом Шифом вдвоем поехали в еврейско-украинское местечко Олевск, и даже не знаю, кого из нас — меня, партийную активистку, или его, беспартийного крупного ученого, — сильнее потрясла разлука, которую мы там увидели. Об этой трагикомической поездке я расскажу в другой раз.

Многие кабинетные ученые впервые столкнулись лицом к лицу с печальной действительностью и вернулись потрясенные увиденным. И теперь никто из них не сидел сложа руки, но все помогали, помогали чем могли.

Но еврейская интеллигенция, даже увлеченная Биробиджаном, психологически еще не была готова туда ехать.

Нелегко расстаться с большим городом, с хорошей должностью и поменять всё это на тяжелые, примитивные бытовые условия. Главное, трудно заставить себя покинуть культурный центр.

Но надо апеллировать к интеллигенции. Либерберг и Губерман снова отправляются в путь.

Люди стремятся на отчетные собрания, которые они устраивают во всех крупных городах Украины. Приходят услышать живой привет из Биробиджана. Интересно узнать мнение двух таких авторитетных свидетелей. Они обращаются с горячим призывом к еврейской образованной молодежи, к учителям, писателям и ученым: не бойтесь трудностей, добровольно поезжайте строить заветное еврейское государство. Там каждого из вас ждет широкое поле нужной и интересной деятельности. В Биробиджане для любого еврейского интеллигента открываются прекрасные возможности, есть где проявить инициативу. Там не хватает высококвалифицированных деятелей культуры, недостает учителей и агрономов, в больнице мало врачей, а в некоторых поселках нет даже медсестер. Газетам нужны журналисты, нет экономистов и бухгалтеров...

Горячие призывы находят соответствующий отклик. Абитуриенты, только что закончившие аспирантуру нашего Института еврейской культуры, отправляются в Биробиджан. Едет дипломированная интеллигенция из Харькова, Одессы и Киева. Поселяются там и абитуриенты еврейского отделения Второго московского университета, молодые писатели и учителя.

Мои товарищи добровольно покидают насиженные места, оставляют хорошие должности, берут жен и детей, пакуют самые необходимые вещи и спешат, спешат туда:

Борух Губерман с женой — врачом Региной Розенблюм; Александр Заблудовский; Хаим Шиф с женой Шифрой — квалифицированной учительницей начальных классов; И. Элиевич с русской женой — врачом; Исроэл Рабинович с педагогом Дворкиной; Носен Корман, Биньёмин Гольдфайн, семейная пара Хаим и Ривка Гусовские — он экономист, она библиотекарь; из Харькова — Мойше Левитан, брат Михла Левитана, с женой, опытным врачом; И. Квитный, автор этих строк и другие. Еще раньше нас — Генех Казакевич с семьей, немного позже — Бузи Гольдинберг и другие. Остальные готовились в путь: ждали от нас вестей оттуда. Ведь мы поехали с надеждой создать им хотя бы минимальные условия для научной работы.

Мы радуемся, потому что уверены: их приезд будет иметь для Биробиджана большое значение. Ведь это живой поток энергичных, высококвалифицированных молодых людей, который взбодрит там провинциальную культурную жизнь. Они будут руководить образованием, театром, прессой, библиотеками, техникумами, радио и придавать культурной работе новый, столичный стиль и широкий размах.

О боже, как же мы ошибались! О, как быстро, как скоро испарилась глупая надежда, прямо там, в Биробиджане... Именно там, в «национальной» еврейской области, свалились шоры, которые так долго и крепко держались на наших партийных глазах...



**Эммануил Казакевич, Гирш Диамант, Тевье Ген, Бузи Миллер**

Биробиджанские литераторы (слева направо):  
**Бузи Миллер, Макс Риант, Люба Вассерман, Сальвадор  
 Боржес, Ицик Бронфман, Гешл Рабинков (1958 г.)**





**Сальвадор Боржес, Гешл Рабинков, Наум Фридман,  
Колина, Бузи Миллер**

У здания редакции газеты **«Биробиджанер штерн»**.  
Крайний слева – журналист газеты, писатель **Роман Шойхет**,  
второй справа – редактор **Леонид Школьник**





## ЛАРИСА КАЗАКЕВИЧ

### **Биробиджанская сага Казакевича**

Родилась я в достопамятном 37-м теперь уже прошлого века.

Мы жили тогда в Биробиджане, куда папа уехал в 1931 году из Харькова, от привычной, обеспеченной жизни интеллигентного еврейского семейства Казакевичей. Ему было тогда 18 лет. После школы, еще в Харькове, он учился в профтехшколе — думаю, это что-то типа ПТУ или техникума. Но он не закончил это учебное заведение, так как был изгнан за эпиграммы и споры с директором. Папа рассказывал, что последней каплей была карикатура на директора с петушиной головой с соответствующей подписью под карикатурой, чтобы было ясно, кто это такой. Почему родители отдали его в это учебное заведение, не понимаю, так как он был абсолютным гуманитарием — много читал, переводил, писал стихи и



прозу, прекрасно знал идиш и немецкий, играл на фортепиано и на скрипке.

Мама моя родилась и жила в Кременчуге на Украине, откуда совсем молоденькой тоже уехала в Биробиджан. Там мои родители и познакомились. Кстати, папа тоже родился в Кременчуге, как впоследствии и я.

В 1972 году в издательстве «Советский писатель» вышла книга воспоминаний о Казакевиче. Редактор этой книги Лев Шубин во внутренней рецензии писал о том, что в Древней Греции не было такой биографии, как сейчас, — родился, учился, работал там-то и там-то, имел или не имел детей и т. п., а потом умер тогда-то. Биографии как таковой удостаивались лишь те, кто совершил в жизни деяние. Так вот, Шубин писал, что Казакевич совершил три деяния в своей жизни, и первое из них — его деятельность в Еврейской автономной области.

Итак, 18-летний еврейский мальчик, очкарик, поэт отправляется в неизведанную, неосвоенную землю. Он ехал в Еврейскую автономную область не в погоне за более счастливой долей, а для того, чтобы создать то место, в котором будут жить евреи, пусть и в пределах Советского Союза. Он был одержим этим желанием.

Первое место папиной деятельности на новой земле было неожиданным — председатель колхоза. Сам он выбрал такое поприще или его направили на эту должность — не знаю. Но, как ни странно, этот молодой парень, никогда прежде не соприкасавшийся с сельским хозяйством, справился с этой задачей вполне успешно. Журналист Т. Ген пишет в воспоминаниях о Казакевиче («Его любили» — так называется этот мемуар), что, когда он в 1931 году приехал в Биробиджан и они встретились, Казакевич сказал ему, что работает председателем колхоза.

Ген не поверил, решил, что папа шутит, так как тот вообще был склонен к шуткам, розыгрышам. Но папа с гордостью поведал ему, что его колхоз на третьем месте по сенокосу и на втором — по надоям молока.

Вынуждена процитировать Т. Гена, так как сама, по вполне понятным причинам, не присутствовала там:

«Молодой председатель колхоза был в Биробиджане не менее популярен, чем его отец — редактор газеты «Биробиджанер штерн». Поэт, витавший в облаках, опустился на таежную заболоченную землю, окунулся в заботы о хлебе насущном, об устройстве жизни переселенцев в далеком незнакомом краю... Писатель Г. Добин даже начал писать роман о председателе колхоза Казакевиче. Для того чтобы человек, не сведущий в сельском хозяйстве, возглавив колхоз, тут же с треском не провалился, ему нужно было в кратчайшее время овладеть целым комплексом знаний, вдобавок научиться руководить коллективом — отнюдь не легким, состоящим из бывших мелких лавочников, кустарей-одиночек, «людей воздуха», как метко определил их Шолом-Алейхем. С самого раннего утра Казакевич был в бригадах и звеньях. Уставших людей подбадривал шуткой, остроумным словом. Вечера проводил в правлении колхоза, а потом до поздней ночи при свете керосиновой лампы проходил «сельхозакадемию» на дому. Для этой цели приобрел библиотечку специальной литературы».

Через два года вслед за папой в Биробиджан уехали и его родители.

Папин папа — Генрих (Генах) Казакевич — был главным редактором биробиджанской областной газеты «Биробиджанер штерн», то есть был в области очень заметным человеком. И не только по этой причине. Он был



первоклассным переводчиком, талантливым журналистом. Когда семья Казакевичей жила в Харькове, куда она переехала в 1924 году из Киева, Генриха Казакевича назначили главным редактором республиканской газеты «Дер Штерн» («Звезда») и главным редактором центрального литературно-художественного и публицистического журнала «Ди Ройте Велт» («Красный мир»). В Харькове дом Казакевичей всегда был полон уже известными и только начинающими писателями и поэтами. У них останавливались, часто надолго, Квитко, Маркиш, Фефер, Фининберг, Гофштейн... Папина старшая сестра Галина Генриховна пишет в своих воспоминаниях: «Как-то Перец Маркиш воскликнул, обращаясь к нашей маме: “Женя, скоро ваша кушетка заговорит стихами!”» На этой кушетке как раз и спали поэты, приезжающие в гости, в том числе и Перец Маркиш. Когда в Харьков приезжал на гастроли московский ГОСЕТ, первый визит Михоэлса, Зускина, других артистов, режиссеров и композиторов театра был к Казакевичам.

Я вот пишу про Генриха Казакевича как-то отстраненно и вдруг понимаю: это же мой дедушка. Как жаль, что я не знала моих дедушку и бабушку. Тетя Люся (так мы звали папину сестру: о том, что она Галина, я узнала лишь из книги воспоминаний о папе; думаю, в детстве из Галюси она превратилась в Люсю) пишет: «Режиссеры и театральные деятели Грановский, Марголин, Лойтер — все были вхожи в наш дом, все любили нашего отца Генриха Львовича. Он действительно был красивый человек. Отец был добрый, общительный, вспыльчивый, увлекающийся, веселый. И очень артистичный. Хорошо пел, прекрасно читал вслух».

И о бабушке Жене в воспоминаниях есть очень хоро-

шие слова. Она работала в системе Наробраза. Летом 1919 года она ездила в охваченное голодом Поволжье, собирала там детей-сирот и детей из очень бедных семей, привозила в Новозыбков, где организовала детский дом. В системе народного образования она работала и в Биробиджане. Бабушку Женю вспоминают как добрейшего, теплого человека.

Когда я читаю про дедушку и бабушку и жалею, что не знала их, я понимаю, что это и хорошо, что не знала. Дело в том, что они ушли из жизни в конце 1935 года, один за другим, еще достаточно молодыми людьми: дедушке было 52 года, бабушке — 47. И вот страшный парадокс той окаянной эпохи, когда говорят: «к счастью, умерли», так как в 36-м или 37-м их точно арестовали бы. Они были первыми кандидатами на арест: уж очень заметны — и по работе, и по человеческим качествам.

В письме тете Люсе с фронта в октябре 1942 года папа писал: «Я и ты — дети своего отца, человека могучего нравственного здоровья, оптимиста, Брюньона-интеллекта<sup>1</sup>. И — не знаю, как тебе, но мне это помогает. В худшие времена я всегда слышал в себе биение папиного сердца и видел его улыбку...» Могу сказать, что эти слова абсолютно относятся и к моему папе.

Дедушка и бабушка полностью приняли революцию. Они, как и многие тогда, и многие евреи в частности, были полны надежд на светлое будущее, были уверены, что — да, трудно, да, лишения (они этих трудностей и лишений и не замечали), но естественно, все наладится, будет совсем другая действительность — свобода, равен-

---

<sup>1</sup>Кола Брюньон — весёлый столяр, не унывающий ни при каких обстоятельствах герой одноимённой повести Ромена Роллана (1913).

ство, братство. И детей они воспитывали так же — в полном приятии того, что происходило.

В конце 50-х годов я ехала в поезде из Махачкалы в Москву, и со мной в купе было трое мужчин разного возраста. Завязался разговор о времени и о себе. Один — интеллигентный пожилой человек, совсем седой — отсидел свое и, к счастью, остался жив, реабилитирован. Другой — человек средних лет, житель Махачкалы — довольно весело поведал нам о том, что в «те» годы во время отпуска главного редактора газеты замещал его, и его арестовали, так как в спускавшихся списках на арест не было фамилий, были только должности, и еще указывалось количество человек, долженствующих быть арестованными. К счастью, отсидел он только несколько лет, и его выпустили. «К счастью...»

Таких «к счастью» было немного. Уверена, что папных родителей ждала такая же участь, но вот «к счастью» с ними не случилось бы.

Мне вспоминается анекдот о тех временах. Ночью муж с женой беседуют. Муж говорит: «Я коммунист, хороший работник, честный, ничего не нарушаю, никаких неподобающих контактов не имею (и так далее, в том же духе). Ну дадут десять лет...»

А у папиных родителей, в отличие от героя этого анекдота, грехи были, тяжкие грехи. Они были людьми думающими, деятельными, незаурядными. Кроме того, членами Коммунистической партии с 1917 года. А тогда таких людей ох как не любили. А если вспомнить, что в Биробиджане дедушка был главным редактором областной партийной газеты и членом бюро обкома партии...

Так что повторюсь: счастье, что они умерли своей смертью, умерли еще молодыми, полными сил... Как там

у Галича? «Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели».

И к этой же теме, забегая вперед, добавлю еще один эпизод. В 37-м году, перед маминой поездкой в Кременчуг, куда она поехала к своим родителям рожать меня, папа сказал ей, чтобы она сошла в Харькове, увиделась со своей сестрой и ее мужем, рассказала, что происходит, и попросила его уехать на какое-то время, чтобы избежать ареста. Муж тети Гали — Федор Щербак (между прочим, украинец) был прекрасным человеком, искренним коммунистом, верящим в идеалы революции. И он не поверил. Через некоторое время его арестовали, и он сгинул там. Был слух, что сошел с ума.

В конце 1932 г. началось строительство Дома культуры, начальником коего (строительства) был назначен Казакевич. Как пишет Яков Чернис в своих воспоминаниях о Казакевиче: «Он, бывало, говорил: «Все имеется — начальник, площадка, огороженная забором, вывеска, что здесь строится Дом культуры. Только самого строительства нет».

Но Дом культуры появился. Сначала Казакевич уговорил-«заставил» главного инженера треста «Биробиджанстрой» Рафальского составить проект Дома культуры, организовал молодежь на субботники по строительству, выбивал деньги на стройматериалы и прочие нужды у хабаровского начальства и т. д., и т. д. При этом он был не только начальником стройки — он сам месил глину, таскал кирпичи, в общем, участвовал в строительстве, когда позволяло время.

Часто приходилось действовать, так сказать, не конвенционально. Например, доехать из Биробиджана в Хабаровск было очень сложно. Местный поезд был об-

леплен людьми, а на московский не было билетов. И папа придумал такой трюк. Когда поезд начал трогаться, папа и Яков Чернис, который об этом пишет, полураздетые, с мыльницей в одной руке и полотенцем в другой, побежали за поездом, как будто отстали. Проводник, естественно, думает, что это отставшие, и помогает им взобраться по ступенькам. А они идут в вагон-ресторан, где билеты контролеры не проверяют, берут по бутылке пива и, потихоньку поцеживая его, доезжают до Хабаровска.

Здание этого Дома культуры, когда оно было построенно, было передано Биробиджанскому государственному еврейскому театру, и Казакевич стал его директором. И все это время — работая в колхозе, на строительстве Дома культуры, директорствуя в театре — он писал стихи, прозу и пьесы, переводил, в частности, Маяковского, которого очень ценил как поэта.

Осенью 1934 года в Биробиджан приехала группа писателей: Александр Фадеев, Петр Павленко, Рувим Фраерман, венгерский поэт Антал Гидаш. Оказывается, дедушка был до этого знаком с Фадеевым, по предложению Фадеева Генриха Казакевича как редактора альманаха «Форпост», выходившего на еврейском языке, избрали в состав правления дальневосточного отделения Союза писателей. И осенью 34-го года молодой Казакевич встретился с этой группой писателей в тайге, у костра, где Фадеев жарил мясо на костре, и они пили кислое вино, закусывая его жареным мясом. Молодой Казакевич, как вспоминает присутствовавший там Яков Чернис, рассказывал что-то, и все слушали и смеялись. Фадеев, узнав, что папа перевел на идиш, в частности, «Во весь голос» Маяковского, попросил прочитать. Когда он

замолчал, все зааплодировали, а Фадеев сказал, что ритмика в переводе выдержана прекрасно, а потом подсел к Генриху Львовичу и сказал: «Хороший сын у тебя, Генрих, за такого краснеть не будешь». Вот таков совсем краткий пересказ этого эпизода в воспоминаниях Якова Черниса.

Фадеев к папе очень хорошо относился. По этому поводу вспоминается смешной эпизод. Когда в начале 50-х годов «новым» писателям давали квартиры в новом доме писателей, пристроенном к старому, в Лаврушинском переулке (что напротив Третьяковской галереи), нашему семейству выделили квартиру на третьем этаже, каковой считался самым престижным (на этой же площадке была квартира Нилиных). А Первенцевым — на первом. Оказывается, Первенцев пошел к Фадееву просить, чтобы его этаж поменяли с Казакевичем.

Фадеев выгнал его из кабинета с соответствующими словами, вместо которых обычно в тексте ставится отточие. Нет, я не хочу сказать, что это зависело только от его отношения к Казакевичу. Но это хорошо характеризует Фадеева, по-моему.

Но это так, к слову.

За годы жизни в Биробиджане Казакевич много писал и переводил. Перечислю здесь некоторые его переводы и произведения на идише в Биробиджане и уже в Москве — до его ухода на фронт в ополчение летом 41-го года: перевел на идиш лирику Маяковского, издал ее в Москве отдельным сборником, поэму Маяковского «Во весь голос», стихи Пушкина, Лермонтова, Гейне, перевел для театра «Уриэля Акосту» К. Гуцкова и «Профессора Полежаева» Л. Рахманова, написал на идише пьесу в стихах «Молоко и мед», которая продолжительное время шла

на сцене театра. Это далеко не полный перечень его довоенных произведений.

Не могу не привести отрывок из интервью доктора Бера Котлермана о литературном творчестве Казакевича на идише:

« — Что сегодня стоит изучать в творчестве Казакевича “биробиджанского периода”? Какие его произведения, с вашей точки зрения, ждут переводов, литературных исследований? Что в них стоит искать?

— Из биробиджанских стихов все нужно переводить заново, думая над каждым словом. Там — море метафор и ассоциаций, которые потерялись. Необходимы комментарии. Тут особый сплав еврейского и советского, часто в очень дерзкой подаче. Читать это надо, вооружившись пониманием еврейской культуры. Казакевич очень аутентичен, практически не подвластен давлению, не ангажирован, как почти все остальные его современники (которых печатали). Национальные поэты издаются обычно специальными аннотированными изданиями, ведь это — национальное достояние. Почему бы не взяться за такое дело и в Биробиджане? Казакевич — это целая эпоха, с особым взглядом на мир, который сегодня далеко не всем понятен. Издать нужно письма, статьи, черновики, особенно биробиджанского периода — они многое объясняют. Некоторые его стихи совсем не известны на русском. Например, огромная поэма “Шолом и Хава”, изданная в Москве незадолго до войны. Там такая особая биробиджанская мифология — создание нового еврейского колена, ни больше ни меньше. Вот отрывок в моем переводе, где я попытался сохранить ритм, размер и даже, где удалось, звучание:

*И пусть привидится: Израиль  
Расставил там свои шатры,  
Где даль весенняя сияет  
И где шатер поставил ты.  
Весна наполнится красою,  
Бокал наполнится вином,  
Нальется Хава жизнью новой,  
И морось будет летним днем,  
И листопад придет багряный,  
И снег покроет все кругом.  
И будет так: как снег растает,  
То от нее с тобой тогда  
Колено новое восстанет.  
И прилетит золотая пава  
Ко входу твоему; рогами  
Взмахнет олень: владей же нами,  
Потомок Шолема и Хавы!..*

Шолом и Хава — это биробиджанские Адам и Хава (Ева — по-русски). Но если Адам — это земля и кровь, то Шолом — это мир. Они — родоначальники. Они — в мифологическом пространстве, не подвластном времени. Там живет “золотая пава”, излюбленный персонаж еврейских сказок, этакая еврейская “синяя птица” Метерлинка. Она все время ищет “вчерашний день”. Там олень — Страна Израиля в Талмуде зовется Страной Оленя, потому что на арамейском языке, языке Талмуда, красота — это то же слово, что “олень” на иврите. А “шатры Израиля” — это мотив “исхода из Египта”, навстречу своей стране — такой страной Казакевич и мечтал увидеть Биробиджан, там он хотел быть счастливым и был — правда, недолго».



Но я отвлеклась. Итак, театр. Базой для биробиджанского театра был клуб имени Ленина на Красной Пресне в Москве. А, так сказать, «базой» актерской — группа молодых актеров, выпускников театрального училища. Актер И. Колин, который был в числе этих выпускников театрального училища и поехал за Казакевичем в Биробиджан, пишет, что Эммануил Казакевич был страстно влюблен в дальневосточные края, в тайгу, «воспевал людей, которые ее обживали». Я знала Колена и его жену Лию, тоже актрису. Они часто приходили к нам в Москве в гости. Помню, с какой любовью они относились к папе.

Естественно, сразу навалились организационные и финансовые вопросы — театральное хозяйство, формирование технического цеха, доставка в то трудное во всех отношениях время материалов для оформления, теса, гвоздей, костюмов для ближайших премьер и т. д., и т. д. Наконец, нужно было перевезти все это хозяйство в Биробиджан, там обеспечить работу и быт большого коллектива, открыть первый сезон нового театра. И, как пишет Колин, «Казакевич все эти проблемы решил. Решил смело, дерзко и даже... озорно». Например, театру нужен был транспорт для перевозки театрального имущества, декораций. Официальная просьба в наркомат путей сообщения осталась без ответа. Тогда папа пришел в кабинет ответственного товарища в наркомате и стоя начал читать стихи. К счастью, этот ответственный товарищ любил литературу и подписал заявку на вагоны.

Но, конечно, одной из главных проблем было комплектование труппы. Кроме молодых выпускников театрального училища, нужны были опытные артисты, причем хорошие артисты. И папа поехал по российским го-

родам искать таких артистов и агитировать ехать в Биробиджан. И ему это удалось. Как пишет Колин, «только энтузиазм, романтика, незаурядный ум и вечный юмор Эммануила были в состоянии поднять из Киева, Одессы, Минска, Москвы опытных артистов и увлечь их в Биробиджан».

Время от времени папа ездил в командировки в Москву — как директор театра он должен был там представлять пред очами центрального начальства, встречался со «спонсором» биробиджанского еврейского театра — ГО-СЕТОм, то есть с Михоэлсом и его актерами, а также получал деньги для театра. Это были большие деньги — в частности, зарплаты для всех работников театра. Никаких банков, сберкасс — каменный век, вся сумма укладывалась в большой баул, и папа вез его в поезде через всю Россию — от Москвы до Биробиджана. Он нам рассказывал, что клал баул на свою полку, спокойно выходил на станциях, и ни разу с баулом ничего не случилось. Все-таки в легкомыслии молодости есть своя прелесть.

Колин вспоминает, что Казакевич был необычным директором. У него не было штатных помощников, не было положенного директору секретаря, в директорский кабинет заходили запросто, без стука. И тут я вновь должна процитировать Колина: «Когда Эммануил, уже не будучи директором, пришел по какому-то вопросу к его преемнику, секретарша остановила его: “К кому вы?” Казакевич с удивлением ответит: “К директору”. — “Кто вы, как доложить о вас?” — спросила вышколенная секретарша. “Александр Македонский”, — ответил Эммануил. Так она и доложила под общий хохот присутствующих».

Да, и он еще успел за это время познакомиться с ма-

мой и произвести на свет двух дочерей — Женю и Лялю (Ляля — это я).

А в 38-м году случилось вот что. Папа уже работал не в театре, а на радио. Но, видимо, все-таки все работники культуры должны были ездить в Москву, думаю, для получения указаний от вышестоящих товарищей. Во время очередной папиной московской командировки к маме в Биробиджане подошел человек (не помню точно, как мама его назвала, — работник не то райкома партии, не то комсомольский вышестоящий товарищ) и сказал: «Твой муж — шпион, он перешел границу с Китаем». Не знаю точно, что и как он сказал, но суть такова — так нам рассказывала мама. То есть «как» знаю — мама сказала, что сказал очень зло. И мама рассказывала об этом очень сердито. Но, конечно, этого человека нужно благодарить. И я думаю, он предупреждал маму, потому что если бы узнали об этом его сообщении, ему бы не поздоровилось.

Мама тут же отправила папе телеграмму, чтобы он не приезжал. И бедная моя мамочка, которая еще недавно ездила с маленькой Женей и со мной в животе рожать меня в Кременчуг и обратно, опять поехала с нами через всю Россию — от Биробиджана до Москвы — к папе.

И здесь начинается совсем другая история.



**Луи Вайнер (1892–1967). Нет заработка.**

Из альбома гравюр чикагских художников «Подарок Биро-Биджану», 1937 г.



## БУЗИ МИЛЛЕР

### У двери

Наконец он постучал в дверь.

Он долго стоял перед нею — уже подняв руку, он снова отдернул ее. Сердце отчаянно колотилось.

Он вдруг вспомнил, что все еще держит в руке чемодан с привязанным к нему узлом, а плечи давит тяжелый рюкзак. Поставив чемодан с узлом на пол, Гершл Бас привычным движением скинул с плеч рюкзак и глубоко вздохнул, будто здесь, у дверей, у него с плеч упала гора. Вместе с прохладным осенним воздухом, заполнившим узкий коридор на втором этаже, — здесь, как и четыре года тому назад, было выбито стекло в верхнем окошке (сейчас в него светила круглым фонарем луна), — Гершл вдохнул бесконечное количество едва уловимых и давно забытых домашних запахов. От этого у него закружилась голова. Он вдруг, как это часто бывает в таких случаях, отчетливо увидел перед собой всю прожитую в этом доме жизнь. У него защемило сердце и так задрожали колени, что он вынужден был на минуту прислониться к стене...

В разбитое окошко коридора луна светила прямо на него, и Гершл стоял на свету — невысокий, плотный, с чуть продолговатым улыбающимся лицом и беспомощно повисшими руками...

Нет, это не луна смотрела на него через окно! То был добродушный и чуть насмешливый взгляд старого друга. Не одну ночь за эти долгих четыре года провели они вместе, и теперь этот друг немало удивлялся странному состоянию, в котором он застал Гершла... А Гершл, прислонившись к коридорной стене, смотрел, чуть прищурившись, на освещенное луною окно, как будто хотел все объяснить.

«Ну и что же? Ты и в самом деле видела меня не раз очень далеко отсюда. Ты видела, как я искал убежища в лесу, ползал под огнем по открытому полю, видела меня и на машинах, и в реке, видела и как я посылал смерть врагу, и как сам истекал кровью, дрожа под твоим холодным, мертвым светом... А сейчас ты видишь меня здесь, у родного порога... И сколько раз, попробуй вспомнить, я спрашивал у тебя: «Буду ли я еще когда-нибудь здесь?» А ты всегда равнодушно отвечала: «Кто знает?.. Доберешься — твое счастье...» И вот я здесь. Знаю, ты удивляешься тому, что я стою у двери своего дома и не осмеливаюсь постучать... Но ты должна понять, глупая, что невозможно в одну минуту сделать то, к чему стремился долгие месяцы, годы... Дай отдышаться, дай собраться с мыслями...»

Что в сравнении с этими годами значит еще несколько минут у двери? Они ему были нужны — нужны не только для того, чтобы перевести дух, но, главное, для того, чтобы хоть немного осмотреться в этом узком коридоре у двери и почувствовать, как жили здесь его близкие, понять то, чего он никогда не мог вычитать из редко доходивших до него писем жены...

Гершл окинул коридор быстрым хозяйским взглядом, заметил ржавый гвоздь, неумело вбитый над дверью и загнутый вниз, к притолоке. «Отставать начала», — подумал он и потрогал старое сукно, которым дверь была обита.

На чердак вела знакомая лесенка. Внизу она была освещена луной, верх оставался в тени. Под нижней ступенькой Гершл заметил что-то и, не успев подумать, что бы это могло быть, вспомнил, что здесь всегда лежит половая тряпка. От этого ему сразу стало тепло: значит, жена, оставшись одна, работая, все же не забыла старой своей привычки ежедневно мыть полы... И Гершл сразу явственно ощутил идущий из-за дверей запах свежewe-мытых полов... Их мыли, наверное, сегодня. А может быть, вчера?.. Ведь сегодня они еще ничего не знают...

Да, ни в одном из писем жены он не прочел того, что сейчас рассказала вот эта половая тряпка под ступенькой... Он вдруг подумал, что жена, наверно, сильно изменилась за эти годы, постарела... Он даже попытался представить себе морщинки, которые легли возле ее продолговатых черных глаз... Но зачем представлять — ведь он ее сейчас увидит.

Но тут же ему захотелось, чтобы момент встречи оттянулся еще немножко. Так волновала мысль, что вот сейчас осуществится его сокровенная мечта. И чтобы оттянуть это мгновение, он поднялся по лестнице на чердак. Оттуда пахло на него издавна знакомым запахом сухого песка, который здесь насыпали, когда строили дом, и еще он ощутил запах наколотых, сложенных для просушки дров. Значит, и сейчас, как и тогда, на чердаке складывают дрова, чтобы не таскать тяжелые охапки из сарая на второй этаж. А кто теперь колет дрова? Неужели, сама Лия? А может быть, сын? Ведь он уже большой, ему исполнилось десять лет.

Гершл посветил карманным фонарем и увидал в углу кучу наколотых дров... Он взял полено, подошел с ним к окну. Полено было кривое и пахло клеем. На нем были следы тупого топора, и по ним можно было определить, что дрова рубила неопытная рука.

Гершл подержал полено в руке, как бы взвешивая его, и сбежал с ним по лестнице, наполовину освещенной лунным светом. На последней ступеньке он остановился, вернулся, положил полено на место и в следующую минуту снова стоял у двери.

Все так же отчаянно стучало сердце. Хорошо все-таки, что он еще по эту сторону порога. Сейчас он увидит всех сразу — Лию, сына, дочь... Когда он уезжал, ей было всего два года. Теперь ей шесть лет, и она, наверное, его не узнает. Да, хорошо, что он еще не вошел. Его ждет такое счастье, — как же можно сразу? Надо подождать, хоть немного отдышаться, подготовиться...

Гершл прислушался. За дверью царил тишина. Там все спали и ни о чем не догадывались...

Гершл рассеянно смотрел на дверь. Пятнадцать лет! Пятнадцать лет прошло с тех пор, как он приехал сюда. Тогда это место только начинало отвыкать от старого своего имени и привыкать к новому — «Биробиджан»...

Это слово долетело до далеких западных границ и, словно магнит, стало притягивать к себе людей — крепких, здоровых, любящих труд и не боящихся трудностей. Гершл Бас был такой парень, сильный и смелый. Тогда-то он и приехал сюда из местечка под Минском. Он привез сюда крепкие руки, ремесло плотника и нерастраченную силу своих двадцати шести лет. Вместе с ним приехала его молодая жена.

Гершл имел обыкновение все, что делает, делать как следует, не любил он обманывать ни себя, ни других.



— Если работать, так работать хорошо, — говорил он, еще будучи в местечке.

Жил он там неплохо, работал, зарабатывал. Но когда пришла весть о Биробиджане — огромном и богатом крае, нуждающемся только в таких людях, кто умеет и любит работать, — Гершл решил: «Ехать так ехать!» И увез с собой жену и родителей. Удобств здесь было мало, но зато перспектив много. Гершл понял, что нужно засучить рукава и поработать.

— Строить так строить! — сказал он.

И нет в городе дома, к которому Гершл не приложил бы своих рук. И этот, свой дом он тоже сам строил. И вот эту дверь, у которой он сейчас стоит, Гершл прилаживал своими руками. Он сам обил ее войлоком, — сейчас он во многих местах выглядывает из-под протертого сукна. Что удивительного? Столько лет прошло. Из этой двери он вышел четыре года тому назад... Здесь, на пороге, Лия бросилась к нему на грудь и, не выдержав, разрыдалась. Дети стояли возле нее и с испугом смотрели, как он уходит от них... Тяжело было на сердце. Он мало надеялся, что когда-нибудь вернется к этому порогу.

Но уж воевать так воевать! — решил тогда Гершл. В армии он стал сапером. Приходилось строить мосты, переправы. Случалось, надо было очистить поле от мин, идти в разведку. Он скоро привык к трудностям военной жизни, привык к мысли о смерти, сторожившей на каждом шагу. И работу свою он всегда выполнял спокойно, с уверенностью, что делает то, что должен делать.

Он был под Сталинградом — среди тех, кто вошел в освобожденный город.

Он переправлялся через Днепр и Буг, оставил позади Вислу, Дунай, дрался у Кенигсберга. О каждом из этих мест остались у него на память ордена и медали. Тело было исполосовано рубцами ран.

Теперь по ту сторону двери, у которой он стоял, ждало его счастье...

Эшелон, с которым ехал Гершл, прибыл не днем, как он рассчитывал, а ночью. Жена и дети, наверное, получили его телеграмму с дороги и вчера его встречали. Ждали, наверное, весь вечер и так и не дождались. Ночью на вокзале никого не было, кроме носильщиков и дежурного по станции. Эшелон постоял несколько минут и, коротко свистнув, двинулся дальше, оставив на перроне пять-шесть демобилизованных с узелками. Они вместе сошли с перрона, дошли до Советской площади и здесь расстались.

Впервые после четырехлетней разлуки он шел по спящему городу, который сам строил. Луна сеяла голубоватый свет, заливавший улицы, дома и оголенные осенью деревья. Вдалеке темнели холмы и сопки.

Гершл чуть не бегом побежал по зыбким деревянным тротуарам к своему дому. Не чувствуя тяжести узлов, он взбежал на второй этаж и остановился у двери своей квартиры...

Он стоял у двери, столько раз снившейся ему в эти годы, столько раз являвшейся ему в мечтах...

Прошло еще несколько секунд. Сердце все так же громко стучало — казалось, что этот стук может разбудить спящих за дверью... Наконец Гершл поднял дрожащую руку и несколько раз постучал по косяку. Напрягая слух, он уловил торопливую суетню и услышал голос из дальней комнаты:

— Кто там?

— Это я! — крикнул Гершл изо всех сил. Он продолжал сотрясать дверь ударами, как бы желая заглушить ими стук собственного сердца...



**Эдвард Миллман (1907–1964). Сапожник.**

Из альбома гравюр чикагских художников «Подарок Биро-Биджану», 1937 г.



## САЛЬВАДОР БОРЖЕС

### Хавэлэ

В тот вечер дом Капланов был не иначе как зримым воплощением тишины, тепла и уюта. Настольная лампа под абажуром, отороченным разноцветной бахромой, разливала по стенам комнаты мягкий свет. Большие настенные часы в футляре из полированного дерева и стекла, издав негромкое шипение, только что отсчитали десять мерных ударов.

— Как будто снег пошел, — заглянув в темное окно через отодвинутую штору, ни к кому не обращаясь, негромко произнесла Мира.

Муж, лежавший на диване, отложил в сторону газету и как бы нехотя отозвался:

— А что ты хочешь? Зима...

Мира с минуту стоит у окна, задумчиво глядя в черноту холодного вечера, потом быстро проходит в дальний угол комнаты и, как это нередко случается у нее в мину-

ты расстройства, медленно вытягивает из мужниного портсигара папиросу.

Несмотря на то, что она, Мира, воспитательница детского сада, всей душой предана своей работе и до самозабвения любит малышей, она не перестает думать о собственном ребенке. И сейчас она снова в мыслях вернулась к предмету своего настойчивого желания. Но вот только эти... эти врачи. Сколько их она уже обошла и объездила, чтобы в конце концов услышать от каждого из них как приговор: «Нет, детей вы, к сожалению, рожать не сможете». А она не перестает думать, что для нее не было бы в жизни большего счастья, как иметь собственное дитя, и не однажды предельно живо и отчетливо представляет себе, как детские ручонки нежно обнимают ее шею и как трогательно звучит тоненький голосок: «Мама».

Борэх, оторвавшись от газеты, окидывает супругу пристальным взглядом. Сейчас он явно не может понять, что это вдруг ее так растревожило. К тому же она — посмотрите только — опять курит. А кому это, скажите, может понравиться?

— Мира, тебя что-то огорчило, Мира? — участливо интересуется муж.

— Да нет-нет, ничего. Ты не обращай внимания.

— Ну тогда, пожалуйста, не кури. Не надо тебе.

— А знаешь, сейчас я опять нашу Фирочку вспомнила.

— тихо произносит Мира, отрешенно глядя перед собой:

— Ой, моя Фирэлэ.

Борэх при звуках этого имени невольно вздрагивает, и в глазах его застывает печаль. Привстав, он нежно гладит жену по плечу.

— Все-все бы у нас было хорошо, если б только наша Фирочка с нами была... — вздыхает Мира, и в голосе ее

дрожат слезы. — А без ребенка так пусто. И в доме пусто и вот здесь тоже пустота, — прикладывает она к груди ладонь.

Оба долго молчат, и каждый думает о ней, однажды дарованной им самой судьбой дочурке и о неожиданно оборванной два года назад ее жизни по воле и по жестокому велению все той же неумолимой судьбы. Борэх бережно усаживает жену на диван и, чтобы отвлечь ее от грустных мыслей, стараясь, насколько это у него получается, придать голосу бодрые интонации, произносит:

— Но как бы то ни было, милая, прожили мы молодые свои годы не напрасно. Ведь так же? — начинает он на другую тему разговор о том, чему оба они, что называется, преданы всей душой — о первых их годах жизни здесь, в Биробиджане. Разве не здесь они однажды встретились и полюбили друг друга?

— А знаешь, Борэх, о чем я иногда думаю? — помолчав, уже успокоенно отзывается на слова мужа Мира. — Не раз мы уже с тобой от людей и сейчас слышим: вот, дескать, это было тяжело да трудно, то не так и не этак выходило. Только мне кажется, что все было так, как надо. А молодым нам было все по плечу: и пни с рассвета до заката по-ударному корчевать, и песни у костра под гармошку до полуночи петь.

— Да. А помнишь, какая у нас компания тогда была? Это как будто про нас сказано было: один за всех — все за одного. Шимэн, Миня, Бетя. Где они сейчас?..

Слово за слово, и разговор супругов затягивается надолго — они вспоминают былое, прошедшее, молодые годы свои. Послушать со стороны — наверняка покажется странным: разве сейчас оба они перестали быть молодыми?



Уже вечерело, когда за ветровым стеклом машины показались первые дома села. Еще державшееся над сопками солнце высвечивало их окна ярким пурпурно-красным сиянием, и было похоже, что там, в домах, разгорелся пожар. Проезжая по вымощенной булыжником центральной улице заметно разросшегося селения, Борэх посветлел лицом: вон как все меняется здесь! А ведь он когда-то был здесь одним из тех, кто первым ступил на эту землю, чтобы приручить ее человеку: расчистить место для домов вот на этой самой улице, а чуть дальше и левее распахать на месте леса неподатливую целину. И разве он, Борэх, когда-нибудь сможет забыть то время? Постой-постой, а когда он сам-то наведывался сюда в последний раз?..

Он хотел было остановить машину возле сельсовета, чтобы сообщить о цели своего приезда, но передумал и круто свернул в ближний переулок, который и начинался когда-то с дома, однажды построенного здесь им самим, и в котором живут теперь родители его Миры.

Затормозив чуть ли не вплотную к штакетнику, Борэх легко выпрыгнул из машины, немного постоял, улыбнулся, вспомнив о том, что вот на этом самом месте он всегда оставлял на ночь свой трактор. Оценивающим взглядом окинул знакомый дом, выходящий фасадом на просторный двор, с удовлетворением отметил появление на подворье бревенчатого хлева, обратил внимание на обновленные звенья изгороди и решетку ворот. Ну что тут скажешь? Работящий у него тесть.

А вот на крыльцо вышел и сам хозяин дома — Арье-

Лейб, крепко сложенный мужчина с лицом, по-крестьянски загорелым чуть ли не до черноты.

— Ну вот честное слово даю, — радостно заговорил Арье-Лейб. — Сижу сейчас и думаю: ну хоть кто-нибудь заглянул до нас на вечерок. И вот какой гость у нас сегодня! Ты заходи- заходи в дом!

— Кто там, Арье-Лейб? — слышится откуда-то из сеней хрипловатый женский голос. Широко распахнув дверь, гость уверенно шагнул через порог:

— А это я, дорогая моя тещенька, — вместо Арье-Лейба бодро отвечает Борэх. — Шолем-алейхем!

Теща в ватнике и в темном платке (видимо, как раз собралась управляться со скотиной) с удивлением смотрит на пришедшего:

— Ты только посмотри! Никак Борэх? А мы с отцом только что про вас с Мирой говорили.

— А что про нас говорить? У нас все нормально. У вас-то тут как? — снимая пальто (так, будто только что домой пришел), интересуется Борэх.

— Что тебе сказать? Живем, трудимся. Все как всегда. А ты ехал сюда, Миру с собой не догадался взять?

— Дел у нее сейчас много, знаете. Не до гостей ей.

— Она все в садике своем?

— Да, в нем. Вы мне лучше скажите, почему бы вам самим до нас не приехать.

— А попробуй только оставь его тут одного, — кивнула женщина в сторону мужа. — Он только пасеку да своих пчел этих и знает, а вот если...

— Ну что за манера у тебя, Перл! — прервал супругу тесть. — Вместо того, чтобы гостя порадовать, она начинает ворчать да жаловаться.

— Да будет вам. Всякое бывает, — примирительно ска-



зал зять. — Все близко к сердцу принимать — в жизни радости не знать, — заключил он с улыбкой.

До того, как его, Борэха Каплана, выдвинули на ответственную руководящую должность в городе, он несколько лет председательствовал в здешнем колхозе. Сейчас, подсев к столу, Борэх закурил и буквально забросал тестя вопросами: как нынче тот, заведующий пасекой, справился с медосбором? как проходит зимовка пчел? как обстоят дела в колхозной теплице? как полевая бригада готовится к посевной?.. Все-таки Арье-Лейб не просто пасечник, но и член правления в колхозе. Переговорив с тестем, Борух, как будто вспомнив о чем-то важном, быстро поднялся из-за стола и, накинув пальто, шагнул к двери.

— Далеко собрался? — озадаченно спросил его Арье-Лейб.

— В сельсовет надо заскочить.

— Долго-то не задерживайся, — уже за порогом услышал Борэх напутствие тещи.

По темной улице, на которой ему был знаком едва ли не каждый метр еще с той поры, когда улица эта была просекой или рсчистью, как говорят здешние казаки, он шагал не спеша. От незашторенных окон сельсовета на снег ложились широкие полосы света. В просторном помещении сельисполкома в это время можно застать, конечно же, только его председателя.

— К вам можно? — спросил, подойдя уже вплотную к столу, за которым, склонившись над бумагами, сидел человек в полувоенном кителе.

— Борэх! — поднявшись из-за стола, удивленным и обрадованным восклицанием приветствовал позднего посетителя человек в кителе и протянул ему навстречу

широкую ладонь левой руки (пустой рукав председательского кителя был аккуратно заправлен под ремень).

— Вот ты где сейчас, Шимэн! А вот про это, ты уж меня прости, я и не знал.

— А ты, Борэх, как я тут слышал, предал «старую гвардию». Городским заделался.

— Как видишь, — сдержанно улыбнулся Борэх. — Ему было больно увидеть сейчас Шимэна без руки — еще в недавнем прошлом расторопного парня, который умел, кажется, все — копать и рубить, ковать и косить. — А ты-то, я гляжу, уж точно не уронил там, на фронте, честь и славу старой нашей гвардии, — кивнул он на два ордена, украшавшие грудь Шимэна.

— Что поделывает наша, прошу прощения, твоя Мира?

— Да если б она знала, что ты здесь!..

— Эх, Борэх, как-нибудь собраться бы здесь нам всем вместе, комсомольцам тогдашним!

— Да, хотел спросить. Ты про Миню что-нибудь слышал? Где он, как он?

— Погиб Миня. А жена его Фрейда — ты должен ее помнить — недавно тоже. Скоропостижно причем. Дочка ее — два годика ей тогда было — теперь, выходит, сиротой круглой осталась.

— И что с ней? В детском доме?

— Нет, все это время у соседей живет.

— Вот как. А у тебя нет желания сейчас зайти к ним? Со мной, конечно.

— Ну что ж, зайдем.

Когда Борэх и Шимэн вошли в дом хозяев, приютивших осиротевшую девочку, все их немалочисленное семейство сидело за ужином. Глава семьи встретил пришедших радушно, вежливо пригласил к столу, за кото-

рым орудовали ложками несколько мальчиков и девочек. Среди них, белокурых и удивительно похожих друг на друга, нетрудно было узнать сироту — черноголовую курчавую девчушку лет пяти.

Поначалу она, впрочем, как и остальные дети, совершенно равнодушно и без какого-либо интереса отнеслась к появлению в доме посторонних. Но приветливо улыбающееся лицо и обращенный к ней неотрывный взгляд Борэха заставили девочку встать со своего места. Что-то радостное, но далеко-далекое на миг всколыхнулось в ее памяти.

Соскользнув с табурета, она подбежала к присевшему на корточки Борэху и обхватила ручонками его шею.

— Папа! — вырвалось у девчушки, и глаза ее лучились радостью.

Борэх бережно погладил девочку по смоляной черноты кудрявой головке, взял ребенка на руки и осторожно прижал маленькое тельце к груди. В голове мелькнула мысль: «Девочку надо забрать себе».



Ночью Борэх проснулся. За окном уже серел рассвет. Поднявшись с постели, он осторожно подошел к кушетке с приставленной к ней вплотную парой стульев. Там, разметавшись по постели, спала девочка. Борэх поправил на ней одеяло, досадливо поморщился: за перегородкой в теплых сенцах спозаранок расшумелись зимующие там куры. Они-то и не дали ему досмотреть утренний сон.

Наскоро одевшись, Борэх вышел на крыльцо. Узкая бледно-розовая полоска на востоке уже четко отделяла небо от земли, но вся округа еще дремала в морозной ночной тишине. Накануне Борэх забыл в кабине «вил-

лиса» портсигар и, спустившись с крыльца, пошел к машине.

Разогнав остатки сна неурочным перекурком, минут через десять он вернулся в дом и буквально на пороге столкнулся с тещей, с удивлением отметив про себя, что та одета «на выход»: дубленный полушубок на ней, пушистая шаль.

— Ты, я смотрю, уже машину заводить собрался. Так воду я тебе уже нагрела. А вот ребеночка рано будить — пусть еще поспит. Я сейчас к соседке по одному делу заскочу. Она рано встает. А тебе-то куда торопиться?

— Да хотелось бы Миру еще дома застать.

— А я тебя, Борэх, ты это учти, с ребенком одного не отпущу. С вами поеду.

— Ну так и добро — поедем вместе.

— Арье-Лейб, а ну-ка поднимайся! — повернувшись к темной двери в спальню, дала Перл команду супругу, за разговором не заметив, что тот, уже одетый, стоит чуть в сторонке позади нее.

Когда теща вернулась от соседей, девочка уже была на ногах, и Перл тут же начала одевать ее в дорогу, туго обмотав ребенка поверх курточки одеяльцем: не дай бог, простудится в этой машине.

— Ой, дырявая моя голова! — всплеснула руками старая. — Я ж и про корову совсем забыла. Вы чуток погодите — я ее быстренько подою. И ребенок стакан парного молочка перед дорогой выпьет.

Вернувшись из хлева с ведром молока, Перл тут же начала распекать мужа:

— А ты чего стоишь, как этот?.. Отец называется. Я как-никак к дочери еду. Баночку меда ей надо привезти? Маслом нашим угостить надо?

— Ну и чего ты расходишься? Или я тут вот так стоял и таки ждал, когда ты мне про то скажешь? Все уже в машине стоит.

Уже усаживаясь с ребенком в легковушку, Перл продолжала что-то бурчать о том, как опрометчиво и даже опасно полагаться на этих мужиков, когда приходится отлучаться из дома, да еще при таком хозяйстве.

На выезде из села они неожиданно увидели стоявшего на обочине шоссе Шимэна, «проголосовавшего» им высоко поднятой левой.

— До города подбросишь? — пробасил Шимэн, поздоровавшись с Капланом, и заглянул на заднее сиденье, где сидела с ребенком на руках Перл. Из-под пухового платка, который венчал дорожный наряд девочки и делал ее похожей на большой шарик, на Шимона внимательно смотрели глазенки-смородинки.

— Вы тоже в город? — заняв сиденье рядом с водительским, обратился к женщине Шимон.

— Ну да. Кто-то ж должен ребенка держать.

— А ты далеко это с утра пораньше собрался? — в свою очередь поинтересовался у нечаянного пассажира Борэх.

— Да вчера уже поздно вечером военком из дому мне позвонил. Приказано, понимаешь, явиться сегодня к десяти ноль-ноль для получения государственной награды. Из Москвы, говорит, пришла.

— Мои тебе поздравления, дружище! Что тут скажешь? Герой! — и, немного помолчав, уже в другом тоне добавил: — А признай-ка, что людям таки не часто везет, как сегодня тебе.

— С чем мне везет?

— С попуткой до самого города, да еще как раз ко времени, — рассмеялся Борэх.

— Это точно. Спасибо случаю в вашем лице, товарищ Каплан, — с довольной улыбкой отвечал Шимэн.

По обеим сторонам дороги тянутся заснеженные поля, местами перемежаемые островами неподвластной ветрам высокой серой травы. То слева, то справа жмутся к самому шоссе деревья, стоящие «по пояс» в густом кустарнике. Ну и как в эти минуты старым друзьям было не вспомнить о том, как они в числе других первопроходцев шаг за шагом теснили точно такие же заросли, отвоевывая у них землю для домов и улиц, полей и дорог?

— Эх, Борэх, еду сейчас и думаю, — нарушает молчание Шимэн, — сколько раз там, на фронте, мне хотелось вернуться на ту, пусть еще дикую и не добрую тогда к нам землю, встретиться с товарищами, с которыми мы с тобой тогда вместе пришли сюда! И скажу тебе честно: порой не очень-то верилось, что я когда-нибудь сюда вернусь.

На секунду оторвав взгляд от ветрового стекла, Борэх обернулся к Шимэну и только сейчас обратил внимание на густую седину в его волосах. Борэх еще как-то не очень четко осознает, что у богатырского сложения человека, который мог, кажется, горы свернуть, сейчас только одна рука.

Вскоре впереди, в легкой морозной дымке, показалась окраина города.

Из состояния легкого утреннего сна Миру вывел негромкий стук в дверь. Она прислушалась: да, кто-то уже открыл дверь, и в прихожую вошли несколько человек. Соскочив с постели и накидывая халат, Мира услышала детский голосок.

— Борэх, ты? — громко спросила Мира.

— Да, я, Мира.

Плотнее запахнув халат и сунув босые ноги в тапочки, женщина направилась в гостиную. На пороге полуоткрытой двери она в удивлении остановилась, увидев мать, которая раскутывала у входа какую-то девчушку. От растерянности Мира даже не заметила стоявшего в сторонке, возле комода, мужа.

— Мама! — обрадовано воскликнула Мира и, подбежав к неожиданной гостье, обняла и расцеловала ее. — Сколько ж мы с тобой не виделись, мамочка!

— Ой, даже и не скажу, сколько. Вы уже и дорогу к нам забыли. А мне, доча, как по гостям разъезжать? Хозяйство же.

— А девочка с тобой это чья? — удивленным вопросом перебила мать Мира.

Перл промолчала, а Борэх, подхватив девочку на руки, широко шагнул к жене со словами:

— Смотри, Хавэлэ, это твоя мама.

— Мама?! — от удивления у Миры перехватило дыхание, а во взгляде разом отразились и радость, и недоумение.

— Да, — утвердительно кивнул муж.

— Борэх, скажи мне правду, Борэх!..

— Ты ведь хотела ребенка?..

— Но где ты его взял, где?

— Позже, Мирочка, все-все узнаешь.

— Расти ребенка здоровеньким, и пусть будет он тебе на радость да на счастье, — пожелала дочери Перл.

Трудно передать словами чувства, нахлынувшие на Миру в эти минуты. Бережно обхватив ладонями головку девочки, она с нежностью поерошила ее кудряшки, заглянула ей в глаза.

— Так как же тебя зовут, моя девочка? — спросила по-русски Мира.

— Авэлэ, — прозвучал в ответ тоненький голосок.

Мира приняла ребенка с рук мужа, прижала теплое тельце к груди, поцеловала девочку в ямочки на покрасневшихся щечках: «Значит, Хавэлэ ты у нас будешь». Мира все еще не могла поверить, что вот этот ребенок на ее руках — ее ребенок, и сама она с этого раннего утреннего часа не просто женщина, а мать, мама.

Борэх шагнул к Шимэну:

— Ну, а что я тебе говорил?

Услышав голос мужа, Мира обернулась и только сейчас наконец обратила внимание еще на одного человека в комнате — высокого плечистого военного в серой шинели. Рост, исхудавшее лицо, высокий лоб над глубоко запавшими глазами. Во всем этом есть как будто что-то знакомое ей. Или нет?

— Как живется-может, Мирэлэ?

— Шимэн, ты?! — быстро опустив девочку на пол, всплеснула руками Мира. — Сегодня ну прямо утро чудес!..

Она сейчас видит перед собой заметно поседевшего мужчину, пустой рукав на месте его правой руки, и на какие-то мгновения в ее памяти всплывает образ на удивление бойкого и подвижного паренька, своего погодка и одноклассника, с которым они когда-то пели песни у пионерских костров, с которым вместе вступали в комсомол и с которым, покинув старое местечко, ехали они в одном переселенческом эшелоне осваивать этот далекий таежный край.

— Шимэн, — шагнув к гостю, прикоснулась она кончиками пальцев к черной петлице его шинели. — Раздевай-



ся, проходи, не будь, как чужой. Да, Расскажи, как Хана, как дочки? Они, как я слышала, перед самой войной туда к нам на Украину гостить уезжали.

— Ой, лучше и не вспоминать про то, что они там под румыном пережили и как им из того ада живыми уйти удалось.

Присев к столу, Шимэн коротко поведал о том, как Хане с девочками не удалось эвакуироваться и все они надолго остались в глубоком немецком тылу. Он сам был в это время уже на фронте.

Тем временем Мира отправилась на кухню готовить завтрак, а Перл, передав ребенка под попечение мужчин, поспешила вслед за нею с подарками, только что доставленными из деревни, и тут же принялась во всех подробностях рассказывать дочери о сельских новостях, о соседях, с которыми раньше работала Мира. Правда, Мира без особого внимания слушала мать: мысли ее были заняты совсем другим.

— Послушай меня сюда, мама, — прервала словесный поток матери Мира, и глаза ее при этом прямо-таки светились счастьем. — А давай в честь такого сегодняшнего дня устроим маленькое торжество. Гости у меня такие. Хавэлэ. А ты ж у нас такая мастерица готовить.

— Ой, было бы только время, дочка! Я ведь дом, можно сказать, на произвол судьбы оставила. У меня ж там и корова с телком, и свинья. А он только свои улы да своих пчел и знает, отец твой.

Мира смеется в ответ:

— Ну положишься ты хоть раз на папу, мам. Ну попробуй.

Тут же, глянув на часы, Мира торопливо направилась в спальню переодеваться.

— Завтрак готов, — крикнула она оттуда Борэху и Ши-

мэну. — Я сейчас по-быстрому в садик. Договорюсь, чтоб меня кто-нибудь из воспитательниц подменил на денек. Я скоро вернусь. Да, мам, ты пока дай ребенку теплого молока!

Идя в это морозное утро по знакомой улице, Мира ощущала необыкновенный подъем душевных сил и удивительную легкость в теле, а от воспоминания о сегодняшней встрече с малышкой по имени Хавэлэ женщина испытала такой прилив материнской нежности, что у нее едва не перехватило дыхание.



Хавэлэ и одной минуты не может усидеть на одном месте и, кажется, обладает способностью находиться в разных комнатах сразу. Ни дать ни взять, что та капелька ртути. Вот она только что «беседовала» с голубем, припустившимся к окну со стороны улицы, а вот уже слышно, как она напевает кукле песенку, которую Мира разучивает сейчас в детском саду со своей старшей группой. Между тем, в углу гостиной из стульев, стоящих обычно вокруг стола, уже сооружается жилище с кроваткой еще для двух пупсов, по виду — близнецов.

Как обычно по выходным дням, управившись с будничными делами по дому, Мира принимается шить или вязать. Рядом с ней, как всегда, находит местечко Хавэлэ. За каких-то полтора-два месяца Мира по-настоящему привязалась к девочке, и в мыслях она для нее — никак не иначе — «доченька», «дочурка». Когда Хавэлэ играет во дворе с другими детьми, Мира всегда распознает в ребячьем шуме тоненький голосок своей девочки и тут же спохватывается: не простудилась бы она. И не один раз за это время Мира подойдет к ку-

хонному окну взглянуть во двор, как там дочка, чем занята, с кем общается.

Сейчас Мира сидит в кресле у окна и вяжет детскую варежку и время от времени окидывает взглядом дочушку, занятую тут же в уголке своими игрушками. Губы Миры тронула легкая улыбка: Хава за какой-то месяц заметно поправилась, со щечек ее не сходит румянец, а глазки прямо блестят.

— Мамочка, почитай мне про доктора Айболита, — уложив кукол спать, подбегает Хавэлэ к Мире.

Мира откладывает в сторонку рукоделие и открывает книгу, которую подала ей девочка, и начинает читать. Хавэлэ — само внимание — не пропускает ни единого слова, хотя знает текст книжки уже едва ли не наизусть.

Ближе к полудню зимнее солнце заглядывает в окна гостиной и быстро стирает со стекол морозные узоры. Мира невольно жмурится от брызнувшего в глаза яркого света. Сквозь оттаявшие стекла уже отчетливо видна вдаль волнистая линия голубых сопок. А самая близкая из них, если смотреть отсюда, после недавнего сильного снегопада, похожа на большую белую пирамиду.

Оторвав взгляд от окна, Мира берет на руки девочку, целует ее в лоб, и похвалив за то, что она так любит книжки, опускает ее на пол: «Ну иди к своим деткам. Они без тебя, наверное, скучают! Правда же?»



Однажды ночью Мира проснулась, разбуженная сухим детским кашлем. Встревожившись, она поспешила к кровати Хавэлэ. Девочка лежала с полуоткрытыми глазами и тяжело дышала, все лицо ее пылало жаром.

— Хавэлэ, доченька, что, где у тебя болит?

— В горлышке, — едва слышно ответила девочка охрипшим голоском. — Пить хочу... — и снова зашлась кашлем.

На электроплитке быстро было согрето молоко, но пить девочка не смогла: каждый глоток отзывался болью. Бессильно уронив голову на подушку, она тихо заплакала. Мира спешно наложила ребенку на горло и на грудку теплый компресс, померила ей температуру.

— Борэх, — обратилась Мира к мужу, который был уже тоже на ногах. — Да она, посмотри, прямо горит вся. Ну что, что можно сделать?

Борэх с первого взгляда на поразительно изменившееся личико девочки понял, что у нее не просто простуда. Не говоря ни слова, он быстро оделся и через полминуты мерил широкими шагами пустынную ночную улицу, направляясь к дому доктора. В отсутствие мужа Мира несколько раз подходила к двери, прислушивалась к малейшему звуку во дворе. Все было тихо, и эта гнетущая тишина, казалось, остановила движение времени. Даже маятник настенных часов, казалось, покачивался медленней, чем обычно. «Ну сколько можно его ждать?!» — билась в голове женщины неотвязная мысль. И только когда в комнате в сопровождении Борэха появился врач, мельком глянув на часы, Мира увидела, что со времени выхода мужа из дому большая стрелка не проделала и четверти оборота.

— Доктор, спасите моего ребенка... — со слезами на глазах дрожащим голосом заговорила с врачом Мира. И когда через пару минут услышала из его уст короткое, хлесткое «Дифтерия», она буквально окаменела от горя.

— Мира Львовна, — пытаюсь успокоить женщину, про-

говорил доктор. — Я на вас удивляюсь. Вы у нас всегда были такой выдержанной, а сейчас. От слез ваших, согласитесь тут со мной, пользы никакой и нисколько, а вот ребенка вы так можете только испугать. А это, знаете ли, для нее просто опасно.

— Ради бога, спасите моего ребенка, — не в состоянии успокоиться, потерянно повторяла и повторяла Мира.

Утром она с немалым трудом добилась, чтобы в больничной палате, куда поместили ребенка, нашли место и для нее.

Теперь она сутками не смыкала глаз, буквально ни на минуту не отходила от Хавэлэ, которая часто теряла сознание и временами в полном смысле этих слов находилась на грани смерти. От постоянных переживаний за считанные дни Мира изменилась прямо-таки до неузнаваемости. Правду говорят люди, что беда человека не красит.

«Свое, чужое, — не однажды рассуждала она про себя. — Странно звучат эти слова. Разве может быть чужой, например, для меня самой вот эта девочка, у которой нет матери, а на месте ее матери — женщина, которая однажды потеряла дочь? “Так что нас с тобой, девочка моя, самой судьбе было угодно породнить, — мысленно обращалась Мира к спящей девчушке. — Ты, малышка, будто к сердцу мне приросла. Ты радуешься — и мне с тобой весело, ты страдаешь — это и моя боль...». И при этом Мира живо представляет себе детские ручонки, обнимающие ее шею и бархатные щечки, нежно прижимающиеся к ее лицу, и только женщина способна это понять! — с невыразимой проникновенностью звучащее, такое обычное, но обращенное к ней самой слово «мама». Как говорят в народе, за такое и кусочек жизни отдать не жаль.

Кто бы видел и сразу узнал бы Миру в тот день, когда она спустя три недели вместе с бледненькой, сильно похудевшей, но уже выздоровевшей Хавой, покинув больницу, ехала домой?

— Мы сейчас, мамочка, куда? — тоненьким, еще не окрепшим после болезни голоском спросила Хавэлэ. — Мы уже домой?

— Да, доченька, мы едем домой! — в ответ сказала Мира, и в ее красных от бессонных ночей глазах промелькнула искорка радости. — Домой, Хавэлэ, да! Ты и я едем до-мой.

Борэх в тот день пришел с работы в приподнятом настроении, и с его появлением в доме воцарилась атмосфера праздника. Обняв и расцеловав Хавэлэ, он вручил ей подарок — новенький блестящий ранец, полный книг и тетрадей.

Квартира Капланов вновь наполнилась детским шумом. Радуюсь подарку, Хавэлэ поминутно то открывала, то закрывала ранец, первым делом вынув из него цветастый букварь. Потом подбежала с ним к Мире и, раскрыв книгу на одной из первых страниц, ткнула пальчиком в уже знакомое ей слово и протянула-пропела своим тоненьким голоском:

— М-а-а-м-а!

Потом, вооружившись бумагой и цветными карандашами, Хавэлэ разложила все это на стуле, заменявшем ей в таких случаях пока еще «неприступный» для нее стол, и начала что-то старательно рисовать. Кружок — это будет лицо, две черные точки внутри кружка — глаза. Ниже на бумажном листе находит место жирной линией обведенный овал — человеческое тело с поспешно пририсованными к нему руками и ногами, мало чем

отличающимися друг от друга. И под всем этим — подпись, исполненная неровными крупными буквами, «МАМА».

— И как тебе нравится твой портрет? — рассмеявшись, интересуется у жены Борэх.

— Очень нравится, — на полном серьезе отвечает ему Мира. — И похоже, и очень мило.

Она идет в спальню, достает из платяного шкафа маленький фартучек и показывает его мужу:

— Вот посмотри. Только сегодня сшила. Угадай, для кого?

Борэх для виду на секунду-другую придает лицу выражение озадаченности, а потом, широко улыбаясь, произносит: «Золотые руки у тебя, Мирочка! А ну-ка подойди сюда, Хавэлэ. Сейчас мы твою обновку примерим». Тут же супруги единогласно признают, что фартучек, надетый поверх голубого платица с белым воротничком девочке, ну просто как нельзя более к лицу.

Сегодня у Борэхы очень кстати выдался свободный вечер, и он может провести его дома вместе с женой и дочкой.



Восходящее солнце золотит яркими лучами новый затейливо обшитый мелкой дощечкой дом с высоким крыльцом. Широкие окна дома с одной стороны смотрят на уже убранный огород, с другой — на широкий двор, как по линейке обнесенный штакетником. Воскресный день обещает быть теплым, и, если бы не переключка диких гусей, вереницей проплывающих к югу, можно подумать, что на календаре весна.

Мира и Хавэлэ сидели в столовой, когда во дворе, за-

гремев цепью, залаял Черныш. Поднявшись из-за стола, Мира вышла на веранду и через полуоткрытую дверь увидела стоявшего по ту сторону калитки незнакомого мужчину.

— Здесь живет Борэх Каплан? — расслышала она заглушаемые собачьим лаем слова.

— Да, здесь, — прицыкнув на пса, ответила Мира.

— Тогда позвольте мне к вам войти. Адрес ваш мне тут в колхозе дали, — шагая через двор, на ходу объяснял незнакомец. — Дело в том, что я родственник Фрейды Горн. Вы ведь наверняка были с ней знакомы?

По телу Мира пробежала зябкая дрожь, защемило в сердце: «Это за нашей Хавочкой»... Невольно покачнувшись, она прислонилась к дверному косяку и разглядывала пришедшего. Перед ней стоял мужчина среднего роста с правильными чертами смуглого лица и заметно поседевшими висками. Карие глаза с легким прищуром. Во взгляде — уверенность твердо знающего себе цену человека. Мира от растерянности не нашлась, что ответить на заданный ей вопрос, незнакомец ответа ждет, и оба молчат.

— Может, вы разрешите мне войти в дом?.. — находит выход из неудобного положения «гость».

В этот момент на веранду выбежала кудрявая девочка в коротком розовом платье и, прижавшись к Мира, с любопытством стала рассматривать незнакомого дядю. Воскресный визитер тоже остановил на Хавэлэ испытующий взгляд, и Мира не могла не заметить, как потептели его глаза. А это могло значить только одно: человек нашел то, что искал. Замешательство, душевная боль, отчаяние, испытываемое несправедливо обиженным человеком, заставили больно сжаться сердце



Миры. Она почувствовала себя так, как будто вот прямо сейчас к ней явился некто, чтобы отнять у нее самое дорогое в ее жизни, отнять незаслуженно, безжалостно, жестоко. При одной только мысли об этом ее охватывал страх. Однако не стоит забывать, через какие испытания довелось пройти этой женщине, чтобы научиться сопротивляться, противостоять, выдерживать, не сдаваться. Сделав усилие, Мира сумела, что называется, собраться, взять себя в руки и, как это подобает гостеприимной хозяйке, вымолвить положенное в подобной ситуации:

— Да-да, будьте любезны, пройдите в дом. Если я не ошибаюсь, вы ведь не местный?

— Так точно, не местный.

— И из каких же краев к нам, если не секрет? — осторожно поинтересовалась Мира.

— Из краев? Из далеких краев.

— И из какой примерно местности?

— С Украины.

— И надолго вы к нам сюда?

— Нет, ненадолго.

Судя по лаконичным, «рубленным» ответам гостя, впечатления человека общительного он не производил. Люди такого типа по своему обыкновению живут в мире мыслей, резонно полагая, что если бы слова больше стоили, мы бы их попросту меньше тратили, и, как правило, никогда не рассчитывают на излишнюю откровенность собеседников.

— А где сейчас ваш муж? — слышит вопрос Мира.

— Он в отъезде. Вам нужен именно он?

— Да, поэтому я вас о нем и спросил.

— Хавэлэ, ты не стесняйся. Это твой дядя, — накрывая

для гостя стол, ободрила Мира девочку, робко державшуюся в сторонке.

— Спасибо, вы, пожалуйста, не беспокойтесь, — ответил мужчина на приглашение хозяйки перекусить. — Я, можно сказать, только что из-за стола.

В этот момент к Мире подбежала Хавэлэ и, буквально повиснув у нее на шее, заглянула ей в глаза.

— Ну что тебе, шалунишка?

Девочка повернулась к гостю и молча одарила его недоверчиво-настороженным взглядом исподлобья. В комнате воцарилась давящая тишина.



Появление родственника Фрейды сильно встревожило Миру. Лежа в постели, она никак не могла уснуть, то и дело ворочалась с боку на бок и никак не могла избавиться от тяжелых мыслей. Иногда ей удавалось справиться с ними, и Мира забывалась коротким сном. Однако и в полудреме в ее памяти всплывали опять-таки образы и картинки, связанные с Хавэлэ: вот она видит ее на руках у бабушки Перл, а вот девочка прыгает от радости, получив недавний подарок от Борэха, но вот перед глазами мелькнула больничная палата. И кто, как не она, Мира Каплан, не щадя себя, помогла тогда медикам вырвать ребенка из когтей смерти? В конце концов, уже одно это дает ей право быть этой девочке матерью.

Она поднимается с постели и, подойдя к кровати Хавэлэ, при слабом свете ночника долго смотрит на спящую. Головка девочки лежит на самом краешке большой подушки, ручки и ножки лежат поверх смятого одеяла. Осторожно, чтобы не нарушить сладкий детский сон, Мира прикасается губами к румяной щечке Хавэлэ и,

расправив помятое одеяло, аккуратно накрывает ее. Мира не сможет вспомнить и сказать, сколько времени она простояла в ту ночь у детской кровати. И только тогда, когда — босая и неодетая — она почувствовала, что начинает мерзнуть, только тогда она вернулась в свою постель. Уже засыпая, Мира шептала: «Моя! Ты только моя. И ни у кого на свете нет права разлучить нас с тобой».

Бессонная ночь не прошла для Миры даром: заметно побледневшая, утром она чувствовала себя разбитой, под глазами обозначились синие круги. Готовя завтрак, она в рассеянии несколько раз останавливалась, соображая, что за чем следует делать. «Ну был бы дома Борэх, — думала она, — он-то бы уж решил вопрос и сумел бы убедить этого приезжего, что Хавэлэ ну никак нельзя у них отнимать».

Гость с Украины той же ночью тоже, почитай, не смыкал глаз. Он так и не смог решить для себя, как поступить по справедливости. Уговорить ребенка уехать с ним на Украину — он отчетливо осознавал это — у него, скорее всего, не получится. Если же, паче чаяния, девочка согласится с его предложением жить у него, то она окажется вне той семьи, где ее приняли как свою. В то же время для него самого было бы утешением растить и воспитывать совсем не чужого ему ребенка. Возможно, именно такой и была бы воля Фрейды, если бы не так жестоко оборвалась ее жизнь. А он на правах родственника покойной мог бы легко удочерить Хавэлэ даже официально. Официально — да. Но разве уже с первого взгляда он не понял и не уяснил себе, насколько привязаны друг к другу эта девочка и эта женщина? К тому же Хавэлэ живет в хорошем доме под заботливой опекой хозяев этого

дома. И словно в подтверждение такого вывода ему отчетливо вспомнилось прозвучавшее сейчас в его воображении как наяву услышанное накануне: «Мам, ну когда уже приедет папа?» Уже сама жалобно-капризная интонация этого вопроса говорила сама за себя. Гость невольно улыбнулся и тут же крепко заснул. Но решения относительно своих дальнейших действий он пока что так и не принял.

Проснулся он рано и тихонько вышел во двор, окруженный просторным огородом, с разбросанными по нему там и сям пятнами сохранившейся зелени. Присев на скамейку, гость долго сидел неподвижно, наслаждаясь удивительно чистым воздухом свежего осеннего утра. Из состояния задумчивости его вывел звонкий голосок Хавэлэ, приглашавший дядю на завтрак.

Позавтракав, гость подошел к распахнутому окну столовой, закурил и, чуть помедлив, негромко заговорил:

— Вы знаете, за эту войну я прошел с боями не одну страну, но ни в одной из них не встречал я такой осени, как здесь у вас в Биробиджане.

— Да, природа у нас здесь замечательная, — с гордостью отозвалась Мира. — Но в городе — это одно, а представьте, какие пейзажи окружали нас — тех, кто прибыл в эти края одними из первых, и то, сколько нам пришлось всего переделать. Природа природой, а вокруг на десятки и даже на сотни километров — ни-че-го.

— А я, знаете, даже не представлял себе, что мне тут у вас может что-то понравиться. Я бы, пожалуй, даже жить здесь согласился.

— Ну так и приезжайте сюда. И семью везите.

— Семью?.. Были у меня когда-то дом, жена, двое детей — мальчик и девочка, — начал рассказывать о себе

дальний гость. — Я с самого начала войны — в армии, а значит, на фронте. А когда демобилизовался, на месте своего дома нашел огромную воронку. А моя жена с детьми... — рассказчик низко опустил голову и тихим осевшим голосом продолжал: — Их постигла та же судьба, что и всех евреев нашего городка. Из всех взрослых моей семьи и всех наших родственников в живых остался только я. И как дико это ни прозвучит, многие евреи в войну даже на передовой могли чувствовать себя в большей безопасности, чем те, кто оставался в немецком тылу. Вот я и решил, чего бы мне это ни стоило, найти дочку сестренки моей Фрейды.

При этих словах лицо Миры сделалось бледным, как мел. Руки ее задрожали, и она тяжело опустилась на стул.

— Вам нехорошо? — испуганно спросил гость.

Хавэлэ тут же бросилась к Мире и со слезами на глазах пронзительно закричала:

— Мама!

— Все-все. Ничего, — быстро взяла себя в руки Мира. — Продолжайте, прошу вас. Потерять жену... детей. Как это ужасно!

— Ну вот так я и решился на эту поездку. И что вам сказать? Я остался доволен, — продолжал рассказчик. — Поверьте мне, я много передумал о том, что привело меня к вам. И как вы полагаете, к какому выводу я должен был прийти? — помолчал он, словно ожидая ответа на свой вопрос. — В этой жизни побеждает и всегда должна побеждать справедливость. Так что, как бы то ни было, я не имею права мешать вашим радостям, а ребенка лишить самого дорогого для него — мамы.



**Алекс Топчевский (1911–1999). Исход из Германии.**

Из альбома гравюр чикагских художников «Подарок Биро-Биджану», 1937 г.



## ИОСИФ КЕРЛЕР

### В начале конца

Долгая поездка в Биробиджан и то, что в Советском Союзе еще остались в конце 1947 года не менее двух дураков — один из числа еврейских писателей старшего поколения, Дер Нистер, а другой — из числа самых молодых, Керлер, — дураков, у которых еще была иллюзия, что можно найти будущее для еврейского языка и еврейства в... Биробиджане, и оба они всерьез собирались поселиться там и пустить корни. Этим двум причинам я должен быть благодарен за свое близкое знакомство с большим еврейским писателем — Дер Нистером.



*«Уже третьи сутки, как наш эшелон «Винница — Биробиджан» несется по просторам широких полей и густых лесов Советской страны со скоростью 600 км в сутки, не останавливаясь даже на мгновение не только на каких-то полустанках, но даже на станциях, на*

которых земля расчерчена бесчисленным множеством железных линий...» («Эшелоны идут в Биробиджан», Москва, «Эмес», 1948).

Так начинает свои хитроумные репортажи о той поездке специальный корреспондент газеты «Эйникайт», журналист И. Люмкис. 600 км в сутки! Вы представляете себе эту грандиозную скорость всего 25 км в час? Ведь фактически наш Люмкис выболтал тайну — эти примерно 10000 км до Биробиджана мы тащились почти целый месяц... в жаркие летние дни. Свыше 300 семей (около 1000 человек).

Но наша публика — колоритный типаж евреев, евреек, парней, девушек и милых детишек из Винницы, Мурафы, Хмельника, Бершади и других местечек моей родной Подолии. Они терпеливо и не впадая в отчаяние переносили эти цыганские скитания по «советским просторам» в тесных и грязных теплушках... Они были привычны к постоянным скитаниям, голоду и нужде. Некоторые из них ранее приехали в свои разоренные дома из эвакуации, где им тоже было не сладко. Другие — те, что помоложе, вернулись с фронта, из пламени войны. Были среди них и надломленные, одинокие, случайно оставшиеся в живых. Некоторые уже успели попробовать вкус совсем других теплушек — запертых снаружи, с узкими зарешеченными окошками-щелями, — вагонов, в которых немцы и украинские полицаи везли их на смерть... С нами ехала и стайка бледных сирот войны...

Что же теперь всех их тянуло в Биробиджан? — Нет, не шумная пропаганда газеты «Эйникайт», а смутная упрямая мечта — уехать из «дома», где земля впитала еврейскую кровь, уехать от соседей-гоев, которые помогали в



проведении массовых убийств евреев, или только грабили еврейское имущество, или тех, кто якобы сочувствовал, но втихаря радовался. Избавиться от вечной ненависти, быть среди евреев.

Как уже было сказано, эта публика была, как правило, полна надежд и даже спокойна. Молодые парочки закручивали романы. Отыскалась и парочка сватов-любителей, которые прилагали огромные усилия, лишь бы наклонилось настоящее сватовство, лишь бы бескорыстно, ради доброго дела свести вместе одиноких людей. Нашему Люмкису даже удалось привести такую парочку под импровизированную хупу, и была сыграна веселая еврейская свадьба со всеми прибабасами! Собралась клезмерская капелла во главе с бершадским флейтистом... Жених — в военной форме, которую он все еще носил после войны, на груди позванивали сверкающие боевые медали — улыбался с радостной беззаботностью, невеста — сиротка из Хмельника — горько плакала, и публика тоже плакала и... плясала «Шер», «Фрейлехс»... «Мицве-тенцл»...

Возможно, Люмкиса не так волновало сделать доброе дело, как журналистская «изюминка» в его репортажах: шутка сказать: «Свадьба на колесах» — по дороге в Биробиджан...

Но кто буквально сиял от счастья в самом центре (говорили, что он «со стороны невесты»)? — Это был еврей среднего роста, умные черные глаза которого были полны такой радости и счастья из-за всего происходившего здесь, что всех буквально тянуло к нему — каждый хотел сказать ему доброе слово или услышать хотя бы слово из его уст, постоянно улыбавшихся под густыми, начавшими сидеть усами. Но этот еврей был по природе не слиш-

ком разговорчив, он больше молчал, чем говорил. Ему больше нравилось присматриваться и прислушиваться, чем высказываться по своему обыкновению — считанными многозначительными словами или даже намеком. И этого уже было достаточно...

Все знали, что в единственном пассажирском вагоне, там, где находится «начальство» с конторой переселенческого эшелона, едет и этот необычный еврей; он поселился в одиночестве в самом крайнем крошечном купе для проводников. Там он сидит день и ночь и что-то пишет маленьким карандашиком на аккуратно нарезанных листках бумаги, или же он углублен в чтение одной из своих книг.

В первое время мало кто знал, что этот «ламедвовник», скрытый праведник, как его прозвал бывший резник из Синкова, — не кто иной, как еврейский писатель... Еще меньше людей знали о том, что «товарищ Пинхас» — это наш известный *Дер Нистер*. Иные поначалу ломали голову: то, что он не «махер», было видно... Так почему же он едет в пассажирском вагоне с «начальством», а они, «махеры», оказывают ему почет как кому-то уникальному?..

Нередко, когда поезд останавливался на каком-нибудь заброшенном полустанке и женщины раскладывали перед вагонами костерок под треножником, чтобы сварить похлебку из горсти пшена, нескольких картофелин, в худшем случае — из картофельной шелухи, когда малышня оглашала округу веселыми криками и носилась, играя «в войну», в таких случаях из своего купе иногда выходил Дер Нистер. Он старался, насколько это было возможно, оставаться незаметным и вел себя тихо, чтобы никто ему не мешал осматриваться и наблюдать за тем,

за чем он считал нужным наблюдать; чтобы он мог остановить свой внимательный, любопытный взгляд на таком человеке, которого, как ему казалось, он сейчас и искал... Найдя его, он деликатно подходил к нему, сердечно приветствовал и весьма задумчиво говорил что-то наподобие: «Вы знаете, что я хотел бы у вас спросить, уважаемый еврей?..» И вот так, уже вдвоем с этим евреем, Дер Нистер неспешно прогуливался. Он с пары слов понимал, что у этого еврея не только открытые уши, но и открытое сердце, что он жаждет поделиться своими переживаниями... А какой еврей или еврейка, будь они молодые или старые, — кто бы тогда не был благодарен за возможность излить горечь своего сердца? Такому человеку, который умеет внимательно выслушать и не перебивает посреди рассказа, чтобы поделиться своими собственными горестями?..

Да, Дер Нистер мало говорил, но при этом он обладал большим талантом выслушивать других людей и буквально впитывать их слова. Он обладал и острейшим чутьем, помогавшим ему отыскивать именно того человека, которого ему обязательно надо было выслушать. Лишь немногие обладают такой божественной способностью!..

Позднее, когда все уже узнали, что «товарищ Пинхас» всего лишь еврейский писатель, это ничуть не уменьшило уважения, которое к нему питали.

Снитковский резник, который в последнее время был в местечке уполномоченным по сбору утильсырья и который втайне руководил тихим миньяном эшелона, под большим секретом рассказал своим, что «этот писатель», «этот ламедвовник» — человек возвышенной природы: он, резник, во время посещения его купе видел своими собственными глазами перед ним на столике открытую

каббалистическую книгу. Одно было резнику не понятно: «зачем такому несокрушимому ученому потребовался в придачу сборник молитв для женщин, каковой лежал на том же столике?..»

Прошло совсем немного времени, и к Дер Нистеру потянулись люди, нуждавшиеся в ответе на вечный вопрос «откуда придет помощь моя?<sup>1</sup>», в совете, в добром слове, или же те, кому просто хотелось выговориться. Сначала «махеры» не допускали к нему людей, однако потом они за неимением иного выхода установили своего рода очередь к нему.

Однажды к нему ворвалась заплаканная женщина и запричитала, заламывая руки: «Горе мне, товарищ Пинхас, к кому мне обратиться, у кого попросить помощи?.. Был у нас один-единственный сын... Его забрали на войну... С первых дней как в воду канул: ни письмаца, ни приветца... Уже больше двух лет, как война кончилась, а его, моего единственного, не видно и не слышно... Но он ведь где-то живет! Материнское сердце чувствует... Он жив, не правда ли, товарищ Пинхас?..» Она посмотрела своими заплаканными глазами в лицо Дер Нистеру, словно речь шла лишь о его подтверждении, что он, ее сын, действительно жив.

— Я думаю, — мягко, с состраданием сказал Дер Нистер, осторожно подбирая слова, — я думаю, и я верю, что материнское сердце... знает лучше меня.

— А-а! Вы видите? — победно воскликнула сияющая женщина. — Вот и вы тоже говорите, что он жив!

И вдруг — гневно:

— Так что же, спрашивается, он, мой недотепа, муже-

---

<sup>1</sup>Псалом 121.

нек мой, зачем он меня потащил в Биробиджан, а я, корова, позволила ему себя увезти?.. Как он, мое дорогое дитя, мой единственный сынок, как он найдет наш новый адрес, если уже скоро месяц, как мы тащимся ко всем чертям, туда, где растет черный перец?.. Нет, лучше пусть он сам едет дальше, если он, мой недотепа, хочет, а я сразу же отправлюсь назад!..

— Не говорите глупостей, женщина! — воскликнул Дер Нистер с некоторым раздражением. Однако тут же снова смягчился, встал, женщина тоже встала, и он с полной уверенностью и убежденностью пообещал: — Не рвите себе душу, сердечная женщина, поезжайте дальше со своим мужем, а сын ваш... Сын ваш найдет вас, если будет на то воля Божья, и в Биробиджане...

Женщина ушла успокоенная.

Хотя я присутствовал при этой сцене, не хочу притворяться, что я точно пересказываю ту беседу Дер Нистера с подавленной своей бедой женщиной. Ведь человеческая память — это не магнитофон, ей обязательно надо мучительно реставрировать, а если не получается, она может, к сожалению, и имитировать...

Прошло уже месяца два с тех пор, как мы приехали в Биробиджан, и эта история совсем вылетела у меня из головы; но вот однажды мы шли вдвоем по улице Ленина, погруженные в беседу, — я, писатель Рабинков и поэтесса Люба Вассерман.

Вдруг я почувствовал, как за спиной кто-то дергает меня за рукав. Я резко повернулся: позади меня стояла та женщина, она запыхалась, ее платок сбился на затылок, а волосы растрепались на осеннем ветру. Было заметно, что она бежала за нами довольно долго:

— Товарищ, — выговорила она, едва переводя дыхание,

— товарищ, может быть, вы сможете мне сказать, где можно найти того старого писателя с добрыми глазами?..

Я понял, что она имеет в виду Дер Нистера.

— Зачем он вам нужен? — ответил я вопросом на вопрос.

— Ну как же? — воскликнула она, радостно возбужденная. — Я все-таки получила телеграмму от моего сына! Мой единственный мальчик, мое дорогое дитя отыскалось!.. Я обязательно должна сейчас же увидеть писателя. Это ведь он первый принес мне весть, что мой сынок жив! Чтоб он был здоров! Разве он писатель? Он ведь настоящий праведник!..



Те, кто заинтересуется биробиджанской прессой 1947–1948 годов, наверняка заметят хотя и осторожную, но все же очевидную пропаганду в пользу повышения значения еврейской культурной работы, еврейского языка и еврейской литературы...

Местные еврейские писатели — *Миллер, Рабинков, Боржес, Бронфман* — буквально дрожали от страха, и не без основания, что это до добра не доведет. Они прекрасно помнили 1937–1938 годы, когда безжалостно скосили десятки самых преданных еврейских деятелей во главе с профессором Либербергом и Янклом Левиным.

Только поэты *Люба Вассерман* и *Исроэл Эмиот* с почтением и верой смотрели на Дер Нистера, который, естественно, и был центральной фигурой «еврейского возрождения», происходившего в этот короткий период времени.

Мне помнится встреча с «боссом» Еврейской автономной области *Александром Бахмутским*.

Секретарь обкома партии Бахмутский был ассимилированным евреем, а по своему культурному уровню он ничем не отличался от других представителей этого типа партийных руководителей высшего привилегированного звена. Его духовный багаж — настоящий цитатник сталинского краткого курса истории коммунистической партии, последних партийных инструкций и редакционных статей «Правды»... Время от времени, впрочем, ему приходилось перечитывать и художественную литературу, главным образом такую, которая была рекомендована в качестве «иллюстративного материала к высказываниям классиков марксизма-ленинизма».

На него работал целый штат заместителей с секретарями, которые заведовали (конечно, под его надзором) вопросами сельского хозяйства, промышленности, транспорта, культуры, образования и т. д.

По рекомендации одного такого заместителя по вопросам идеологии, некоего «товарища Брохина», нас пригласил на беседу сам первый секретарь биробиджанского обкома.

Это должно было означать для нас, то есть для Дер Нистера и для меня, что нам оказывают особую честь. Добиться аудиенции у такого высокопоставленного партийного руководителя было намного труднее, чем добиться встречи с хозяином Белого дома в Америке.

Короче:

— Стало быть, завтра мы идем на специальный прием к самому «барину»...

Так осторожно начал со мной разговор Дер Нистер.

Мы сидели вдвоем в комнатке гостиницы. Уже начинало смеркаться, но, видимо, для уюта не хотелось включать свет. Мы прихлебывали домашний, хорошо зава-

ренный чай, который Люба Вассерман обычно приносила нам со своей квартиры в чайнике, завернутом в чистое полотенце. Дер Нистер задумчиво грел пальцы у горячего стакана. Крепкий чай, казалось, светился сквозь его тонкие пальцы.

— У людей писатель, — неспешно продолжал он разговор, который явно должен был иметь отношение к чему-то сказанному ранее, — у людей писатель знает только одно — свой творческий труд, «рисуй, художник, и молчи», — все остальное само приходит... Мы же, еврейские писатели, не можем позволить себе такой роскоши. Мы обязаны позаботиться о том, чтобы был читатель, например, чтобы дети были — чтобы народ был! Мы, оставшиеся после Катастрофы, можем, не дай Бог, в любую минуту упасть под тяжестью такого бремени, такой «мелочи», как само существование древнего культурного народа... Что мы еще может сказать, если даже наш дорогой дух красоты, наш Ицхок-Лейбуш Перец уже тогда так рано пал под этим грузом...

— Ох, как хотелось бы быть всего лишь хорошим писателем! — тоскливо и печально вздохнул он. — Нельзя, невозможно... не дают!..



После того, как мы проделали все формальности у помпезного, официозного здания биробиджанского обкома, чтобы получить пропуск к «самому», нас повели по застеленным ковром ступеням на второй этаж, где находился кабинет Бахмутского. Мы некоторое время ждали у набухшей от сырости двери, пока не вышел «товарищ Брохин» и не пригласил нас к первому секретарю обкома. Брохин, надо сказать, тихо и незаметно



исчез после того, как ввел нас в кабинет и представил Бахмутскому...

Большой, несколько вытянутый кабинет, в который улица заглядывала из-за широких плеч Бахмутского, сидевшего за массивным письменным столом, заставленным множеством «цацок»: флажками, письменными приборами и телефонными аппаратами. Перпендикулярно к письменному столу, вдоль всего кабинета — стол для совещаний, покрытый зеленым сукном. У этого стола — несколько дюжин табуретов...

Бахмутский тяжело поднял свое тело из мягкого кресла, на его лице появилось нечто, долженствовавшее изображать искреннюю, свойскую улыбку гостеприимного хозяина:

— Ближе, ближе ко мне, дорогие товарищи. Я всегда рад встретиться с представителями нашей творческой интеллигенции... Особенно, хе-хе, с советскими писателями, с инженерами человеческих душ, как гениально назвал вас товарищ Сталин... Вы приехали к нам из Москвы, но пусть вам не кажется, что вы приехали на пустое место... Каково ваше мнение, к примеру, о нашем маленьком Маяковском?..

Мы с Дер Нистером, удивленные, переглянулись, не понимая, что этим титулом он увенчал одного беспомощного графомана, коммуниста, фронтовика и, кажется, неплохого парня, но — при всем уважении — его все же трудно было назвать поэтом...

Ладно. Выразив неопределенным мычанием свое мнение по поводу этого «маленького Маяковского», мы по приглашению первого секретаря сели за стол, после чего он счел необходимым проинформировать нас о колоссальных достижениях Еврейской автономной обла-

сти — с «фактами», «цифрами», именами «передовиков» и, конечно, с цитатами о социализме и дружбе народов.

Потом «босс» поинтересовался, каков был контингент переселенцев, с которыми мы приехали, и можно ли ожидать прибытия новых эшелонов.

— Все зависит от вас, товарищ Бахмутский, — ответил я.

— Что я могу сделать еще? — спросил он, энергично поворачиваясь в мою сторону.

— Вы же понимаете, что евреи, как и все граждане нашей страны, могут строить социализм повсюду, где бы они ни находились...

— Ну да, — подхватил наш первый секретарь и поспешно выдал цитату откуда-то: «Евреи равноправны в большой семье советских народов... У нас нет антисемитизма».

— Видите ли, — со спокойной улыбкой вмешался Дер Нистер, — евреи охотно поедут в Биробиджан лишь при одном-единственном условии: если они найдут здесь *еврейскую родину*.

— Что-о-о? — с подозрением произнес, поворачиваясь к Дер Нистеру первый секретарь. — «Еврейскую родину?» — это ведь, извините, пахнет... национализмом!

Тут уж мне пришлось вмешаться, выдав заранее приготовленные цитаты из речей Калинина о необходимости еврейской государственности, а также цитаты из товарища Ленина о прогрессивности еврейского народа и его культуры (были и такие).

Наш секретарь немного задумался, и тогда слово снова взял Дер Нистер:

— Понимаете, уважаемый товарищ Бахмутский, вы бы могли с большим успехом быть секретарем партийной

организации любой области и даже края Советского Союза, но известны бы вы были только в пределах вашей области или края... Кто в мире знает имя вашего шефа, секретаря хабаровского крайкома? Никто! Но ваше имя знает весь мир — благодаря мировой еврейской прессе, благодаря евреям всего мира, которые хотят видеть в Советском Союзе и еврейскую родину, социалистическую родину, в которой идиш является государственным языком и где развиваются учреждения еврейской культуры и образования...

Мы расстались, помнится, вполне дружески, и Бахмутский пообещал сделать все, что в его силах для того, чтобы Биробиджан действительно стал притягательным центром для широких еврейских масс Советского Союза.

И действительно наметился некоторый поворот. Вышла даже инструкция обкома о том, что идиш должен стать обязательным учебным предметом во всех средних школах области...

Когда мы с Дер Нистером вышли из здания обкома, он спросил:

— Вы знаете, Керлер, эту смешную песенку: «Человек — как мыльный пузырь — стремится вверх и щеки надувает, но уколи его иголкой, и весь воздух выходит и спесь спадает». Дай Бог, чтобы этот пузырь не лопнул...

Но прошло совсем немного времени, и «пузырь» действительно лопнул, и Дер Нистер почувствовал это намного раньше меня. Именно поэтому он несколько раньше меня покинул Биробиджан и вернулся в Москву...



Казалось, можно было быть уверенным, что он еврей, этот майор С. ... Его темные оливковые глаза под густыми, чуть седеющими бровями накладывали некую тень печали на его по-еврейски горбатый нос, на все его вытянутое лицо, на его мясистые губы и выступающий кадык. По-еврейски он говорил почти правильно, куда лучше многих евреев-деятелей культуры так называемой Еврейской автономной области. Он имел обыкновение посещать еврейские литературные вечера и театральные представления.

Я был едва знаком с ним, но наша первая и последняя настоящая встреча произошла, когда я спустился из своей гостиничной комнаты и зашел перекусить в располагавшийся поблизости ресторан. Оттуда раздавался ужасный шум — смесь пьяных криков, смеха, ругани и хриплых звуков популярных мелодий из советских фильмов, которые звучали с эстрады. Свежие клубы морозного пара врывались внутрь каждый раз, когда кто-то входил или выходил. В воздухе господствовали запахи водки, прогорклого жира и квашеной капусты. Так выглядел этот веселый уголок, именуемый рестораном при центральной гостинице «Биробиджан».

Мои сбитые с толку чувства еще не успели привыкнуть к этой мешанине, когда я услышал, как кто-то обращается прямо ко мне, не слишком громко, но так решительно, резко и четко, что его голос прорвался ко мне через весь вышеописанный шум. В уголке, забравшись за большую кадку с фикусом, майор сидел один за столиком, вплотную к красным плюшевым гардинам, висевшим на

окнах. Он был в гражданском, и это еще более подчеркивало еврейский внешний вид этого щирого украинца.

— Садись! — сразу же обратился он ко мне на «ты» по-русски. — Выпей водки, — добавил он по-еврейски.

Он указал на столик, на котором стояла наполовину опустошенная бутылка, окруженная обычными, но редкими по тем временам закусками: тонко нарезанные кружочки сухой колбасы, селедка, красиво приправленная луком, и соленые огурчики.

Он наполнил мой стакан, после чего мы молча и пронзительно посмотрели друг на друга.

— Лехаим, Иосиф Борисович! — прошептал он наконец и одним глотком опустошил свой стакан водки.

Отвернувшись от меня, будто он обращался не ко мне, а к запыленным красным ресторанным гардинам, майор отрывисто продолжил:

— Я знаю вас, Иосиф Борисович. Я знаю о вас больше, чем хотелось бы знать... Я слышал, как вы выступали... Я читаю еврейскую литературу... Такова моя должность... Я знаю, что вы любите нашу страну и что вы проливали кровь за нашу землю, — он особо подчеркнул слово «нашу». — Но это не имеет ни малейшего значения на фоне вашего самого большого греха: вы не хотите перестать быть евреем. Может быть, поэтому я люблю вас и жалею вас. К чему жалость, черт побери?! Таким, как я, это чувство строго запрещено. Максим Горький предупреждал: «Жалость унижает человека», — процитировал он с кривой усмешкой. — У этого праведника была еще одна важная формула: «Если враг не сдается, его уничтожают»...

— Послушайте, — он вдруг стал очень серьезен и при этом говорил, подчеркивая каждое слово. — Вы меня не

знаете. Вы меня никогда не видели, и я вам ничего не говорил. — А после этого приказным тоном добавил: — Убейтесь из Биробиджана. Чем быстрее, тем лучше, куда-нибудь в глухомань, где вас никто не знает... Может быть, вас минует эта большая кровавая баня, ко всем чертям!

— Иосиф Борисович, вы меня никогда не встречали, — в последний раз предостерег он меня, когда я поднялся со стула.

В сильной растерянности я вышел на морозную улицу. Собственно, я уже раньше решил уехать из Биробиджана, но совсем по другим мотивам и не в какую-то глухомань, а именно назад в Москву. Однако я разволновался из-за этого загадочного майора. То ли он меня просто провоцировал, хотел нагнать на меня страху, то ли на него нашла минутная искренность, и он предостерег меня о большой опасности, которая нависла не только надо мной? Он ведь прямо сказал: «Большая кровавая баня».

Биробиджан — это особая глава истории о том, как жестоко была растоптана последняя искра, малейшая надежда тысяч пострадавших еврейских семей, которые отчаянно искали после войны убежище, пусть хотя бы на заброшенном Дальнем Востоке Советской империи, лишь бы покинуть свои зачумленные нацистами родные места на Украине и в Белоруссии.



*Эти отрывки из воспоминаний большого еврейского поэта Иосифа Керлера представляют собой не просто свидетельство очевидца, но драматическое описание одного из переломных моментов в истории Еврейской автономной области. Это был именно тот момент, когда был потерян последний шанс на превращение Биробид-*

жана в настоящую еврейскую страну. Молодой тогда поэт Иосиф Керлер, только что вернувшийся с фронта, сопровождал эшелон еврейских переселенцев в Биробиджан вместе со знаменитым и пожилым еврейским прозаиком Дер Нистером (Пинхасом Кагановичем, 1884–1950). Через пару лет после того как закончилась биробиджанская глава в их жизни, оба они были арестованы так же, как и почти все деятели еврейской культуры в СССР. Оба они были приговорены к 10 годам лагерей. Иосиф Керлер вышел из ГУЛАГа в 1955 году и репатрировался в Израиль в 1971 году. Дер Нистер умер в 1950 году в лагерьной больнице в поселке Инта Коми АССР. В рамках «Биробиджанского дела» были арестованы и все упомянутые в воспоминаниях Иосифа Керлера биробиджанские еврейские писатели, кроме Ицика Бронфмана.

Упомянутый в них первый секретарь биробиджанского областного комитета КПСС, член Еврейского Антифашистского Комитета Александр Бахмутский был снят со своего поста в июне 1949 года и арестован в январе 1951 года по обвинению в еврейском национализме и контактах с американской еврейской организацией «Амбиджан». Он был приговорен к смерти. Затем смертный приговор заменили на 25 лет лагерей<sup>1</sup>. Бывшего первого секретаря биробиджанского обкома отправили в ту же Инту, в которой находились в заключении Дер Нистер и Иосиф Керлер. Александр Бахмутский вышел из ГУЛАГа в 1956-м и умер в 1961 году.

---

<sup>1</sup> Архивные документы, отражающие период Александра Бахмутского в истории Еврейской автономной области и дальнейшие трагические события, опубликованы в книге Давида Вайсермана «Биробиджан: мечты и трагедия. История ЕАО в судьбах и документах», Хабаровск, 1999



**Уильям Джейкобс (1897–1973). Преследование.**

Из альбома гравюр чикагских художников «Подарок Биро-Биджану», 1937 г.





## ИСРОЭЛ ЭМИОТ

### Назад в Биробиджан

*Глава из книги «Биробиджанское дело»*

Я трясусь не в запертой клетке столыпинского вагона, не в запломбированном товарняке. И если бы не ватная телогрейка, засаленные ватные штаны и огромные лагерные ботинки, я вполне мог бы сойти за обычного гражданина. Правда, наверху, на багажной полке, лежит не чемодан, а обычный мешок с моими пожитками. Но до моего внешнего вида здесь никому нет дела. К тому же в вагоне едут мои «товарищи по счастью» — освободившиеся из рабских лагерей, да и простые пассажиры, никогда в лагерях не бывавшие, выглядят едва ли элегантнее нас, особенно на этой железнодорожной ветке, в далекой Сибири.

Мы, бывшие политзеки, не стыдились своего вида перед остальными пассажирами. Простой русский человек сочувствует бывшим арестантам. С кем бы я ни разгова-

ривал в поезде, оказывалось, что у моего собеседника обязательно кто-то сидел в лагере: близкий или дальний родственник, друг или просто знакомый. В поезде всегда чувствуешь себя особенно. В поезде развязываются языки, здесь выговариваются от всего сердца. Пассажиры спрашивают о родственниках, от которых годами не было весточки, и многие не ведают, на каком лагерном кладбище лежат их кости. Люди плачут, вспоминая близких, которые сгинули в лагерях еще в 1937–1938 годах, во время известных «чисток».

Снова проезжаю мимо Байкала. Поезд целый день петляет между горами и сопками, и Байкал все не кончается. В России его называют «славным, священным морем», о нем поют песни и слагают легенды. Когда меня везли в лагерь в арестантском вагоне, я не замечал всей красоты озера. Знаю только, что некоторые зэки тогда просили Всевышнего, чтобы состав скатился с моста прямо в Байкал...

Сейчас я вижу это славное море во всем его величии. Байкал широк, как русская душа, в которой трудно разобратся. Она кажется доброй, готовой пожертвовать собой, но когда ее угнетают, она способна на жестокость — и по отношению к самой себе, и по отношению к другим...



И вот я снова в Биробиджане. Прибыл в город ранним зимним утром, держа в руке мешок с пожитками. Дома, деревья, целые улицы дремлют под снегом. Я вошел в гостиницу, и женщина-администратор меня узнала, обрадовалась встрече. Она поинтересовалась, реабилитирован я или просто амнистирован. Да, удивительно, как народ здесь стал разбираться в подобных вещах!

Женщина оказалась права: тот факт, что я не был реабилитирован, доставил мне в следующие пару месяцев немало неприятностей.

Люди, с которыми я общался, относились ко мне с недоверием, ибо к тому времени многих бывших политических заключенных уже полностью реабилитировали. Что касается биробиджанских еврейских писателей, то они были только амнистированы. С них еще не снята «вина», которая выражалась в «искусственном насаждении еврейской культуры в Еврейской автономной области». Наказание просто было сокращено наполовину: вместо десяти лет — пять...

Чудо, что знакомый инженер-еврей на местной швейной фабрике устроил меня к себе на работу с довольно скромной зарплатой, которой мне хватало лишь на десять дней. Квартиру, где я жил до ареста, отобрали, новую мне не дали, и я снимал угол на кухне у небогатой семьи.

Моя хозяйка разместилась с сыном в большой комнате. Парень (ему было 17) работал на мебельной фабрике, но его заработка явно не хватало на содержание дома. Мать подрабатывала тут и там. Дом у них был частный, из первых биробиджанских построек. Я спал в углу кухни и платил за это сто рублей в месяц — треть моей зарплаты. Но я рад и тому. На фабрике я проверял состояние тканей, отправляемых на раскрой, то есть следил, чтобы в ткани не было брака: дырок, плесени, грязи и т. п. Я определял, соответствует ли сукно данной фактуре, поднимая при этом тяжелые рулоны. Затем ткань разрезали, и я разносил разрезанные куски по участкам.

Я благодарен и хозяйке за жилье. Эта женщина помогла мне, когда никто не хотел меня приютить, отдели-

ваясь всякими отговорками. Люди боялись вчерашнего лагерника. За 200 рублей, что у меня оставались от заработка, я мог протянуть всего лишь десять дней. Но я смирился со своим положением. По сравнению с тем, что мне пришлось пережить и через что пройти, я ощущал себя нынче королем.

Моя хозяйка была довольна сыновьями, которые все, кроме младшего, были женаты и занимали приличные должности. Лишь единственная дочь не при ней. В дочь влюбился еврейский парень из Польши, позже они уехали к нему на родину, а оттуда — в Израиль. Каждый месяц дочь пишет маме, но та боится ей отвечать.

— Поверьте, — говорила мне хозяйка, — я не за себя боюсь, мне за сыновей тревожно. После той беды, что случилась в Биробиджане, когда столько евреев было арестовано, я уже сама себе не доверяю. Но я не выдержала и месяц назад все-таки написала письмо дочери. Ничего особенного не сообщала. Просто написала, что жива-здорова и не нуждаюсь ни в чьей помощи, но кто знает, дошло ли письмо...

Я успокоил женщину, посоветовал ей слушать радио, которое после 20-го партсъезда постоянно вещало о культе личности Сталина. Портрет вождя, висевший в верхнем углу комнаты, она сняла и перетащила ко мне на кухню...

С тех пор как меня арестовали в 1949-м, в Биробиджане исчезли многие люди, которых я хорошо знал. Мне сказали, что они уехали отсюда по личным причинам, но это было не так: просто многих партийных и советских работников-евреев заменили на русских. Но Рувн Штейн, литовский еврей, занимавшийся все годы озеленением города, по-прежнему оставался на своем посту. Благода-

ря его стараниям все красивее становились улицы и площади Биробиджана, появлялись новые зеленые скверы. На улицах города выросли стройные ряды новых домов. Улица Шолом-Алейхема уже полностью залита асфальтом, и автобусы курсируют в различных направлениях на многие километры — например, от обоззавода до Сопки.

У магазинов не видно длинных очередей, нет и толкотни за хлебом; продуктов в достатке, но какой тоской и безысходностью веет от полностью разоренных очагов еврейской культуры! Ноги сами привели меня во двор бывшего еврейского театра, где стоят дома, в которых жили еврейские артисты. Сейчас эти дома заселены новыми жильцами. Еврейские актеры разбежались по всей стране. Красивейшее здание города — Биробиджанский ГОСЕТ — переоборудовано недавно в Дом пионеров. В кинотеатре «Биробиджан» талантливая еврейская певица (бывшая актриса) исполняет русские песни в стиле танго, заполняя перерыв между сеансами.

Областная газета «Биробиджанер штерн», превратившаяся в жалкий однополосный листок, публикует переводы стихов молодого нанайского поэта Андрея Пассара. Этот поэт, чье имя мало что говорит даже местным читателям, живет в Биробиджане. Ему дали хорошее жилье, а хабаровский Союз писателей отправил его учиться в Москву в Литературный институт. Он пишет о рыбаках и охотниках, коими преимущественно являются его соплеменники. Народность, к которой он принадлежит, насчитывает всего несколько тысяч человек, но чем евреи хуже? Этот вопрос постоянно мучил меня.

За время моего отсутствия «ОГИЗ» открыл в Биробиджане большой современный книжный магазин на

улице Ленина, где продаются книги на разных языках народов СССР, — кроме еврейского. Правда, ради декорации стоят несколько пожелтевших брошюр на идише. Заведующая книжным магазином, милая русская женщина, вполне искренне спрашивает меня:

— Разве еврейские литераторы перестали писать?



В начале весны 1956 года я побывал в доме дочери Бумагина. Когда почти восемь лет назад меня арестовали, она была еще школьницей. Сейчас я держу на руках ее ребенка, внучку героя. Помню, будто это было вчера, полученную от Михоэlsa телеграмму с просьбой найти семью Героя Советского Союза Иосифа Бумагина, который до войны жил в Биробиджане и работал на обозном заводе.

Семья Бумагина проживала тогда в рабочем поселке Смидович, восточней Биробиджана. Жили они довольно скромно, если не бедно. Совсем недавно вдова Бумагина пережила большое горе: на станции под маневровый паровоз попал их ребенок, да и ей самой тогда досталось, придавило руку. До сих пор помню текст огромной телеграммы, состоящий чуть ли не из тысячи слов, которую я тогда отправил об этом воине-еврее, человеке из народа, отважно сражавшемся против фашистов и павшем в бою... За подвиг, который он совершил, закрыв своим телом вражескую огневую точку, Иосифу Бумагину было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В тексте моей телеграммы Михоэлсу я привел отрывок из письма Бумагина своим детям: он, их отец, идет на подвиг, который принесет честь и славу еврейскому народу и станет мстью за гибель его братьев и сестер, уничтоженных фашистами...

Со временем в Биробиджане возник целый микрорайон, который носит имя Иосифа Бумагина. Помнится, тогда же я ходатайствовал перед властями области об увеличении пособия жене героя. Так я подружился с семьей Бумагина, и сейчас, когда я оказался на свободе, его дочь пригласила меня к себе.

Со времени больших арестов в Биробиджане местный народ стал менее разговорчивым. Мало говорила и молодая симпатичная мама, дочь Героя Советского Союза Иосифа Бумагина, внучку которого я держу на руках сейчас. Слезы наворачиваются на глаза от обиды: разве евреи сделали для России меньше, чем нанайцы с их поэтом, для которого в Еврейской автономной области сейчас открыты все двери, но закрыты для еврейских писателей и поэтов?

Но осталась у евреев Биробиджана тоска по еврейскому слову, которую никакая сила не смогла искоренить. Наконец-то пришло время, и вернувшиеся из лагерей еврейские писатели смогли выступить перед публикой со своими стихами. Большой читальный зал областной библиотеки имени Шолом-Алейхема переполнен. Представительницу отдела культуры, говорившую по-русски, внезапно прервали выкрики из зала:

— Идиш! Идиш! — требовали голоса собравшихся.

С затаенным дыханием слушали евреи выступления писателей на родном языке, громко аплодировали и просили: еще! еще! Простые люди, отбросив многолетний страх, пожимали писателям руки и горячо, по-братски, обнимали и целовали их.



Неожиданно меня вызвали в МГБ. Повестка на мое имя пришла на швейную фабрику, где я работал. Вероятно, чтобы не напугать меня, в «приглашении» было указано: «Для возврата документов». Понятно — тех бумаг, которые у меня изъяли при аресте. Тогда у меня конфисковали и рукописи ранее не публиковавшихся стихов. Когда я зашел в нужный кабинет, майор, сидевший за столом, слушал по радио постановление XX съезда КПСС. Диктор вещал о беззакониях, чинимых органами НКВД-МГБ, которые арестовывали и пытали невинных людей.

Майор учтиво пригласил меня сесть, извинился за беспокойство и подал небольшой конверт, в котором находились мои фотографии и некоторые бумаги, отобранные при аресте.

— А где мои стихи, рукописи? — упавшим голосом спросил я.

— По этому поводу вы должны обратиться к своему следователю. Понимаете, к вашему делу я не имею отношения, поскольку человек здесь новый, — вежливо ответил майор. — Вашего следователя перевели на Камчатку, в милицию...

Значит, этого сатрапа, мучившего меня во время следствия, отправили подальше — аж на Камчатку, служить в милиции. Хоть какая-то месть этому подлому человеку!



На биробиджанских евреев обрушилась новая беда: сгорела синагога. Прихожан этой единственной синагоги было мало, и никакой общинной жизни в ней, разумеется, не велось. Лишь раз в неделю, в субботу, туда при-



ходили молиться старики. Но на Рош а-Шану и Йом Кипур синагога была забита битком. Отпросившись с работы у своих начальников, заведующих, бригадиров, приходили туда и евреи среднего и молодого возраста, обещая отработать эти часы в выходные и в другие дни.

Пожар начался в расположенной рядом мастерской. Все ее помещение вместе с соседними строениями и деревянной синагогой сгорели. Во время пожара едва успели вынести Свиток Торы. Верующие евреи не стали ждать городских пожарных, бросились в огонь и успели спасти несколько священных книг и молитвенников.

Небо Биробиджана озарилось пламенем. В этом огне погибла последняя твердыня еврейской жизни — синагога. Но благодаря самоотверженности и мужеству нескольких евреев были спасены святыни. Позднее эта группа евреев арендовала в другом месте избу, тоже деревянную, чтобы продолжать еврейскую традицию. Эта небольшое строение выглядело островком старой еврейской жизни в бурном море новой жизни, в которой еврейской традиции, увы, не оставалось места...

В биробиджанской библиотеке имени Шолом-Алейхема, в которой были тысячи древнееврейских книг и издания по иудаике на нескольких европейских языках, осталось лишь несколько полок случайно уцелевших книг еврейских авторов. Все книги убитых еврейских писателей — Бергельсона, Маркиша, Гофштейна, Фефера, Квитко, Дер Нистера и других — были изъяты из фонда и сожжены. Многочисленные тома по иудаике гниют где-то в подвалах. Многие евреи боялись хранить в своих домашних библиотеках еврейские книги: вдруг среди них попадется книжка осужденного писателя и за это придется отвечать. На кону стояла свобода. Лишь немногие

биробиджанцы с настоящим героизмом спасали еврейские книги, закапывая их в землю.

Знакомый биробиджанец с гордостью показал мне сохранившийся том избранных стихотворений Хаима Нахмана Бялика. Книжные листы были влажные и покрылись плесенью от долгого нахождения в домашнем погребе.

Все музейные предметы и артефакты, собранные стигнувшим в иркутском центре старейшим еврейским писателем Бером Слущим (благословенна его память!), были уничтожены.

Лишились всякого еврейского содержания полчасовые радиопередачи на идише. В них можно услышать официальные отчеты из колхозов и совхозов и с промышленных предприятий о выполнении планов, перечень стахановцев. Ни одного теплого сердечного слова, связывающего между собой евреев мира, там не звучит.

Разве этот «Биробиджанский проект» завершен и, словно недельная глава Торы, прочитан? Неужели больше никогда уже не заманят сюда евреев, чтобы им же потом приписать национализм? Конечно, нет.

В последнее время тема Биробиджана стала актуальна: советских евреев снова призывают осваивать Дальний Восток и агитируют ехать «строить свою государственность». Московское радио уже несколько раз передавало выступления евреев, призывающих переезжать в Биробиджан. Правда, на эти призывы никто уже не откликается: советские евреи слишком много испытали на своей шкуре, чтобы снова попасться на ту же удочку.



***Отличники учебы  
Волгегейнской средней школы***



**В столовой Биробиджанского  
переселенческого пункта**



## ГЕШЛ РАБИНКОВ

### В новом городе

Ранним субботним утром Гавриэл Йошпе вышел в садик перед домом, чтобы собрать с заботливо ухоженной клумбы несколько самых крупных роз для дочери. Сейчас ее Новосибирский оперный театр гастролирует в Хабаровске, и Инна нашла возможность заглянуть на пару деньков в Биробиджан навестить отца.

По переулку только что прошествовало на пастбище стадо поселковых коров, и в неподвижном воздухе еще чувствовался запах осевшей пыли. С одного из ближних дворов, чуть приглушенный густой зеленью кустов и деревьев, нарушая утреннюю тишину, доносился стук топора: на городских окраинах будние дни начинаются рано.

— Утро доброе, Гавриэл Романович!

В такое время да к тому же сполна погрузившийся в дело, Йошпе и не мог заметить, как подошла и остановилась возле его штaketника Жанна.

— И для кого же это с утра пораньше человек так старается? — звучит вопрос. — Ой, ну какая ж прелесть! — восклицает женщина, увидев букет в руке выпрямившегося Гавриэла.

Ну так еще бы! Это ж совершенно новый сорт роз, которые он, Йошпе, буквально вынырнул в своем садике еще в прошлом году. И, между прочим, получил тогда за них на городской выставке цветоводов почетный диплом.

Приосанившись и легко встряхнув букет в левой руке, Гавриэл сделал шаг в сторону изгороди и с улыбкой отвечал:

— Все это для такой же молодой и красивой женщины, как ты.

— И для такой, которая к тому же замечательно поет! — звонко и нараспев с улыбкой прибавила Жанна. — А вот нашему брату, скромному работнику милиции, конечно же, такого никто не дарит...

— Так ведь каждому свое, — с наигранным сожалением разводит руки Гавриэл. — Твоя стезя по жизни, как я понимаю, цветами не усыпана, да. Но вот... Короче, так: «От имени всех граждан, мир и покой которых бдительно охраняет наша доблестная милиция!..»

С этими словами Йошпе ловко отступил назад, срезал крупную ярко-красную розу с лепестками в мелких каплях росы и, картинно поклонившись собеседнице, передал ей поверх штатетника свой «презент».

Жанна приняла неожиданный подарок, отчего-то вдруг смутилась, потом прижала влажные лепестки цветка к губам и, опустив длинные ресницы, восторженно прошептала:

— Ну красавица ж!..

Жанна, соседка Йошпе, — женщина несколько выше среднего роста. У нее светлое, чуть загоревшее в эту пору правильного овала лицо. Темно-синий форменный китель с погонами старшего лейтенанта, светлая рубашка под ним и черный мужской галстук — все этой молодой женщине к лицу, все по ее ладной фигуре, что придает ей строгую элегантность. Взгляд карих, слегка удлинненных глаз Жанны выражает спокойную уверенность. Но это в обстановке обычной. В иных ситуациях (а ситуации такие в работе офицеров милиции встречаются совсем нередко) Жанна умеет смотреть на человека так, как будто пронизывает его глазами насквозь. Так уж оно ведется: любая профессия не может не накладывать на нас своего особого отпечатка...

— Жанна, — обращается к соседке Гавриэл, — а ведь у нас сегодня маленький праздник: Инна у меня в гостях. Ну тебе-то, я думаю, особого приглашения не надо. А как пойдешь, обязательно прихвати с собой и всех своих Лapidусов...

— Спасибо, Гавриэл Романович! Конечно, все придем. Ну а сейчас вспомните-ка, какой сегодня в нашем поселке день.

— А что за день сегодня такой? Суббота сегодня.

— Ну а еще?

— Еще?.. Еще... — морща лоб, силится вспомнить Йошпе.

— Э, вот вам и первопроходец! — звонко рассмеялась Жанна, шаловливо показав незадачливому цветоводу кончик языка. — Сегодня исполняется ровно сорок лет, когда вы, уважаемый Гавриэл Романович, мой отец Нисн Лapidус и все другие из тех, кто прибыл сюда одним из первых эшелонов, — теперь-то это уже история! — нача-



ли строить вот здесь свои первые избы. Да ведь у нас в областном музее даже отдельный стенд об этом есть. «Прибывшие» называется.

Темпераментный монолог Жанны Гавриэл выслушал с полузакрытыми глазами, согласно покачивая головой, а затем, не промолвив Жанне ни слова в ответ, добрых полминуты неподвижно смотрел поверх ее головы на крыши поселка. Может быть, в эти секунды перед его внутренним взором во всей своей «красе» предстала та дикая пустошь, между редкими островками суши сплошь испятнанная разводами стоялой болотной воды, в беспорядке разбросанные по неухоженной этой земле избышки ее обитателей, низкое небо в тучах и дождь, дождь...

— Молодец, Жанка, — очнувшись от мимолетных воспоминаний, улыбнулся Йошпе. — Ты у нас прям-таки живой календарь.

Да, Жанна помнила не только массу календарных дат — она знала все или почти все, что относилось к «биографии» своего поселочка «Новый», к западу от которого и располагался сейчас собственно город. Своего рода коллекционирование различных документов и запись воспоминаний бывших переселенцев были, как выражаются сейчас, хобби девушки еще со школьных лет.

В это время во дворе, сначала отрывисто рыкнув несколько раз, затрещал мотоцикл, и из распахнутых ворот на нем выехал на обочину дороги Элик. Увидев Жанну, он остановился, приглушил мотор и, опершись одной ногой о землю, обратился к ней:

— Привет! Тебе в город?

По тону, с каким он произнес эти три слова, по тому, как он посмотрел на соседку, было совсем нетрудно за-



ключить, что парень, что называется, не совсем к ней равнодушен.

Элик, по мнению поселковых старожилов, — точная копия Гавриэла в молодости: высокорослый, широкоплечий, с лица его, кажется, никогда не сходит загар. Всегда серьезный и сосредоточенный, парень выглядит несколько старше своих лет. Да и должность прораба одной из строительных организаций, по мнению самого Элика, обязывает его выглядеть солидней. В последнее время, очевидно, с этой же целью он даже бородку решил отпустить. Сам он новую черточку собственной внешности счел дополнением к образу руководителя вполне удачным, а вот дед Элика, девяностодвухлетний Гедалья, каждое утро бреющийся электробритвой — подарком внука-строителя, при случае иронизировал:

— Может, ты найдешь хотя бы полчасака эту свою бороду состричь да побриться? А то ходишь, как вон тот козел...

Встретив сейчас у своего дома Жанну, Элик несколько растерялся. Смутило его то, что она, небрежно кивнув в ответ на его приветствие, сделала вид, как будто не слышала его вопроса. Поэтому он, намеренно придав голосу нотку этакой бодрой деловитости, повторил:

— Или тебе не надо в город, Жанна?

Мотоциклист постарался никак и ничем не проявить душевного трепета, когда Жанна, будто спохватившись, что ей надо сегодня быть на службе, сказала: таки да, ей в город, и хорошо, если сосед ее туда подбросит.

Жанна заняла пассажирское сиденье, мотоцикл выезжает из переуллка и исчезает в белесом облаке пыли.

Гавриэл еще несколько минут в задумчивости стоит у забора. Сейчас, только что увидев Элика рядом с девуш-

кой, он невольно уходит в памяти к недавнему прошлому, когда еще жива была его Рися. Та, бывало, в шутку частенько называла свою подругу, мать Жанны, сватьей. Да, было такое... «А Элик-то, сдастся мне, и правда влюблен в Жанну, — размышляет Гавриэл. — Да только вот она-то как? Э, поди знай этих женщин...»



Гавриэл, поставив срезанные розы в вазу с холодной водой, перенес букет на веранду, где спала приехавшая накануне поздним вечером Инна. В город (а если точнее, в центр города) Йошпе сегодня ехать не собирался, дома как будто тоже было особо нечем заняться, и спустя пару часов Гавриэла Йошпе можно было видеть неспешно шагающим по единственной широкой улице поселка, ведущей к довольно просторной площадке, которую с весны обнесли изгородью: скоро на этом месте начнут строить многоквартирный каменный дом. Руководить же его постройкой будет не кто иной, как Элик Йошпе. Ну а пока что аккуратно расчищенную будущую стройплощадку облюбовали для своих «сходов» поселковые пенсионеры.

Как он и ожидал, на том же месте, как и всегда, Гавриэла по-приятельски приветствовали его старые знакомые — почти все из тех «прибывших», которым и посвящен тот музейный стенд, — пассажиры первых переселенческих эшелонов.

— Всем доброго дня, — громко ответил на приветствия Йошпе. — А знаете ли вы, майнэ тайерэ хавэйрим, что сегодня у всех у нас маленький праздник? Именинники мы сегодня, да!

— И что это за праздник такой? Чему надо радоваться-

ся? — интересуется кто-то. И услышав, о каком таком празднике идет речь, все начали вздыхать.

— Ай-ай! Неужто уже сорок годков пролетело, Гавриэл?

— О вэй из мир, как же время летит!..

Тем часом к группе собравшихся на привычном месте подошло еще несколько человек, людей пожилых, не один десяток лет проработавших как на «производстве», так и на собственных подворьях (а жить в «частном секторе» все равно как в селе). Теперь, оказавшись в роли пенсионеров, они не без труда свыкались со своим новым положением, когда и спешить никуда не надо, и задумываться особо как будто не о чем. А вы считаете, это просто?

Отдав должное месту сбора, потолковав о том о сем, старики неспешно двинулись затравевшими переулками обратно в поселок, разделенный одной-единственной широкой улицей, по-городскому заасфальтированной посередине.

В это ясное летнее утро здесь все вокруг радовало глаз греющим душу уютом. Такими близкими и дорогими казались сейчас каждому разноликие дома и домишки поселка: деревянные, шлакоблочные, с пристройками и без, затененные деревьями или полужакрытые кустами сирени. А чуть заметный ветерок дышит запахами садов, огородов, пчелиных ульев. Даже вид доживающих здесь свой век неказистых хибарок с побеленными «для красоты» ставнями на низеньких окнах навевает воспоминания о чем-то далеком, минувшем, детском...

У некоторых домиков пенсионеры замедляют шаг, даже останавливаются: не эти ли неброские с виду строения положили начало поселку те самые сорок лет назад? Да, точно они. Тут же в общей беседе звучат имена людей-

тружеников, которых нынче уже нет на этой земле — светлая им память... Сколько ведь всего было пережито и переделано за четыре-то десятка лет. И о том, что впереди, тоже зашел разговор. Недавно приглашенный из города Жанной Лapidус лектор как раз и рассказывал о генеральном плане застройки и развития города.

Николай Евстигнеевич Собибенко — уроженец этих мест и единственный коренной житель нынешнего поселка, вспомнив о той лекции, говорит:

— На месте моей хаты, как я понял, библиотеку будут строить. Районную, говорят.

— От нашего двора тоже ничего не останется. Так вот и...

— Короче говоря, все другое и все по-другому здесь будет, — ловко крутнув перед собой свою «прогулочную» тросточку, с которой никогда не расставался, заключил Исай Шпарага.

— Да, наступает на нас город, наступает...

К тому, что город «наступает» (в официальных бумагах поселок, подлежащий застройке на городской манер, называется микрорайоном номер 12), отношение у жителей здешней окраины неодинаковое. Хозяева дворов покрепче — те, у которых и дома по всему не из последних, и огороды соседям на зависть (хозяев таких в поселке «консерваторами», а подчас даже кулаками зовут), считают, что-де невелика радость от того, что город поселчески обустроенный поселок потеснит. Другие (с чьей-то легкой руки их здесь зовут «экстремистами»), напротив, заявляют, что жить в городской квартире — с ванной, газом, горячей водой и прочим подобным — вовсе не так уж плохо.

— А ты что скажешь, Гавриэл? — слышит обращенный

к нему вопрос Йошпе, когда кто-то опять затронул в разговоре тему «наступающего города».

С мнением Гавриэла Йошпе — как-то уж так повелось — в поселке всегда считались. Рослый, довольно крепкий для своих шестидесяти с лишним лет, Йошпе как будто не утратил привычной для него военной выправки. Неторопливый в движениях, он производит на окружающих впечатление человека, уверенного в себе, хорошо знающего, что делать и как поступить. Прибывший когда-то в эти края пассажиром одного из первых переселенческих эшелонов, он, комсомолец из полурусского-полуукраинского городка Середина-Буда, был в числе тех, кто валил деревья в тайге, сплавливал лес по неширокой, но бурной горной реке, строил первые двухэтажные дома и кто запустил в работу пусть небольшую и маломощную электростанцию, тем не менее позволившую зажечь свет в окнах новых жилищ, которыми город, а тогда еще рабочий поселок, теснил и отодвигал дикие заболоченные пустоши. С детства тянувшийся к разным «железкам», Йошпе в свое время стал и одним из первых рабочих нового предприятия в городе — обозного завода. На заслуженный отдых его, всеми уважаемого мастера токарного дела, провожали уже с «Дальсельмаша» — не последнего по своему значению завода на Дальнем Востоке.

Выйдя на пенсию, Гавриэл все свое свободное время отдал выращиванию цветов и деревьев. Большая часть горожан не помнит, а может быть, даже не догадывается, что в густых аллеях вдоль широких, застроенных уже каменными домами улиц, в яркой россыпи цветов на клумбах и газонах перед фасадом здания облисполкома, в живописных островах зелени скверов и площа-

дей областного центра есть немалая доля труда Гавриэла Йошпе.

Пожалуй, что не один из старожилов окраинного поселка, из тех, у кого теперь свои садики с грушами-«лукашовками», с твердой дальневосточной сливой, малиной и смородиной, может припомнить и то, как много лет назад Йошпе приставал к нему или к его соседу: «Послушай же, что тебе говорят. Возьми саженец, возьми у меня их хоть целый десяток и разбей садик». А тот, кого Гавриэл «доставал» своими советами, бывало, отмахивался от советчика, что называется, обеими руками: «Ой, да отцепись ты от меня со своим садом! Вырастет он здесь, жди. Может, мне еще и соль под окном посеять?» А Гавриэл, заявляясь неожиданным гостем то к одному, то к другому обитателю поселка, непременно приносил с собой «букет» саженцев, которые он приносил откуда-то с другого конца города.

— Смотри, Касрилик (Шлоймэ, Леня, Борух), как это делаю я, и делай так же, — наставлял он кого-нибудь из своих ближних или дальних соседей. — И через год-другой зашумит у тебя сад!

И таки зашумели со временем сады возле домов и домиков поселка Нового, обязанного своим названием началу уже далеких тридцатых. А между корявых стволов старых, с густолиственными кронами плодовых деревьев поднимается молодая поросль. Краснеют в садах сливы, золотятся в листве груши...

— Так что же ты скажешь, Гавриэл, насчет жизни в поселке и в городе?



Да только так и не успел Гавриэл ответить на вопрос своих товарищей. Возле них, скрипнув тормозами, остановился подъехавший со стороны города зеленый «Москвич». Из него вышел всем здесь хорошо знакомый хирург областной больницы Константиновский. Обойдя машину, он ловко распахнул вторую дверцу кабины, выпустив из нее среднего роста полноватого пожилого мужчину в очках, державшего в руке объемистый коричневый портфель. Вежливо попрощавшись с пассажиром, хирург снова занял водительское место, и, пыхнув синим дымком, «Москвич» укатил в путь обратный.

Все молча с любопытством смотрели на человека с портфелем. Краткую немую сцену радостным и удивленным восклицанием нарушил Гавриэл:

— Роман? Ты?

— Стоп! Да это ж вроде как профессор... Ну тот, из Хабаровска, — обернувшись к приятелям, негромко произнес Собибенко.

Года два назад ему, Николаю Собибенко, не кто иной, как Гавриэл Йошпе, помог попасть «с желудком» в хабаровскую клинику, к известному врачу — профессору Лаврову. Бывший пациент сейчас не вдруг его узнал: там, в больнице, он всегда видел врача одетым в белый халат, с белой шапочкой на голове, а подчас и с такой же повязкой на лице и, как правило, в тесном окружении студентов и ординаторов.

— Эге! — близоруко сощурившись, оглядел Собибенко прибывший. — Да это, кажется, мой пациент!

И подойдя к стоявшим ближе и окинув взглядом их лица, уверенно заключил:

— Да и вон тот дядя тоже из моих. Как живешь-можешь, старина?

— Глаз пограничника! — восхитился Гавриэл, обняв Лаврова. — Тебя, Роман, сегодня сам бог к нам прислал. Ко мне как раз Инна моя на пару деньков заглянула. Так это ж отметить надо. И вы, друзья-гвардейцы, — обратился он к остальным, — надеюсь, ждать себя не заставите. Роман Иванович тоже ведь старый биробиджанец. А сегодня у нас, Роман, дата приметная: ровно сорок лет мы здесь.

Исай Шпарага, энергично бросив под мышку свою «прогулочную» палочку, бодро ответил за всех:

— Против — никого. От рюмки водки да от коврижек к чаю, говорят, грешно отказываться.

— Да, город ваш растет, хорошеет, — шагая рядом с Гавриэлом к дому друга, говорил Лавров. — Сорок лет ему, говоришь? Это когда ж я-то сюда прибыл, а?

— Когда? Дам тебе точную справку: в тысяча девятьсот тридцать четвертом году.

Роман Лавров родом из Галича, что под Костромой, тогда, в 1930-х, служил вместе с Гавриэлом Йошпе на одной погранзаставе на Амуре. Там и завязалась дружба этих двух совершенно разных людей — дружба, которая длится до сих пор. У Романа не было никого из родных и воспитывался он в детском доме. И, случалось, на побывку он приезжал вместе с другом Гавриком сюда, на окраину Биробиджана, которая только начинала застраиваться. Так что ни одно бревно в срубах домов на широкой улице поселка уложено руками будущего профессора.

После окончания армейской службы пути друзей разошлись. Окончивший до призыва фельдшерскую шко-



лу в Костроме, Роман мечтал стать врачом. И когда, как раз в год увольнения Лаврова «на гражданку», в Хабаровске открыли первый на Дальнем Востоке медицинский институт, парень поступил на лечебный факультет вуза. Все студенческие каникулы Роман проводил в доме Йошпе. Гавриэл к тому времени был уже женат и жил в новой просторной пристройке к отцовскому дому. Желая немного подработать, Роман устраивался на лето фельдшером здесь же, в Биробиджане, а по ночам дежурил на машине «скорой помощи».

Оба заядлые рыбаки и охотники, Роман и Гавриэл субботними вечерами уходили в тайгу, в то время подступавшую к городу едва ли не вплотную, а в воскресенье ближе к полночи веселые, пропахшие потом и дымом костров, в сапогах, заляпанных болотной грязью, возвращались из леса с рюкзаками, полными дичи и крупных рыбин.

Навещал Роман дом Йошпе и зимами, приезжая в Биробиджан накануне выходных, случалось, на каком-нибудь «товарняке». Родители Гавриэла принимали Лаврова как родного сына, а перед его отъездом мать Гавриэла вручала гостю торбочку со съестным — неоценимой поддержкой для молодого человека в пору студенчества.

Позднее Роман стал бывать в Биробиджане даже чаще, чем обычно, но на это была уже иная причина.

...Первый раз он увидел Хаюсю Шафран воскресным вечером в вагоне поезда, когда возвращался в Хабаровск. Девушка сидела напротив него у самого окна и при слабом свете верхней лампочки перелистывала книгу — роман Ильи Эренбурга «День второй», в то время популярный у молодежи. В общем вагоне царило шумное весе-

лье: с какой-то экскурсии возвращались в город Комсомольск-на-Амуре ребята тамошних профтехучилищ. Всю дорогу вагон оглашали песни, шутки, взрывы смеха. Роману запомнилось бледное лицо девушки и гладко причесанные волосы с тонкой розовой ниточкой пробора. Одета она была в рубашку цвета хаки с белым воротником (такие рубашки в те годы были в моде у комсомольской молодежи), костюм девушки дополняла черная юбка под цвет туфель на низком каблуке. Особенно запомнились Лаврову большие черные глаза незнакомки – глаза, в которых таилась печаль даже тогда, когда она улыбалась чьей-то удачной шутке. Романа тронула мысль: люди с такими глазами пожалуй что редко бывают в жизни счастливыми...

Когда поезд миновал мост через Амур, девушка надела висевший тут же на стенке черный жакет, переобулась в дерматиновые «балетки» и направилась к выходу. Шумный поток «фэзэушников» вынес чуть замешкавшегося в тамбуре Романа на перрон, но своей недавней попутчицы он не увидел: та уже затерялась в толпе.

Случилось так, что, однажды тоже в вагоне поезда, отправившись на выходной из Хабаровска в Биробиджан, Роман снова увидел ту девушку. Место напротив нее оказалось свободным, и парень немедля поспешил его занять. Она, на секунду остановив на нем взгляд своих больших черных глаз, видимо, узнала его и улыбнулась. Он обрадованно ответил тем же, между ними постепенно завязалась беседа, и оба не заметили, как пролетели четыре часа. Автобусов и уж тем более такси в Биробиджане тогда не было, и приличное расстояние от вокзала до окраинного поселка надо было преодолевать пешком.

Шагая с девушкой по узким деревянным, местами по-

рушенным тротуарам и отыскивая под ногами сухие островки, Роман уже знал, что спутницу его зовут Хаюся Шафран (он тут же мысленно переименовал ее имя с еврейско-украинского на русский лад — «Хаюша»). Год назад она окончила в Чернигове текстильный институт и трудится в должности технолога на местной, недавно открывшейся фабрике, а сейчас вернулась с краевого совещания работников легкой промышленности. И еще Роман узнал, что Хаюся живет в фабричном общежитии — новом двухэтажном доме, мимо которого и надо пройти по дороге в поселок Новый.

Та давняя весна была счастливым временем в его жизни. По субботам он выезжал из Хабаровска пятичасовым поездом «Владивосток — Москва» и в этот день до полночи и все воскресенье — не расставался с Хаюсей. Выбрав места посуше, они бродили по улочкам и задворкам поселка и не замечали женских глаз, следивших за ними из-за оконных занавесок.

В начале лета Хаюся, получив свой первый отпуск, поехала погостить к родителям в Чернигов. Вернуться оттуда ей было не суждено — был июнь 1941 года... Роман, как и Гавриэл, ушел на фронт в самом начале войны. Потом, много лет подряд, Роман пытался найти Хаю Шафран. Пытался... Найти...

Доктор медицинских наук профессор Роман Иванович Лавров, бывает, и сейчас нередко навещается в Биробиджан. Здесь он консультирует врачей областной больницы или читает лекции на курсах усовершенствования медработников (правда, в последнее время он стал выезжать из Хабаровска реже, а из клиники своей вместо себя посылает в областной центр коллег помоложе). Ну а после консультаций Лавров — желанный гость Гавриэла

Йошпе и проводит с ним два-три часа, остающихся до отхода поезда.



Двадцатисемилетний Элик-Илья Йошпе, отслужив «на флотах», окончил строительный факультет Хабаровского политехнического и при распределении из вариантов Солнечное, Советская Гавань, Биробиджан выбрал родной город, в котором предстоит еще столько всего построить! Трест «Биробиджанстрой», где выпускник «политэна» начал и продолжает работать, ему, молодому специалисту и пока еще холостяку, относительно быстро выделили однокомнатную квартиру в новой типовой пятиэтажке, чему парень, не один год проживший в студенческом общежитии, был несказанно рад. Однако в последнее время он нередко остается ночевать в отцовском доме. Может быть, по причине того, что отсюда до стройки ему совсем недалеко.

Год назад, как раз с направлением на работу в «Биробиджанстрой», на автобусной остановке неподалеку от вокзала Элик столкнулся с отцом Жанны Лapidус Нисном, соседом семьи Йошпе.

— Ну, — окинув парня оценивающим взглядом от шапки курчавых волос до остроносых ботинок, поинтересовался у него Нисн, — уже все? Уже инженер?

— Пока что диплом инженера, — отвечал Элик.

Тогда как раз от него, рослого, крепкого не по годам Нисна Лapidуса — мужчины с обветренным лицом и глубоким шрамом на левой щеке (след осколочного ранения) Элик услышал, что Жанна путешествует на теплоходе «Дунай», «катающем» туристов по Средиземному морю. При этом Лapidус не без иронии добавил, что

если бы не он, отец путешественницы из Биробиджана, «простой работяга» с трансформаторного, то Жанна, не смотря на свое «высокое» образование и должность инспектора-криминалиста, навряд ли могла бы себе позволить отдых на теплом море.

Элик старше Жанны года на три или четыре, и хотя оба они в детстве и юности жили по соседству, но были едва знакомы и почти никогда не общались. В годы мальчишества Элику и дела не было до нескладной длиннотой девчонки с соседского двора, с которой дружила его сестра Инна. Спустя год после окончания школы Элик ушел служить во флот, а Жанна как раз в те же годы поступила в Высшую школу МВД в Москве. После службы, учась в Хабаровске, Элик видел Жанну буквально считанные разы, да и то чисто случайно.

...В тот день Элик допоздна задержался на стройке и решил переночевать в старом доме в поселке. Расположился он на ночь – как это бывало летом и в прежние годы – на веранде. Все окна здесь были открыты, а залетающих комаров прогонял прохладный ночной ветерок. Спал Элик крепко, как может спать человек в свои молодые годы под крышей родительского дома. А когда проснулся, во дворе сияло яркое летнее утро, голубоватые тени деревьев на облитой росой траве обещали погожий солнечный день. Натянув свои старые, заваливавшиеся за дверь чуланчика шаровары, Элик бодро направился через двор к колодцу, чтобы окатить себя холодной водой. В эту минуту он и увидел по другую сторону плетня, то есть в соседском дворе, Жанну. Значит, вернулась из своего путешествия. Гибкая, стройная, в черных, туго облегающих ноги брюках и в красной вязаной кофточке, она стояла на табуретке и,

что-то напевая про себя, протираала окна застекленной терраски.

Немного погодя, Элик увидел, как Жанна, выйдя из дома, торопливо шагала к автобусной остановке, и тут же вспомнил, что сегодня утром ему надо быть в управлении треста. На ходу застегивая пуговицы белой рубашки, он тоже заспешил к автобусу.

«Придется подойти к ней поздороваться, — размышлял парень. — Только как к ней теперь обращаться — на «вы» или на «ты»? Она ж вон какая... взрослая». А Жанна поприветствовала Элика первой и как-то просто, по-свойски обратилась к нему на «ты».

— А, Элик! — обрадованно вскинула на него свои удлинненные, чуть раскосые глаза девушка. — Вернулся к родным березкам?

Сойдя с автобуса возле рынка, они шли до здания областного отдела милиции вместе. По дороге к тресту Элик уже в мыслях видел удаляющуюся фигуру Жанны, в его ушах все еще звучал твердый и уверенный стук ее высоких каблуков, уносящий ее в тот мир, о котором он, Элик, имеет представление весьма отдаленное.

Вскоре после этого Жанна вдруг исчезла. Говорили, отбыла в командировку в какой-то район, но в какой — не знала даже ее мать. Однажды Элик слышал, как она, их соседка Гута Лапидус, признавалась его отцу, что очень боится за дочку:

— Ну мыслимое ли дело идти молодой девушке в этот — как его? — уголовный розыск. И не дай-то бог...

Гавриэл утешал Гуту:

— Вы не переживайте. Такие девушки, как ваша Жанна, — человек из тех, что умеют и за себя, и за добрых людей постоять.

Оказалось, что такие же выезды у Жанны были вовсе не редкими, а Элик время от времени ловил себя на мысли, что как будто без особых на то причин думает о девушке из соседского дома. И когда ее не было ни в поселке, ни в городе, он без всякой цели слонялся по улице, всякий раз оказываясь (нет-нет, просто случайно) на тропке вдоль изгороди соседского подворья, и охотней, чем это бывало раньше, поддерживал беседу с отцом Жанны, который постоянно что-то пилил и строгал во дворе. Поздней, чем обычно, возвращался Элик в эти дни и со стройки, где при свете прожекторов работала вторая смена.

Мастер с его объекта Зильбовский, красавец мужчина под сорок, имевший у тех, кто его знал, репутацию ловеласа, как-то остановил Элика возле крана:

— Что я имею тебе сказать, Илья... Там у вас в поселке одна девица проживает — Жанна, Жанна Лапидус. Если не ошибаюсь, она там соседка твоя. Ну та, которую еще врач, хирург этот, все обхаживает...

— Какой еще врач?

Зильбовский, бросив на Элика удивленно-ироничный взгляд, хотел сказать что-то еще, но тут как раз в ворота въехала машина с бетонными плитами (а их монтажники ждали еще с утра), и мастер, махнув рукой, поспешил к панелевозу.

«Врач, хирург?..» — силился как будто что-то вспомнить Элик.

А через два или три дня после того прерванного разговора с мастером Элик, да, увидел Жанну рядом с высоким блондинистым парнем в модном светло-сером костюме. Это и был хирург Валерий Константиновский, буквально весной приехавший в Биробиджан по-

сле окончания ординатуры. Жанна нашла случай познакомиться молодых людей, и Элику почему-то показалось тогда, что франтоватый доктор с горделивой осанкой и подчеркнуто уверенной жестикуляцией посмотрел на него этак свысока.

Вечерами, возвращаясь со стройки в отцовский дом, Элик нередко видел у ворот Лapidусов зеленый «Москвич» хирурга, а из распахнутых окон соседского дома доносились звуки рояля. Судя по всему, фортепианные пьесы исполняли в четыре руки Константиновский и она, Жанна, — оба большие любители музыки. Элику в такие минуты каждый раз вспоминалось, как две девочки — Жанна и его сестренка Инна — с большими черными папками в руках ездили когда-то в город в музыкальную школу. Его, Элика, тоже отдавали в ту школу учиться играть на скрипке, однако особой охоты к занятиям музыкой он не проявлял.

Ночевать в отцовском доме Элик стал все чаще. Смыв с себя дневную пыль и переодевшись в чистое, он отправлялся к остановке автобуса или просто прогуливался по улице в надежде встретить Жанну. Удавалось это ему не всегда: та была либо в очередной командировке, либо возвращалась со службы в поздние часы. В этих случаях Элик считал свой вечер потерянным. Но бывало и по-иному. Вот она вышла из автобуса и...

— Элик? — Жанна стоит перед ним со связкой книг в руке. — Собрался в город, домой?

Да нет и нет, конечно же! Но не скажет же он ей, что только и ждал с ней встречи. Он проводил Жанну до начала их улицы, потом они сделали круг и вышли в слабо освещаемый поселок уже с другого его конца. Прогуливаясь, они делились воспоминаниями о собы-



тиях прошедших лет здесь, на их широкой улице, или в городе, вспоминали своих друзей и общих знакомых, которых у них обоих было немало. А у Элика прямо сердце сжалось, когда, мельком глянув на часы, Жанна направилась к своему дому с освещенной верандой. Правда, потом они долго стояли возле штакетника. Жанна поинтересовалась, какие из ближних домов поселка снесут в связи с запланированной тут «городской» застройкой.

— А что, и наши дома будут сносить?

— Да, и наши будут.

— Жалко, — печально вздохнула девушка. — Ведь мы-то с тобой выросли здесь.

— А ты что, всю жизнь тут прожить собиралась?

— Да нет, я вообще говорю. А вот соседи наши... Столько лет прожить бок о бок, а потом вдруг раз — и разъехаться по разным концам города.

— Ну, во-первых, не все поедут в город. Мы вот-вот начнем вон на той площадке дом на восемьдесят четыре квартиры строить. И во-вторых, не завтра же дома наши под снос пойдут. Только со временем, конечно, и их очередь подойдет.

— И что тогда твой дедушка без своих ульев делать будет?

— А что будет делать твой отец без своих бревен и досок?

И тут оба негромко рассмеялись.

Потом, оставшись один, Элик досадовал: ну не то и не о том собирался он поговорить с Жанной! И отчетливо вспомнил, как они стояли у изгороди и Жанна носком туфли толкнула калитку, а он в этот момент взял в свою шершавую ладонь ее тонкие озябшие пальчики. Она не

отняла руки, только вскинув ресницы, внимательно посмотрела ему в глаза. И чуть заметно улыбнулась. Только при рассеянном свете из окон веранды Элик не мог понять, была та ее улыбка по-девичьи лукавой или попросту насмешливой, и он отпустил ее руку. Вот же, черт возьми! Он же бывший флотский, человек не из робких, да и девушкам, он это точно знал, нравится, а тут заробел как... «Салага!» — ругал он себя.

Попытавшись сравнить свои шансы с очевидными преимуществами хирурга, Элик пришел к печальному выводу: проигрывает он этому Константиновскому по всем статьям. Тот личность в городе заметная, с именем и с положением. О нем даже профессор Лавров как-то сказал больным: зачем-де вам в Хабаровск ехать, если у вас тут врач Константиновский работает? А кто он, Илья Йоппе? «Среднестатистический» инженер. Только и всего...

На днях, выйдя из прорабского вагончика, он увидел проезжавший мимо зеленый «москвичок», за стеклами которого на миг обозначился тонкий профиль Жанны, и так у него сжалось сердце — прямо хоть вдогонку за той машиной беги... А она уже исчезла из виду, промелькнув перед глазами, будто сон.

По дороге домой его остановил Исай Шпарага. С притворно-сочувственной интонацией в голосе, глядя на Элика исподлобья, он произнес:

— Ты не подумай чего, и дай бог, чтоб я тут ошибался, но...

Что-то в этом духе, обильно уснащая речь туманными полунамеками, явно лишними словами и отступлениями, Шпарага заключил:

— В общем, с твоего позволения я хотел тебя, так ска-

зять, поставить в известность, что Жанна со своим доктором поехала в город на какой-то концерт.

Элик был неприятно удивлен: ему ведь даже и в голову не приходило, что в поселке, где всегда все знают обо всех, досужие кумушки давно точат языки о его отношениях с Жанной Лапидус, и он тут же живо представил себе, как они судачат об этом, облизывая губы и выразительно играя глазами... Не успев что-то обдумать и взвесить все эти «за» и «против», Элик остановил грузовик со знакомым шофером и, запрыгнув в кабину, коротко бросил:

— Мне во Дворец культуры. И бекицер, Шурик!



В ДК он вошел перед самым началом концерта. Билеты в кассе еще были, но только в последних рядах. Заняв свое место, Элик внимательно оглядел зрительский зал, однако Жанны и хирурга не увидел. Но вот из-за кулис вышла молодая женщина, директор Дворца культуры, и объявила, что сейчас выступит известный пианист из Германии (она назвала его фамилию). Затем на ярко освещенной сцене появился высокий плечистый мужчина в черном фраке. Он сел за фортепиано, но прежде чем играть, повернулся на вращающемся стульчике лицом к залу и несколько секунд пытливо всматривался в первые ряды.

В антракте Элик вышел в фойе. Ему сейчас хотелось побыть одному. Но тут, прямо как назло, к нему подошла знакомая девушка, тоже инженер-строитель, в недавнем прошлом — его однокурсница. С похвалой отозвавшись об исполнительском мастерстве пианиста, она как бы между прочим посетовала, что в «Целинстрое», где она

работает, ей постоянно приходится быть в разъездах по районам, и она хотела бы перейти куда-нибудь в другую строительную организацию. Например, туда, где трудится он, Йошпе. Довольно рассеянно слушая это, Элик все время обшаривал глазами фойе, но хирурга и Жанны нигде не было.

В зале еще звучали «заключительные» аплодисменты, а Элик уже стоял за колонной у выхода из вестибюля. Он не мог побороть в себе упрямого мальчишечьего желания непременно увидеть их вместе — Жанну и Константиновского. Людей из зала выходило много, он терпеливо ждал и наконец увидел их — нарядно одетую Жанну и ее кавалера. Элик расслышал, как тот проговорил ей:

— Да, техника действительно впечатляет, но исполнение... Как-то рационалистично, знаешь. Холодно, я бы сказал...

— Ты здесь? — удивилась Жанна, заметив Элика. — А мы тебя не видели.

— С работы... Опоздал.

Элику не хотелось продолжать разговор. Ему показалось, что во взгляде Жанны промелькнула тень сомнения.

— Ну идем, Валерий отвезет нас домой, — улыбнулась она.

— С превеликим удовольствием, — повернувшись к Элику, поддержал предложение спутницы Константиновский.

— Покорнейше благодарю, — в тон ему отвечал Элик, и Жанне: — Сегодня я остаюсь здесь, дома у себя.

В поселок он возвратился затемно, последним автобусом. Не надо объяснять, в каком настроении. Неохотно поев

оставленное для него на столе, полистал папку с чертежами «на завтра» и лег спать. Заснуть сразу не удалось. В голове бились мысли: «Нет, я должен, просто обязан сказать ей все... Сказать завтра же! Хотя разве не ясно, что... В общем, надо со всем этим кончать! И без никаких!..»

На следующее утро к дому Лапидусов подъехала милицейская машина, и Жанна вместе с инспектором ОБХСС<sup>1</sup> на всю неделю уехала в Смидовичский район. Вернувшись из поездки уже под вечер, она опять увидела на автобусной остановке Элика. Они немного прошлись по окраинным, безлюдным в это время улочкам, и перед тем как повернуться к дому, Элик на секунду остановился и спросил:

— Жанна, с хирургом, то есть с Валерием... это у вас серьезно?

В ответ он не услышал ни слова. Почему? Может статья, он затронул нечто такое, чего ему касаться вовсе не следовало? Да, она промолчала. Но при слабом свете одинокого уличного фонаря в ожидании хоть какого-то ответа он заглянул в ее лицо и не уловил в спокойном взгляде девушки ни тени отчуждения. Сердце парня, на миг окрыленное надеждой, радостно забилося. Однако, если по правде, на что он может рассчитывать? Только чем объяснить ее молчание? Возможно, пока что-то не ясно и ей самой?..

По дороге в город Элик остановил мотоцикл перед ограждением одной из стройплощадок, где, наверстывая упущенное, сейчас, в конце квартала, бригада монтажников работала и в эту субботу. Элик, отдав несколько

---

<sup>1</sup>ОБХСС — отдел борьбы с хищениями социалистической собственности.

распоряжений мастеру участка, вернулся к ожидавшей его Жанне и прежде чем запустить движок своего ИЖа, обратился к ней:

— Товарищ старший лейтенант, мой старик собирается устроить сегодня маленький сабантуй. Во-первых, в честь вчерашнего визита моей сестрички, во-вторых, в честь сорокалетия нашего поселка. Так что уж пожалуйста к нашему столу. А что ты улыбаешься?

— Так я же сама дяде Гавриэлу только что и напомнила о твоём «во-вторых»...



Вечером все окна большого дома Йошпе светились по-праздничному ярко.

Вот в боковой комнатке у шкафа с зеркалом прихорашивается уже немолодая женщина — дальняя родственница покойной жены Гавриэла. Года три назад она уехала в гости к замужней дочери в Москву и вскоре, выйдя там замуж за вдовца-пенсионера, на Дальний Восток больше не вернулась. Теперь она приехала в Биробиджан, чтобы продать свой дом и заодно навестить родственников и многочисленных знакомых.

— Элик, ты можешь мне сказать, зачем ты в свои такие молодые годы торчишь на этой периферии, как твой отец? — вопрошает она младшего Йошпе. — Приезжай ко мне в Москву. Я тебя там женю так, что ты будешь иметь и квартиру, и «Волгу», и дачу!

— Ну а девушка, тетя Ципа, невеста то есть, будет мне хотя бы в придачу? — живо интересуется у столичной тетушки Элик.

В самой большой комнате дома за накрытым столом на почетном месте сидят профессор Лавров и девяно-

стодвухлетний Гдалье, отец Гавриэла, сгорбленный старик в старомодном суконном костюме. Под незастегнутым пиджаком у него — тоже на старинный лад — жилетка, надетая на белую накрахмаленную рубашку, воротник которой явно велик для темной морщинистой шеи деда. Один глаз Гдалье немного косит, и это придает его как бы по-птичьи заостренному бритому лицу такое выражение, словно он вот-вот выдаст какую-нибудь едкую шуточку.

— Слушай сюда, Роман, — осаждает он профессора. — Говорят, что от вашего этого рака нет лучшего средства, чем бутылочка «таежного» пива. И что, таки правда?..

Старик убежденно заявляет, что в прежние времена профессора были не то что нынче, и рассказывает (уже в который раз) о том, что помещик Косинский, у которого он, Гдалье, когда-то служил на винокурне, был в Петербурге профессором. Так вот когда этот Косинский, бывало, уходил из дому в шляпе, то возвращался без нее — такой был рассеянный. Зато какие высокие мысли имел человек в голове!

Гдалье говорит по-русски так, как человек из Центральной России: четко выговаривает «р» и твердо — звук «ш». До революции дед работал у богачей на винокурных заводах в деревнях, где евреям жить не разрешалось по закону.

Нужно сказать, что Гдалье Йошпе — что называется, человек с биографией. Вместе со старшим сыном Гавриэлом он был в числе тех «первооткрывателей», которые и нашли клочок относительно сухой земли на месте, где начал строиться нынешний поселок Новый. Вместе с Гавриэлом он, на удивление всем, разбил здесь сад. Да такой, что через несколько лет на него приезжал посмо-

треть из Хабаровска сам Лукашов, известный на Дальнем Востоке ученый-садовод.

Несмотря на свои «тогдашние» пятьдесят с лишком лет, переселенец Йошпе пошел работать в стройконтору плотником — это была в те годы самая востребованная профессия в юном, поначалу сплошь деревянном городе.

Случилось так, что перед самой войной Гдалье вместе с женой, всегда тосковавшей по родным местам и родне, поехал на запад. Там их и застигла война. Мать Гавриэла, как и все ее родственники, погибли в гетто, а Гдалье оказался среди считанных обитателей лагеря, которых колхозникам из ближней деревни Ситное удалось переправить в Гутские леса, а оттуда — к партизанам Ковпака.

До сегодняшнего дня в одном из ящиков комода в большом доме Йошпе хранятся фотоснимки — гордость Инны и Элика в пору их пионерских лет. На одной из фотографий запечатлен их дедушка Гдалье в группе бородатых партизан в телогрейках и с автоматами; на другом фото — партизаны, снявшиеся со своим командиром Сидором Ковпаком на фоне лесистых Карпатских гор.

Ест сейчас Гдалье мало, но за обедом по старой привычке стопку «Столичной» нет-нет да и опрокинет. При этом страдальчески морщится и с притворным удивлением произносит:

— Неужто от этого можно опьянеть, а?

Зимними вечерами он сидит перед телевизором и обо всем увиденном готов тут же высказать собственное и, конечно же, неоспоримое суждение. Летом с утра до вечера старик с опущенной на лицо марлевой сеткой и с веничком из гусиных перьев в руках хлопочет в саду возле своих «уликов».



С некоторых пор Гдалье начал всех уверять, что ему не девяносто два, а на целых десять лет больше. И когда к Элику заходят друзья, он любит разыграть перед ними роль личности легендарной, например, выдавая себя за николаевского солдата: «Мы, старые кантонисты...»; «А как-то Николка Первый этот, да сгинет имя его...», — начинает «вспоминать» дед... Его, бывает, прервут: «Реб Гдалье, что-то у вас тут не срastaется». На что рассказчик, уставив на скептика немигающий взгляд, отвечает вопросами: «Что это у тебя тут не “срastaется”? Царь Николай Первый был?» — «Ну был». — «Кантонисты были?» — «Знаю, были, да». — «И что же тебя смущает?» — «Да то, что вы, дедушка, николаевским солдатом были. На фантазию похоже». Гдалье посмеивается: «И к чему тут такое интеллигентское слово? “Фанта-а-зия”. Ты, верно, хотел сказать “брехня”? Ну что? Тогда прямо в точку! — заливи-сто хихикает дед. — Таки брехня».

Частенько он забывает, что эта его шутка давно всем известна и опять ее повторяет, чем Исай Шпарага, считающий себя человеком образованным, тут же не преминет воспользоваться:

— Вот вы, реб Гдалье, говорили, — намеренно громко начинает он на этот раз, обводя глазами всех сидящих за столом, как бы приглашая их повеселиться, — говорили, что собственными глазами видели графа Льва Николаевича Толстого?

— Да вот как тебя сейчас вижу.

— Вот оно как! И где же вы его, реб Гедалье, видели? Никак в Ясной Поляне?

— Ну нет.

— А где ж тогда?

— Да тут рядом. У Элика на этажерке, — придя в восторг от собственной остроты, закатывается смехом старый. — Ну что, купил, а? Демагог ты и есть.

В гостиную входят Гавриэл и Инна. Он в черном костюме и в белой нейлоновой рубашке с «артистической» бабочкой вместо галстука, надетой по настоянию дочери. «Ну ты у нас, папа, прямо как премьер-министр!» — оглядев ладную фигуру Гавриэла, оценила его наряд Инна и чмокнула отца в щечку. Сама она кажется сейчас выше ростом по причине высоких каблуков и живописной прически.

Брат Жанны, Наум Лapidус, пока не все заняли места за столом, тенью ходит за Инной по всем комнатам. Наум — высокого bruneta лет тридцати по внешности можно легко принять за кавказца. В поселке все знают (а здесь всегда знают все!), что Лapidус-младший еще со школьной скамьи влюблен в Инну. После школы она уехала в Новосибирск, где поступила в консерваторию, а он, Наум, — в Москву, в ВТУ имени Бумана. Инна так и осталась в «своем» Новосибирске, а Наум возвратился в родные пенаты и работает главным технологом на трансформаторном заводе.

Узнав из газеты о концертах новосибирцев в Хабаровске, Наум в субботу вечером отправился туда, чтобы повидаться с Инной. Он не знал, что она собирается заехать к отцу, и не без труда пробился в артистическую, где певица, веселая и возбужденная после только что закончившегося концерта, отдыхала в кресле перед большим зеркалом. Обрадованная нежданной встречей, Инна попросила Наума подождать, пока она переоденется в соседней комнате.

Они вышли из Дома офицеров и направились по ули-

це Карла Маркса к гостинице «Дальний Восток», где остановились сибирские артисты. Идя рядом с Инной, слушая ее голос, Наум остро ощутил, что годы так и не смогли вытравить из его сердца ту — неразделенную — любовь к однокласснице.

Они вошли в заполненный людьми, шумный в этот час ресторан, с трудом нашли свободный столик.

— Ты что же, так и не женился, Наум? — спросила Инна.

— Как видишь, — невпопад ответил он.

О ее жизни сам он имел представление весьма смутное: кто-то говорил, что его старая любовь якобы замужем за научным сотрудником из Академгородка. Ходил в поселке слух, что первым мужем Инны был певец из ее театра. Когда-то близко знакомые, они долго говорили в тот вечер, так что Наум едва не опоздал к ночному поезду.

Сейчас он видел Инну среди родных и словно бы узнавал ее заново: милая, спокойная, олицетворение самой женственности, она нисколько не походила на ту гордую и величественную особу, что стояла на сцене, у рояля, в окружном ДОСА.

...Несколько стесненные присутствием именитого профессора, гости Йошпе поначалу чувствовали себя несколько скованно. Необычно робким выглядел сейчас Собибенко: испытывающий глубокое уважение к «такому человеку», он только слушал, о чем говорят другие, и лишь молча улыбался. Вскоре, однако, бывший пациент хабаровского доктора убедился в том, что тот не очень-то и выделяется из «поселковых» и разговаривает на простом и вполне понятном языке о вещах обыденных. «Гавриэлов» профессор, оказывается, как и сам он, Николай

Собибенко, хорошо помнит тех, кто создавал и обживал поселок Новый, и сейчас оба они — этот доктор и Гавриэл — вспоминали давно забытые комические истории из того времени, когда прибывающие на станцию Тихонькую, а позднее — в рабочий поселок Биробиджан, без особой охоты строили собственные дома в нынешней, страшно заболоченной тогда центральной части города, а «разбегались» по относительно сухим «островам» поодаль от железнодорожной станции. Так и возникли Новый и «Лукаши», Кирпичики и Августовский, Тукалевский и Партизанский... Некоторых гостей удивляла осведомленность хабаровчанина в истории города, поселка и всего, что касается семьи Йошпе. Случается, что даже родственники знают друг о друге меньше, чем знают один и другой, сегодняшний гость в доме Гавриэла и хозяин этого дома.

Мало-помалу к разговору двух старых друзей о делах лет минувших присоединяются все присутствующие. Кто-то с дальнего конца стола обращается к Жанне (она сидит рядом с Эликом с красной розой в пышных волосах):

— А что скажет о нашем юбилее товарищ старший лейтенант Лапидус?

Жанна, да, знает все или почти все, что касается истории областного центра, включая сюда историю нескольких поколений переселенцев. Ей известно, кто какой оканчивал вуз, чьи портреты украшают городскую доску Почета, кто из биробиджанцев стал кандидатом или даже уже доктором наук, каких писателей и деятелей искусства город подарил миру.

— Ну просто живая биробиджанская энциклопедия! — слышится восхищенный возглас.

Тут не упускает подходящего момента дать знать о

себе Шпарага. Играя круглыми смеющимися глазами, он говорит:

— Жанночка, а не вспомнишь ли ты про бабушкин талес?

Да, курьезный тот случай пришелся на то время, когда она, Жанна, выпускница «Вышки», только что приехала из Москвы. В горькоме комсомола ее тут же «прикрепили» тогда к поселковой агитплощадке, и девушка, с увлечением принявшись за дело, задумала создать здесь же уголок атеиста. Она знала, что несколько евреев поселка посещают синагогу, живут в Новом также кержаки-старообрядцы, есть здесь и сектанты. С этими людьми и надо было поработать. И хотя в ее милицейской школе читали лекции по научному атеизму, у Жанны, честно сказать, были не очень-то глубокие знания в этой области. Чем тогда и воспользовался Исай Шпарага, выдававший себя за человека религиозного. Как-то Жанна и встретила Шпарагу, неторопливо прогуливавшегося по улице со своей неизменной тросточкой. Надо сказать, что незадолго до этого Жанна, подыскивая экспонаты для вышеупомянутого уголка, на чердаке у одной старушки случайно обнаружила книгу, напечатанную еврейскими буквами, с рассыпающимися в руках пожелтевшими листками. О предназначении своей находки Жанне догадаться было нетрудно, но что собой представляла книга и как она называлась, девушка знать, понятно, не могла. Вот она и попросила при встрече со Шпарагой, в общих чертах описав ему старинную богослужебную книгу, объяснить, что она собой представляет.

— Да как мне не знать, что ты там раскопала? Талес это. Запомни: «та-лес», — с готовностью ответил Жанне «товарищ Шпарага», глядя куда-то поверх ее головы.

Приняв слова Исаю за чистую монету, в тот же день, стоя у плетня в своем дворе, она сообщила о своей находке соседям — Гавриэлу и Гдалье:

— Просто музейная редкость этот старый талес бабушки Мэры. Правда, там странички рассыпались.

Гдалье в откинутой с лица марлевой сетке, похожий на араба в чалме, как раз собиравшийся проведать своих пчел, выразительно крикнув, переспросил:

— Странички, говоришь, рассыпались? Гавриэл, ты слышал такое? Талес, да еще со страничками. Это надо ж так!.. Да был бы, Жанна, у той бабушки талес, она бы, как вот я, дедушкой была! — рассмеялся старик.

Но сейчас-то Шпарага вынужден признать, что Жанна, перечитав уже не один десяток книг о религиях, может, по его же словам, быть сразу и раввином, и попом.

Исай Меерович Шпарага к числу наиболее уважаемых людей поселка, правду сказать, не относится. Приехал он в Биробиджан уже после войны из Узбекистана, куда попал по эвакуации. Говорит всем, что имеет высшее образование, и при этом кому-то сообщает, что у него такая-то специальность, а кому-то представляется специалистом вовсе в другой области. Только при всем при этом по приезде в город он пошел работать в госбанк обыкновенным инкассатором. С Гдалье он не в ладах с первой же с ним встречи (было это на похоронах одного старого еврея). Так вот Шпарага, тогда стремившийся заслужить у посетителей синагоги репутацию человека, искушенного в Святом писании, вызвался прочитать заупокойную молитву. Он начал ее петь, но тут же выяснилось, что наизусть он ее текста не помнит. Наскоро закруглившись с пением, Шпарага перешел на обиходный идиш, пожелав на нем отошедшему в мир

иной вечного покоя в светлом раю. Гдалье тогда упрекнул Ися:

— Вам, уважаемый, стоило бы соизмерять свои «хочу» и «могу», а то ведь...

— Что вы этим хотите сказать? — прервал старика Шпарага.

— А то, что слышал я этот ваш «упокой».

Тот насутился:

— Ну слышали... И что? Что это доказывает, я хочу спросить.

— А то, что, с позволения сказать, ваша «молитва»...

— Да что вы за нее цепляетесь? Кто вы такой? Атеист ведь? Так что нет у вас никакого права вмешиваться в наши религиозные дела. У нас, гражданин Йошпе, свобода совести!

— Да, но так все исказить и перевернуть...

Шпарага возмутился:

— Исказить? Граждане, будьте свидетелями: он здесь оскорбил чувства верующего. А за это можно ответить! В Уголовном кодексе специальная статья есть...

Однако позднее, когда Шпарага купил домик по соседству с усадьбой Йошпе, он стал частенько заглядывать к Гдалье.

— Реб Гдалье, — как бы между прочим вставлял он в разговор со стариком. — Лет вам, не сглазить бы, уже таки порядочно. Вот и ходили бы к нам в субботу помолиться. А то у нас, бывает, до миньяна людей не набирается — старики! Тот не пришел, этот прихворнул... А у меня, реб Гдалье, есть пластиночка — там кантор Сирота поет: чудо, какое исполнение!

Так вот я и поставлю проигрыватель...

— Ай-я-яй, Исайка, — с сокрушенным вздохом отвеча-

ет на уговоры Гдалье, оглаживая ладонью бритый подбородок. — Какой из меня, по чести сказать, ходок в синагогу! Я по субботам работаю.

— Ну, это не так-то уж страшно.

— А еще, Исай, трепное я ем.

— Это ничего.

— А то, что не верю я в Бога, это тоже ничего? — с насмешкой вопрошает дед.

— Это вам просто кажется так, реб Гдалье, — мягко и вкрадчиво продолжает Шпарага. — Конечно же, в нас нет уже той веры, что у наших дедов была. Но вы же знаете, реб Гдалье, что мудрецы говорят? А говорят они, что все течет, все меняется. Само собой, и религия входит в это «всё». Так что и в Бога люди стали по-другому верить.

Сам Шпарага не пропускал ни одной лекции на агитплощадке, где своими, зачастую нелепыми, вопросами пытался посадить лектора в галошу. Выступал же он не просто от себя, а по его собственному выражению, «от имени группы пожилых людей».

— Уважаемый товарищ лектор, тут у нас, у стариков, возник вопрос такого рода. Вот вы тут только что говорили, что...

Кто-то в поселке обозвал Шпарагу демагогом — словечком, которое закрепилось за Исаем как прозвище.

Недавно Шпарага ушел на пенсию и тут же неожиданно-негаданно объявил на весь поселок, что порывает с религией раз и навсегда, что к такому решению он пришел после долгих раздумий и основательного изучения авторитетных источников. Да, он осознал, что религия — это таки действительно реакционная идеология и опиум для народа, как писал на этот счет Фридрих Энгельс.



Шпарага одет всегда, что называется, с иголочки, на его добродушном лице под белой щетинкой щек играет румянец. Неизменно общительный, он любит подолгу разгуливать по поселку и рассказывать свежие (по его убеждению) анекдоты.

Сейчас, за столом у Гавриэла, он пытается быть в центре внимания.

— Давненько мы не виделись с вами, Роман Иванович, — громко, через весь стол, обращается Шпарага к профессору.

Лавров близоруко всматривается в лицо Исае: скорее всего, он знаком с ним просто как с бывшим пациентом, не более того.

— Ну так и хорошо, — негромко, как бы про себя произносит профессор. — Очень хорошо, что давно не виделись. Чем реже с нашим братом имеешь дело, тем оно и лучше.

Шпарага пропускает эту реплику мимо ушей. Ему так хочется здесь, на людях, завести с Лавровым разговор «ученый», чтобы блеснуть своей «образованностью».

— А далеко ли, Роман Иванович, вы и ваши уважаемые коллеги продвинулись в области трансплантации сердца? Я тут слышал, что...

Он «слышал»... Окружающим вовсе не хочется слушать разглагольствования Шпараги, и они углубляются в воспоминания о годах давних. Кто-то спорит, кто-то пытается разобраться, чей эшелон прибыл на Тихонькую раньше других, кого можно считать «Колумбом», открывшим то место, на котором ныне располагается поселок, и кто дал ему русское название «Новый», сразу переведенное на идиш словом «Найштот» («Новый город»). Сейчас это слово, написанное

когда-то на самодельной вывеске из двух досок, установленной у въезда в поселок, изрядно потерлось и вид вывески никак не ассоциируется с новизной. Скорее, совсем наоборот.

Столы уставлены тремя рядами тарелок и мисочек: в них рубленая печенка, зельц, кетовая икра, яйца, жареный язык, редис... Меж тем женщины-соседки подносят все новые блюда и расставляют по столам разнокалиберные бутылки. Такие же бутылки можно видеть сейчас и на кухонном столе: жители «Нового города» никогда не приходят в гости с пустыми руками. В большой гостиной шумно, звучат шутки, смех.

— Нет-нет! — трясет головой один из поселковых старожилов, — лично мне об этом даже подумать тошно. Ну хорошо, ну дали мне тут квартиру с удобствами. И что мне те удобства? А где мой двор? Где сарайчик, в котором я свою чушку и кролей буду держать?

— Да уж! — смеется Наум Лapidус. — Проблемка действительно не из простых.

Элик, сидящий рядом, легко пожимает под скатертью руку Жанны и тоже вступает в разговор:

— Ну что вы тут расхныкались! Город породниться с вами хочет. Можно сказать, засватать эту вашу деревеньку желает, а вы... Возле старых, но вполне приличных домов мы здесь построим новые, а халупы, которые только вид улицы портят, конечно, уберем. Или прикажете ждать, пока они сами развалятся?

И он перечисляет все, что намечено в поселке построить за пятилетку по генплану.

— О, вот это дело! — радостно переглядываются старые «новгородцы», которых в поселке к «экстремистам» начали относить. Они уже слегка захмелели и чувствуют

себя свободнее: — Вот теперь, Гавриэл, здесь у нас и правда новый город будет!

— За наш «Найштот», за наш новый город! — восклицает кто-то, и засим все выпивают за «именины» поселка.

Шпарага, опрокинув рюмку, пытается негромко пропеть что-то из репертуара хазанов:

*Ай, деревья расцветают,  
Ай, как годы пролетают.  
Время их уносит,  
словно дым...*

Кто-то из близко сидящих к Исаю старожиллов возмущается:

— Что значит «как дым»? Впустую, выходит? По твоей этой песенке получается, что ничего не сделано. Так что ли?

Другие поддерживают приятеля:

— И таки да! Не совсем, как дым.

А старый Гдалье верно переоценил сегодня свои силы. К тому же к нему подсаживался Шпарага и услужливо подсунул ему стопочку «ерша». На старика это тут же подействовало. Он обвел посоловевшими глазами гостей: почему не поют, почему он не слышит голоса Инны? Ну а что касается его, так он, если будет позволено, может запеть первым... И не ожидая испрошенного позволения, Гдалье хриплым, непослушным исполнителю голосом вперемешку «пропел» несколько куплетов старых песен: «Соловей, соловей-пташечка...», «Боже великий, возносим Тебе хвалу...», «Шлойме Горгл умер. Что же делать Хаве?..»

Элик пытался утихомирить деда, но тот разошелся не на шутку и объявил, что хочет танцевать фрэйлэхс. Встав посреди комнаты, Гдалье подвернул полы длинного старомодного пиджака, деловито закатал рукава, но, почувствовав предательскую слабость в ногах, опустился на диван и задремал. И тут же тишину в гостиной нарушили голоса женщин: «У нас же здесь Инна! Инночка, спой нам что-нибудь»; «Инна, пожалуйста, "Румчи-друмчи"!».

Да, песню эту Инна помнила с детства. Не заставив себя упрашивать, она села у старого рояля, на котором не играл никто с тех пор, как она покинула родительский дом, взяла несколько аккордов, и вслед за этим дом наполнился звуками ее сильного красивого голоса. «Разменный же мне двадцать пять рублей» — пела она. Всем собравшимся в доме Йошпе песня эта была хорошо знакома — ее нередко передавали по местному радио. Но как трогательно и нежно, с какой теплотой и грустью звучали в эти минуты слова старой песни в устах певицы!

«Румчи-друмчи»... Гавриэл смотрел на дочь, и в его восторженном взгляде, казалось, отражался свет какого-то иного, нездешнего мира. «А завтра она улетает, — теснилась в сознании отца тревожная мысль. — И снова разлука на годы...» Гавриэл чувствовал, что на этот раз для него будет особенно тяжело провожать Инну. Да, если время чем-то и вправду похоже на дым, то с возрастом дым этот все ощутимее начинает пощипывать глаза.

Когда Инна закончила петь, Лавров, тихонько выйдя из-за стола, вышел в соседнюю комнату. В этом доме ему знаком буквально каждый уголок. Роман достал со стеллажа, заставленного книгами, тоже давно знакомый ему пухлый фотоальбом в красной плюшевой обложке и пригнулся к нему возле журнального столика.

На страницах альбома — опять же знакомые ему виды и сценки. Вот он и Гавриэл на пограничной заставе. Оба чубатые, улыбающиеся и молодые-молодые! Вот уже «гражданский» Гавриэл стоит на лесах строящегося деревянного дома в телогрейке и с топором в руке. А вот школьница Инна — две косички торчат из-под белой вязаной шапочки, за плечами — коньки-снегурочки. Другой снимок — Инна, уже взрослая, у рояля. А здесь фотограф запечатлел ее в длинном платье и с веером в руке — Инна в роли Кармен. А вот и он сам, студент Ромка Лавров, рядом с Хаюсей... Какое милое девичье лицо смотрит сейчас на него с пожелтевшего снимка! И он, рослый, широкоплечий, в сапогах и в еще не доношенной гимнастерке со следами споротых петлиц... Это они сфотографировались перед самым отъездом Хаюси на ее родину, на Украину.

Так он сидит с альбомом на коленях и, хмуря густые, тронутые сединой брови, пытается мысленно перенестись в те далекие годы. Роман снова всмотрелся в лицо Хаюси. Обыкновенное лицо. Нет и нет! Необыкновенное! Удивительно прекрасное лицо! И оно волнует его до сих пор, А разве ж он может когда-нибудь забыть-запомнить выражение ее больших глаз, с такой печалью смотревших на мир?.. Давно, перед уходом на фронт, он оставил у жены Гавриэла несколько ценных книг по медицине и вот эту фотокарточку.

Лавров обернулся по сторонам. Нет, в комнате только один он. Бережно отделив фото от альбомной страницы, Роман так же бережно положил снимок в нагрудный карман и смахнул со лба пот, будто только что закончил тяжелую работу. Чтобы немного освежиться, он вышел через веранду во двор. Теплый ночной ветерок чуть

слышно перебирает листву высоких тополей возле крыльца. Сверкнули и погасли во тьме искорки двух светлячков. Над крышами поселка в этот час поднималась большая желтая луна. Из-за деревьев Лавров увидел Жанну и Элика, спускавшихся по ступенькам во двор.

И снова Роман вернулся мыслями к людям, которые сегодня здесь, в этом доме, как большой праздник отмечают день рождения своего островка-поселка. Они построили его собственными руками на дальневосточной земле – на земле, которая стала для них родным домом. И еще Лавров подумал о судьбе трех поколений этой близкой ему семьи, волею обстоятельств ставшей частицей его собственной жизни.

— Роман! — слышит он голос Гавриэла. — Где ты, Роман?



**Митчел Сипорин (1910–1976). Семья рабочих.**

Из альбома гравюр чикагских художников «Подарок Биро-Биджану», 1937 г.



## РОМАН ШОЙХЕТ

### Дождь

Резкий звонок телефона, словно бы сердясь, что на него не отреагировали, зазвучал вторично, и тогда Григорий нехотя встал из-за стола. Прожевывая кусок хлеба, проворчал:

— Пообедать спокойно не дадут!

Взяв трубку, он все тем же недовольным тоном проговорил:

— Да-а. Задорожный слушает!

Но, узнав шефа, как Григорий про себя называл Бочкарева, секретаря райкома партии, которого возил, деловито ответил:

— Сейчас буду!

Спустя несколько минут Бочкарев, оторвавшись от бумаг, поднял глаза на Григория.

— Уже тут? — спросил он. — И пообедал? Молодец! А как машина? Добро! Тогда вот что, Гриша, надо немед-



ленно съездить в Тихий и привезти сюда артистку Лию Лифшанскую. Слышал о такой?

Григорий отрицательно покачал головой.

— Неужели?! Ну, теперь услышишь! У нее голос — высший класс! — сказав так, Бочкарев вскинул худую, узкую в кисти руку, близоруко сощурившись, глянул на часы, и продолжал: — А теперь — жми. Сейчас полвторого, так что к девяти, ну максимум к десяти вернешься назад.

— Если это артистка, Юрий Андреевич, то нехай «козел» отдела культуры и сбегает за ней. А у моей «Волги» задний мост и без того гудит, — попытался было отказать Григорий.

— Понимаешь, неудобно как-то получится, — мягко настаивал Бочкарев. — Все-таки заслуженная артистка республики. К тому же еще и пожилая. Так что поезжай-ка ты.

— С этими поездками меня моя Вера скоро из дома выгонит, — направляясь к двери, проворчал Григорий.

Но Бочкарев услышал.

— Наоборот, — улыбнулся он. — Приедешь, сводишь Веру на концерт, и она тебе скажет спасибо.

— Скажет, как же...

Спустя несколько часов Григорий вез в свое Леташино известную певицу, да не одну, а с двумя пожилыми аккомпаниаторами. Ходкая «Волга», плавно покачиваясь на выбоинах, подминает под себя километр за километром. А впереди все равно еще долгий путь. Сразу же за городом к дороге, словно расшалившиеся дети, сбежались небольшие горбатые сопочки и, стеснив ее, тесной гурьбой провозажают до самой низины, что перед Леташиным.

Теперь середина осени, и сопочки, поросшие смешан-

ным лесом, разделись в красочные наряды. В такое время, хоть расстояние между Тихим и Леташиным довольно приличное, сопочки обычно радуют глаз, но это в погожие дни.

А сегодня, как на грех, пасмурно. Серое небо низко нависло над землей. Тяжелые тучи, грузно проплывающие над сопками, как бы придавили их, стерли с них яркие тона, и красочные одеяния деревьев как бы потускнели, погасли. Временами припускает мелкий, нудный дождь, и тогда откуда-то сверху, раз за разом срывается холодный ветер и с неистраченной силой то стучится в стекла машины пригоршнями воды, то швыряет в нее сорванным мокрым листом.

К бокам «Волги» листья прилипают плотно, держатся прочно и долго, а если попадают на капот, то их шевелит вихрящимся потоком воздуха, и они трепыхаются, будто живые.

Вокруг холодно, слякотно. А в машине тепло, дремотно. От монотонного жужжания обогрева, от шороха щеток по ветровому стеклу да плавных покачиваний на выбоинах дремлют спутники артистки, привалившись к дверкам. И сама она временами тоже вроде бы засыпает. Тогда голова ее, повязанная широким ярко-красным мохеровым шарфом, тихо клонится к груди. Но ненадолго. Спыхватываясь, женщина как-то смешно вскидывает голову, смущенно косится на Григория, длинными пальцами с наманикюренными ногтями мягко мнет веки и... снова засыпает.

А Григорию ничего — привык. Руки его спокойно лежат себе на матовом круге рулевого колеса, а чуть сощуренные серые глаза цепко ощупывают набегающее гравийное полотно. И думки его, тоже неспешные и плав-

ные, как покачивание «Волги», ровным шлейфом стежутся параллельно дороге.

«Дремлет певичка, — изредка поглядывая на женщину, думает Григорий. — Небось устала. Да оно и неудивительно. Выступает, должно быть, часто и помногу, мотается по всяким местам и дорогам, а года-то, поди, у нее немалые, хоть и выглядит моложавой. Интересно, есть ли у нее семья: ну там муж, дети? Ведь они, артисты, говорят, неделями, а то и месяцами дома не живут. Каким, скучно без семьи или нет? Вот и эта приехала аж из самого Ленинграда (он об этом прочел в красочной афише у Дворца культуры), на край света, можно сказать, забралась, в места, где Макар телят не пас. Тоже, поди, давно из дому. Не приехала же она на Дальний Восток только ради того, чтобы спеть в Тихом да Леташино? Где-то уже выступала да еще, поди, будет петь? Так вот, ей сумно бывает блукать по стране, или нет? — Григорий скосил глаза на женщину, вздохнул и, вдруг вспомнив мать, подумал: — Не-е, моя старуха не смогла бы эдак. Ее озолоти — никуда не поедет. Она хоть и сварится на внуков, и воюет с ними, а жить без этих неслухов и одного часа не может».

Григорий мысленно видит мать — постаревшую, сухонькую, с коричневыми, вечно занятыми работой руками. Сейчас она далеко, живет со старшим сыном на Кубани, но он и здесь, за тысячи верст, через всю Россию ощущает ее тепло. Матери не хватает Григорию, после службы оставшемся в дальневосточном селе.

Не упуская из вида ставшую осклизлой дорогу, Григорий то и дело взглядывает на артистку. И он вдруг замечает, как сильно она изменилась за то сравнительно небольшое время, что они в пути. В Тихом она вышла из Дворца культуры упругой, молодой походкой и показа-

лась тогда Григорию красивой, элегантно-строгой. А теперь перед ним будто другой человек. Он замечает седые корни крашеной прядки волос, выбившейся из-под шарфа. У сомкнутых глаз, подведенных краской, видит густую сетку морщинок, не разглаживающихся даже во сне, чуть посиневшие расслабленные губы мягкого, доброго рта и по-сыновьи жалеет эту уже немолодую, уставшую женщину.

По складу характера Григорий не может вот так вдруг ни с того ни с сего сказать ей об этом. Зато проявить к ней хоть какое-то участие, какое-то незаметное внимание он в силах и для начала слегка приглушает скорость машины, чаще притормаживает. Он тщательно объезжает глубокие выбоины, осторожно скользит мимо встречного транспорта, и при этом думает, думает.

А путь между тем близится к концу. Сопки расступаются, разбегаются двумя волнистыми крылами в стороны и, мельчая перед развернувшейся низиной, цепочками тянутся куда-то в темень наплывающих сумерек. Далеко впереди, в пасмурной мгле, расплывчатыми светлячками повисают летающие огоньки. Они так добро помаргивают в этом, рано надвинувшемся, промозглом и неуютном вечере, что «Волга», словно почуявшее дом живое существо, резвее заторопилась вперед.

А через день Григорий опять отвозил артистов в город. Только на этот раз его уже никто не посылал, он сам напросился в поездку. Так сказать, по собственной инициативе. Из уважения в певиче.

Теперь он гнал «Волгу», торопился в Тихий, помня просьбу женщины — обязательно поспеть к двенадцатичасовому московскому поезду.

За прошедший день погода, ничуть не изменилась к лучшему. Свинцовое небо, все такое же косматое, без малейшего просвета, низко виснет над землей, и порывистый ветер, как и вчера, и позавчера безжалостно разделяет деревья, рябит холодную воду в бесчисленных лужах, расплесканных по пашням, по дороге и кюветам. По всему видно, что земля уже пресытилась влагой, больше не принимает ее в себя, а дождь, ко всему безразличный, сеет и сеет без конца.

Все было так же, как и день назад. Казалось, что не было концертов, доставивших летащинцам, и Григорию в их числе, огромное удовольствие. Что время вовсе не прерывалось, а остановилось, и день, начавшийся в Тихом, у Дворца культуры, тянется и тянется до бесконечности. Казалось, что эти люди, однажды усевшись в машину, так и не покидали ее. Снова в «Волге» было тепло и дремотно, снова привалившись к дверкам спали молчаливые спутники певицы. Но женщина выглядела не так, как в прошлый раз. В ней не чувствовалось усталости, она была бодрой, посвежевшей, моложавой, но задумчиво-грустной.

Так по крайней мере казалось Григорию. Женщина же, думая, что шофер занят одной лишь дорогой, теперь уже в свою очередь потихонечку, искоса разглядывала его. И странно — чем дольше она смотрела, тем сильнее цеплялась за мысль, что где-то уже встречала его. Это ощущение возникло не сейчас и не вдруг, а еще в Тихом, как только она увидела Григория. Но тогда Лия Давыдовна была слишком утомлена (она дала подряд три концерта), и возникшая мысль, не успев как следует окрепнуть, заглохла, придавленная навалившейся дремой. А теперь думы, предположения, попытки вырвать из про-

шлого урывки воспоминаний, картинки былого захватили ее.

Она глядела на Григория: да-да... этот шофер кого-то ей напоминает, похож на кого-то из ее бывших знакомых. Но на кого? Лия Давыдовна не могла уловить, и это терзало ее.

Мучаясь, терзаясь догадками, Лия Давыдовна разглядывала его большие руки, легко вращавшие баранку, ловила скудные наклоны лохматой головы и все силилась вспомнить, где она виделась с ним. И не могла вспомнить.

Наконец, так устав от раздумий, что у нее даже начало ломить в висках, Лия Давыдовна в изнеможении откинулась на спинку сиденья. Она решила больше не думать о шофере и отвернулась к окну.

Теперь за стеклом мелькали ободранные ветром почерневшие сопки, уткнувшиеся верхушками в невысокое небо, бесчисленные распадки между ними, схожие друг с другом как две капли воды, и Лия Давыдовна про себя поражалась девственному, угрюмому безмолвию. И еще она, выросшая на скученном западе, дивилась размаху, гигантским просторам этого таежного края. Все здесь было хорошим: и привольные пади, мало тронутые человеком, и бесконечные цепочки лесистых сопкок, и радушие местных жителей, не слишком-то избалованных вниманием артистов.

Только погода последних дней нагоняла подавленность и какую-то сосущую тоску по дому. Да, с годами, как это ни странно, Лия Давыдовна начала очень тосковать по дому. Что же тянуло ее в тесную квартиру старого дома на Петроградской стороне? Почему только там она последнее время чувствовала себя не только хорошо,

уютно, но и прочно? Неужели эта притягательная сила крылась в тусклых боках «Беккера», уцелевшего в блокаде, или в бабушкиных подсвечниках, из-за ненадобности пылящихся в антресолях?

А ведь было и по-другому. Иногда Лия Давыдовна ненавидела свое жилье, свой уединенный мирок, и при первой же возможности с облегчением бежала из него. И у нее были на то причины. Она любила свою квартиру за то, что в далекой молодости та подарила ей короткое, а в сравнении с отшумевшими годами, и вовсе мизерное счастье. И еще за то, что после войны квартира долгое время была как бы связующим звеном между ней и ее развалившейся семьей. И в гастрольных поездках она таила для хозяйки надежду иллюзорного, почти невозможного чуда. А ненавидела Лия Давыдовна свою квартиру за то, что из нее ушел на фронт и не вернулся муж. За то, что из нее же, вместе с тысячами других детей-ленинградцев, были эвакуированы и пропали бесследно маленький сынишка и совсем еще крохотная дочь. И еще она ненавидела квартиру за то, что, живя в отлучке одной лишь надеждой о возможном чуде, возвращаясь, заставала все ту же застойную, мертвящую тишину. И тогда махонькая надежда, привязывающая ее к прохладным комнатам, гасла.

Да, в собственной квартире ей бывало и холодно, и неуютно, и тоскливо. А теперь вот — тянуло домой.

Уставившись в стекло дверки, Лия Давыдовна пыталась отделаться от тоскливых мыслей, и не могла. Не получалось. Прошрое маячило перед глазами, и в какое место ни ткнешься — всюду больно. А тут еще шофер попался, всем своим обличем тянувший ее в тенета воспоминаний.

Между тем местность понемногу стала меняться. Сопки еще лепились у дороги, но вид у них был уже иной. На некоторых лес был местами прорублен, подножия других — разворочены бутовыми разработками. И теперь одни из них пятнились шишковатыми плешинами вырубков, другие — рыжели срезами заброшенных карьеров. Откуда-то издали, перешагнув горный кряж, к дороге гуськом спустились телеграфные столбы, и здесь, обувшись в высокие побеленные бетонные опоры, марью побежали дальше. На одном из поворотов тусклым серебром блеснули две высоковольтные мачты. У обочин стали попадаться скамеечки, расставленные чьими-то заботливыми руками, грибки над ними, и многочисленные щиты, с поблекшими от времени надписями. И дорога тоже стала иной. Гравийное покрытие сменил асфальт, и теперь впереди «Волги» все время блестела темная, мокрая от дождя лента. Местами асфальт был чист как зеркало, а местами — устлан затейливыми узорами из сорванных листьев. Чаше стали накатываться встречные грузовые машины, пригородные автобусы и даже такси. По всему чувствовалась близость города. Иногда Лия Давыдовна слегка опускала стекло дверки, и тогда вместе с шумом встречного транспорта в машину врвался освежающий холодок, влетали мелкие капли дождя.

Сидеть просто так, бездумно, Лия Давыдовна не могла, и вскорости снова в голову полезли всякие думы. «Да, вот уже и конец пути — там вокзал, поезд, а я так ничего и не вспомнила, не узнала», — сокрушалась она. Никакой ясности не внесли в ее раздумья и обычные в условиях дороги стереотипные реплики, которыми она обменялась с Григорием. А прямо спросить шофера о том, кто он да что из себя представляет, она постеснялась. А хоте-



лось, и это нужно было сделать. Иначе Лия Давыдовна будет терзаться и после. Досадуя на свою нерешительность, она так нервно заерзала на сиденье, что это бросилось в глаза Григорию, и он участливо спросил:

— Неудобно? Устали?

— Нет, благодарю, — невесело усмехнувшись, быстро ответила она. — Я про себя и то уж отметила, что вы везете меня до того осторожно, так бережно и аккуратно, словно я стеклянная, или прихожусь вам родной матерью.

Последние слова она произнесла не без умысла, но Григорий, ответил просто:

— Вожу, как умею.

— Не обижайтесь, юноша, — вздохнула Лия Давыдовна. — Я не хотела вас обидеть. А ездите вы очень хорошо! — и тут же, воспользовавшись подходящим моментом, спросила: — Кстати, извините, у вас есть мать?

Григорий удивленно взглянул на артистку, подумал: «Чего ей вдруг взбрело?», утвердительно кивнул головой:

— Ага.

Он заметил с удивлением, что ответ расстроил женщину и подумал, что пожилые люди, кто бы они ни были, все-таки не лишены причуд.

А Лия Давыдовна, не разжимая нервно сцепленных пальцев, снова спросила:

— А вы местный? Нет? Я так и думала. Откуда же?

По голосу женщины, по напряженно-большущим глазам ее, ждущим какого-то особого ответа, Григорий понял, что это не простой вопрос, не праздный, и потому помедлил с ответом. Взглянув на часы, он прикинул время, оставшееся до поезда, еще немного сбавил скорость и

закурил. Теперь было вроде бы сподручнее отвечать. Да ему и нечего было утаивать.

— Нет, — после продолжительной паузы выдохнул он вместе с дымом. — Я не здешний. С Кубани я. — И в свою очередь спросил: — А почему это вас интересует?

Лия Давыдовна не ответила. Не могла ответить. Услышав про Кубань, она вздрогнула, повернулась к нему всем корпусом. Махонькая надежда опять чуть-чуть затеплилась в ней. Она знала — в войну именно Кубань приютила тысячи юных ленинградцев. Многие из них выжили в суровую годину именно там, и потом отыскивались. У многих дети находятся и по сей день.

Но сказать шоферу про своих детей прямо сейчас, ляпнуть вот так, ни с того ни с сего, она не смогла. И вдруг Лия Давыдовна вспомнила, кого ей смутно напоминал шофер. Она поняла, почему разгадка так долго давалась ей. «Он похож на Элю. Да, да! А об Эле, да и обо всех родственниках мужа я не вспоминала по крайней мере лет двадцать, — подумала она и тут же укорила себя. — Как же я раньше не догадалась!»

Она вспомнила, теперь она все вспомнила. Это было очень давно, года за два до войны. Тогда они поехали отдыхать на Украину. Маленького сынишку оставили бабушке. В Шполе, небольшом местечке под Уманью, жили родители мужа. В первый же вечер в небольшой, деревенского типа хате свекра, стоявшей в задах тихой затравленной улицы, собралась по-местечковому шумливая и бесцеремонная между собой многочисленная родня. Родственников у мужа было так много, и были они в своей непосредственности так похожи друг на друга, что уставшая с дороги Лия Давыдовна почти не запомнила их имен и лиц. Она стала отличать одного от другого и

запоминать всех этих дядек и тетек, племянников и племянниц лишь по ходу отпуска, постепенно. И лишь один новоявленный племянник отчетливо запомнился ей с первой встречи. Запомнился тем, что выделялся из всех крупной статью, курносый смуглым лицом и особо контрастной кудрявой белокурой головой. Она сразу же запомнила и его имя. Тогда, впервые услышав его, она даже слегка удивилась: «Парень такой крупный, мужественный, видный, а имя носит мягкое, женское — Эля». В оккупацию они все погибли.

Лия Давыдовна тяжело вздохнула, пальцами забарабанила по сумочке, глянцевито блестящей на коленях. «Да, этот шофер немного напоминает Элю, — уставившись недвижным взглядом теперь уже в лобовое стекло, думала она. — Как и мой мальчик когда-то. Но разве в жизни мало похожих людей?..»

Между тем сопки слегка раздались в стороны, и «Волга», преодолев последний перевал, нырнула вниз, в серую муть дождя, затянувшую широкую долину и небольшой город в ней, приткнувшийся у бурливой горной речки. Город надвигался все ближе и ближе, и вот уже начали чуть-чуть проступать его расплывчатые контуры.

Вскоре в окошке машины замелькали потемневшие приземистые постройки пригорода, перила моста через реку, кипящую пузырями от врезающихся в нее крупных капель, и вот уже в густых сетях дождя, словно гигантские рыбины, замельтешили серые стены многоэтажных домов. Сделав два-три поворота, «Волга», вздымая фонтаны воды и брызг, промчалась по пустовавшим улицам и выскочила к железнодорожному вокзалу.

Они подоспели вовремя. Едва Григорий остановился, как аккомпаниаторы, словно по команде, проснулись и,

не обращая ни малейшего внимания на проливной дождь, кинулись в кассу за билетами.

Вскоре к перрону, расцветившемуся плащами и зонтиками, подкатил поезд. Протянув женщине свою «блонью», Григорий помог артистам сесть в поезд. Спутники певицы мигом забрались в вагон, а она задержалась. Стянув с себя плащ, женщина стояла под дождем, мокла и до самого отхода экспресса молча и безотрывно глядела на Григория. А когда раздался предупреждающий свисток паровоза и слегка звякнула натягиваемая сцепка вагонов, она протянула ему плащ, ладонью смахнула с лица капли воды и снизу вверх заглянула в самые глаза.

— Спасибо вам, юноша, за поездку, за плащ... В общем за все! А за расспросы мои навязчивые — извините. — Она вздохнула, и он увидел, как у нее, словно у незащитного, обиженного ребенка мелко-мелко задрожал подбородок. — Я вам тогда не ответила на вопрос, так скажу сейчас. У меня дети пропали в войну. Сын и дочушка... Сын примерно ваших лет...

«Вот оно что, — подумал Григорий и, опустив низко голову, прикусил губу. — А я-то дурень безмозглый! Человек мне душу раскрыл, а я!..»

Когда он поднял голову, женщины рядом уже не было, и мимо, поблескивая глянцевитыми от дождя темно-оранжевыми боками, тихо проплывали вагоны.

Поезд ушел. Подстегиваемые неутихающим дождем, с перрона быстро убрались люди, а Григорий, зажав в руке плащ, все стоял и стоял, будто прикованный к асфальту невидимой цепью.

«Так вот почему у нее такие скорбные глаза, — запоздало сокрушался он. — Человек все ищет своих детей, а я, дурень, еще гадал: сумно ей без семьи, или нет? А у ней

и семьи-то нет. Ах ты, незадача... Да-а, холодновато, неласково должно ей дома-то быть одной. — И внезапно его осенила догадка. — Она же во мне сына искала? Ну да, конечно! Но почему во мне? Боже мой, да у меня ведь никогда не было сестры!..»

Он, наконец, стронулся с места. Обойдя вокзал, вышел к «Волге», открыл дверку, но в машину не сел. Раздумывая, постоял возле и вдруг решительно захлопнул дверку. Спустя секунду, сапогами разбрызгивая лужицы, Григорий через привокзальную площадь уже во весь дух топал к почтамту.

«Догоню!.. Во что бы то ни стало — догоню! — сдувая с губ капли дождя, шептал он. — Вот только у шефа отпрошусь, и догоню!»

Он точно не знал еще, зачем делает это, что скажет женщине, когда снова увидит ее, но чувствовал, что если не догонит экспресс, не увидит больше эту убитую горем мать, то жить так же спокойно, как жил до сих пор, уже не сможет.

**1967 г.**



## АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ

### **Еврей антисемитского происхождения**

Первыми антисемитами, с которыми меня свела жизнь, были биробиджанские сопляки, мои ровесники, вдруг, ни с того ни с сего, начавшие обзывать всех нехороших — с их точки зрения — ребят «еврейцами».

Мой дед, любивший говорить о себе в третьем лице, называл себя старым глупым евреем, и я понимал, что тем самым он просто подтрунивает над собой, поскольку люди, с коими он общался — и евреи, и русские — были не умнее его, тем более что многие обращались к нему за мудрым советом.

Бабушка не однажды рассказывала мне про свою родную деревню в Белоруссии, где ее семья была единственной еврейской, но белорусы и украинцы — вся улица — очень любили ее отца, называя его ласково Борушкой.

При этом бабушка не забывала лишний раз напом-

нить, что все люди — братья и советская власть сделала для них всех — а особенно для евреев — все, о чем можно только мечтать. Я верил бабушке, но точно знал, что ни она, ни дедушка никогда не мечтали о том, чтобы евреев обзывали еврейцами и при этом криво ухмылялись и обидно передразнивали.

Я понимал, что советская власть дала и мне, и моим приятелям действительно очень многое — например, возможность любить ее вождей, но почему при этом она позволяет травить моего друга Борьку, не понимал.

Борьку привезли в Биробиджан откуда-то из глухого шолом-алейхемовского местечка, где он привык говорить и думать на идише, а русский знал кое-как.

Он остался без матери, и овдовевший отец приехал в Биробиджан из-за тети Поли. Вовсю желая ей угодить, он гонял своего сына как Сидорову козу, и Борька часто прибегал к нам — однажды даже босиком по снегу — и заночевывал.

Борька часто смешил нас, когда очень по-местечковскому читал Маяковского: «Что? Социализм? Свободный труд? Свободно? Собравшихся? Людей?» — или, читая Пушкина, не демонстрировал нарисованную им картинку, а всерьез вопрошал: «Мороз? И солнце? День? Чудесный?».

Он еще и картавил, и стеснялся этого, и более всего переживал за свою маленькую сестренку, поскольку ему было больно думать, что та осталась без родной матери, — как будто он сам купался в материнской любви.

Надо сказать, что мы в конце концов отбились от своих первых антисемитов (я, правда, считался у них почему-то очень своим, насквозь русским). Да еще и так с ними поступили, как им и не снилось.

Через год-другой оказалось, что Борька — чистейшей воды красавец, и все самые прекрасные девочки нашей школы в него повлюблялись, а наши гонители остались с носом. Видимо, он — по привычке — испугался и этого, и поцеловался в первый раз не прежде, чем я (по сравнению с ним маленький Квазимодо) совершил это раз двадцать, а может, и тридцать.

Но наши первые поцелуи, конечно же, никакого отношения не имеют к теме антисемитизма, тем более биробиджанского.

Первая моя встреча с московским антисемитизмом случилась чуть ли не в первые часы моего поселения в общежитие литинститута.

Я стал студентом, был горд этим, хотел всем понравиться, а чтобы случилось это наверняка, рассказывал кому ни попадя, что приехал издалека, аж с самого Дальнего Востока, из самого расчудесного города Биробиджана. Как мне казалось, это должно было быть интересно очень многим.

И вот я попал в комнату старшекурсника, у которого уже была не казенная мебель, а своя, приобретенная на шальные гонорары.

У него была не только своя мебель, но и библиотека, и комнатный пиджак, завязывающийся на две коричневые косички, и даже домашние туфли.

Он смотрел на меня как на идиота, свалившегося с Луны.

Я-то думал, что ему нравятся мои стихи о Биробиджане и о его смешных евреях, что он хочет узнать как можно больше о том, как они живут, как говорят, что делают.

А оказалось, что он не мог взять в толк, отчего всё, о чем я взахлеб рассказываю, я не догадаюсь скрыть — по-



чему я не вру, повествуя о том, что приехал в Москву из Еврейской автономной области, а не из какого-нибудь Ямало-ненецкого округа, и почему я не насочинял стихов о России, о ее полях и тех славных тружениках, что их обрабатывают.

В конце концов он в открытую высмеял меня, назвал жиденком, и когда мы через много лет встретились с ним у женщины, которой он добивался и ничего у него не выходило, потому что у нас с ней был отчаянный роман, он швырнул на паркетный пол московской прихожей свой фолиант, потребовав прочесть его немедленно, дабы она могла сравнить, на кого его, замечательного, променяла.

Фолиант был внушителен — уже «избранное», и мы, открывая его на любой попавшейся странице, жутко хотали, натываясь на сплошные колхозные поля и сплошных тружеников.

Между прочим, сейчас я склоняюсь к мысли, что его антисемитизм только так назывался. И правда, какой это антисемитизм?

Должен сказать, что антисемиты, пришедшиеся на мою зрелую юность, были приятнее моих первых антисемитов в Биробиджане и много интереснее моего первого московского.

В принципе, они были такими же, как и я, юношами с семитским носом и русской фамилией: мы вместе открывали Бабеля, на равных бредили Пастернаком и очень любили, подмигнув друг дружке и вспомнив еврейский анекдотец, во все горло запеть популярную в те годы песенку про то, что «евреи, евреи, кругом одни евреи...».

Правда, был у меня случай, когда в доброй компании, будучи в подпитии, я решил, что кто-то как-то недостаточно лояльно отозвался о евреях. Я стал кричать, что

моя мама еврейка и я не могу позволить, не могу разрешить и т. д. и т. п., после того меня стали яростно уговаривать считать себя русским поэтом, а не убедив, повели бить на воздух у подъезда того же литинститутовского общежития.

Кажется, били меня очень сочувственно, считая мое нежелание отказаться от еврейской мамы при русской фамилии элементарным пьяным куражом или, на худой конец, юношеским заблуждением.

Единственный, кто меня очень хорошо понимал, это тишайший в тот вечер Николай Рубцов: он, круглый сирота, был согласен на любую мать, даже еврейского происхождения.

Антисемиты моей зрелой поры представляются мне малоинтересными, но не вспомнить их, значит, обидеть, а мне этого чисто по-человечески не хотелось бы.

Первым, кто не пожелал принимать меня в Иркутске как человека недостаточно русского, был писатель районного разлива, много писавший — и в рифму, и без оной — о лесе, лесорубах и лесных проселках.

Выглядел он категорически импозантно, поскольку, помимо писательского билета, имел еще и партийную книжицу, а плюс к этому — высокую должность в местном лесном министерстве.

Покойный критик Женья Раппопорт взял у меня напрокат мой серпастый-молоткастый и пошел с ним к этому писателю доказывать, что отчество мое действительно Иванович, а место рождения — город Хабаровск.

Пока Женья добирался до писателя, специализирующегося на лесной тематике, он встретил поэта, специализирующегося на теме заводских проходных, столкнулся со сказочником, увлеченным темой пионерской героики,

и согласился выпить с критиком, всю свою сознательную и бессознательную жизнь увлекавшимся теорией производственного романа.

Всем этим людям Женя показывал мой паспорт, и, пока дошел до того, к кому собственно и направлялся, весь Иркутск уже знал, что я Женин внебрачный сынок, потому что кто же еще будет так рьяно заботиться о доказательстве русскости подозрительно нерусского во многих отношениях человека, как не его родной отец.

Так я стал «сыном Раппопорта», который при всей своей робости по отношению к женскому полу умудрился (здесь вернее сказать — ухитрился) замастрячить меня в свои неполные тринадцать лет.

Антисемиты моего предстарчества оказались масштабнее предыдущих.

Один из них до поры до времени был мной любим не только как писатель. Мы не однажды выпивали с ним, катались по городам и весям, зарабатывая на хлеб выступлениями в заводских общагах и на совхозных свинофермах, между делом касаясь и такой проблемы, как бытовой и великодержавный антисемитизм.

В те поры он относился и к тому и к другому однозначно отрицательно, и я никогда не забуду, как он пил со мной горькую накануне процедуры моего приема в Союз писателей, поскольку заранее вычислил, что писатели-антисемиты меня наверняка прокатят.

Я был благодарен ему за сочувствие, однако никак не мог поверить в верность его вычислений, потому что, по моим подсчетам, количество антисемитов в Иркутском Союзе писателей должно было быть много меньше.

Оказалось, что прав был он, а я — неправ.

С тех пор так и повелось и продолжается до сего дня:

став орденоносцем, а чуть погодя и «народной совестью» и «борцом за святую Русь», он где-то выяснил, что «евреи распяли Христа», пережил это примерно так, как человечество выход в космос, и, не на шутку испугавшись возможного жидо-масонского заговора, сумел обнаружить идеи сионизма даже в моих безыдейных писаниях.

По его требованию была создана комиссия, и хотя она долго и серьезно изучала мои заметки в газетах и стихи в журналах, ничего сионистского в них не обнаружила. Однако судьба моя была уже предрешена: мне пришлось уйти из газеты и сшибать рубли, чтобы как следует накуриться и как положено выпить. Благодаря этим событиям я, наконец, нашел время, дабы, пройдясь по библиотекам, хотя бы примерно выяснить, что это за штука «сионизм» и о чем я должен думать, будучи зачислен в лидеры иркутского сионизма.

Потом, через пару лет, я оказался в доме знаменитого на весь мир Хаима-Бера Гершоновича Ходоса, чей учебник по психиатрии до сих пор служит студентам медицинских вузов, и узнал с удивлением, что он числит себя в сионистах всю свою сознательную жизнь, начиная с двадцатых годов.

Как ни странно, захворав, «совесть народа» обращалась исключительно к сионисту Ходосу, видя в нем единственного и самого верного спасителя...

А если по правде, то самыми первыми антисемитами в моей жизни были мои родители, папа Ваня и мама Дора, потому что я, явившийся на свет в родильном доме еврейского города Биробиджана, был записан ими (мама рассказала мне об этом через долгие годы) как уроженец русского города Хабаровска.

Сочинили они меня действительно в Хабаровске — в

том самом сорок седьмом, когда мама была студенткой, а папа кагэбэшником, и как раз из-за того, что папа, приходя с работы, развлекал маму анекдотами о евреях, мама сбежала от него к деду, к тому времени уже построенному город Биробиджан и полюбившему его.

А вообще, для большей точности следует сказать, что мой дед отказал моей маме в своем доме только за то, что она полюбила русского.

И кем тогда — объясните мне — должен быть мой папа, которого я, как утверждает семейное предание, видел в последний раз в двухлетнем возрасте?

Можете и промолчать. Потому что, если вы не скажете, что он был таким же элементарным антисемитом, как биробиджанские босяки моего детства, или махровый московский графоман моей юности, или даже таким, как «сама совесть русского народа», я на вас очень обижусь. Ибо я уверен, что нелюбовь моего родного папы по отношению к евреям никак невозможно назвать элементарным антисемитизмом — лично для меня это антисемитизм родовой, кровный, предельно биографический и никак не отделимый от моей судьбы.

Следовательно, если я — еврей, то чисто антисемитского происхождения, а если я — русский, то зараженный той интернациональной любовью к представителям любой национальности (в том числе и к евреям), которая для людей этой нации особенно характерна.



## МИРОН ФИШБЕЙН

### Не надо думать

*Хорошо прожил тот,  
кто хорошо спрятался.*

**Эпикур**

Весна сорок пятого года. Берлин. Среди руин — и вдалеке, и поблизости — пусть и изломанные недавними уличными боями, но уже зеленеющие, как символ жизни, деревья. Пахнет подгоревшей кашей. К этому примешивается горький запах тлеющих пожаров. Вроде все как всегда, и впереди новые разрывы, но нет... тихо. Не так, как перед артподготовкой, когда ждешь сигнальной ракеты, а как-то непривычно и радостно. Ты жив, не ранен, ты победитель, кружится голова. Твои подчиненные возбуждены и нетрезвы, но ты на это не обращаешь внимания. Ты собираешь обрывки мыслей, ты пытаешься понять, что же будет дальше. По сложившейся фронтовой привычке ты их гонишь: не надо думать, целее будешь.

Ты не пьешь, но не из принципа. Душа просит, а тело не приемлет, его буквально выворачивает наизнанку, такая вот реакция на спиртное, хотя запах спирта нравится. Фронтовую порцию водки обмениваешь на папиросы, сахар, просто на солдатскую махру. Курить — вот твое забвение. Ты, бывает, прикуриваешь одну от другой, твои усы, густые и вислые, прокурены основательно, отдают желтизной и пахнут горьким, но женщинам это почему-то нравится, как и твои широкие мозолистые ладони, сильные, натруженные руки артиллериста.

Курить ты приучился в институте, в общежитии все дымили, даже девушки, эдакие продвинутые комсомолки, советские эмансипе. Со своей стипендии ты умудряешься помогать родителям, отсылая домой чуть ли не треть от полученного, поэтому на курево не хватает. Но голь на выдумку хитра, ты с товарищами купил вскладчину машинку для набивания папиросных гильз и куришь БРС (бычки разного сорта), набивая выпотрошенным табаком длинные гильзы «Казбека» и «Герцеговины Флор», любимые папиросы товарища Сталина.

Сталину ты веришь больше, чем отцу с матерью. Ты не очень задумываешься над происходящим, привычно со школьных времен зачеркиваешь и в институтских учебниках вчерашних кумиров — героев Гражданской войны. Хотя, если задуматься, какие вообще герои могут в такой войне быть. Но ты не думаешь, так проще и легче. Больше знаешь — крепче спишь. Говорит товарищ Сталин, что войны с Германией не будет, значит, не будет, а кто в этом сомневается — тот подстрекатель и враг народа.

Твоя вера непоколебима, и речь товарища Молотова только подтверждает, что кругом враги и они коварны,

но их ждет справедливое возмездие, победа будет за нами. Ты вместе с однокурсниками, а точнее, с выпускниками (накануне вы получили дипломы) идешь в военкомат. Вы это делаете не задумываясь, «ведь у нас такой народ: если Родина в опасности — значит, всем идти на фронт».

Ленинград встретил дождем и порывистым холодным ветром с Балтики. Ты зачислен в знаменитое ленинградское артиллерийское училище. Впереди учеба и офицерское звание, что будет за этим — ты не думаешь, так как, скорее всего, война успеет закончиться, и ты даже по этому поводу немного расстроен. Но не надо думать, на это есть командиры, а пока учеба дается с большим скрипом. Ты гуманитарий, а здесь — баллистика, трудно тобой постигаемая математика. Но выручает новый товарищ, он учитель математики, уже поработал в школе, поэтому объясняет вполне доступно, как школьнику. У него редкая фамилия — Солженицын, его уважительно зовут по отчеству, но ты его попросту — Шурка. Тебя же все кличут Зямой, а он уважительно — Зиновий. Александр Исаевич мыслитель, его суждения и слова крамольны, но ты не стукач.

Фронт приближается к Ленинграду, бои идут уже под Лугой, курсанты ждут отправки на лужский рубеж, но училище неожиданно для всех эвакуируют в Кострому. Там довольно долго и основательно идет учеба. Свободные часы проводишь в городе, у командиров к тебе нет замечаний, поэтому получить увольнительную для тебя не проблема.

Фашисты рвутся к Волге, Шурка говорит о просчетах товарища Сталина. Ты отвечаешь, что не его ума дело об



этом судить и что он может за эти мысли поплатиться, если нарвется на сексота, так как в военное время скорость стука значительно превосходит скорость звука и сравнима разве что со скоростью артиллерийского снаряда.

Наконец выпуск, все очень торжественно. Тебе идет новенькая гимнастерка с офицерскими петлицами. Фронтное крещение получаешь под Сталинградом. Батарея расположена за Волгой, ты командир орудийного расчета. Пушка тяжелая, дальнобойная, ее перемещает мощный трактор. Снаряды с гулом уходят за горизонт, грохота их разрывов не слышно, слишком далеко. Несколько залпов — и орудия цепляют к тягачам, чтобы успеть сменить позицию, пока не накроют ответным огнем.

Тяжелая, рутинная, смертельно опасная работа, но не надо думать, приказы не обсуждают, а выполняют. Правда, их много, и они подчас противоречивы, поэтому исполняешь только те, которые можно подтвердить или письменно, или свидетельством. Остальные, как правило, приводят в штрафную роту.

Ты при первой же возможности пишешь письма, получаешь ответные треугольники. Родители, слава Богу, здоровы, находятся в Ташкенте, а он, как известно, город хлебный. Приходят письма и от Шурки, он уже комбат. В письмах он так же откровенен, как и в речах, поэтому ты их не хранишь. Тебе вообще не свойственно что-либо хранить, в твоём рюкзаке разве что сухари, сахар и спирт. Папиросы, табак и зажигалка, сделанная из крупнокалиберной гильзы, Шуркин подарок, рассованы по карманам. Ты считаешь, что богат тот, у кого нечего отнять.

Поэтому, когда тебя вызывают в особый отдел и обыскивают, то, кроме водки, — ничего. Из разговора с капитаном Шкудовым (наверно, его предок был Шкуровым, а он чуть-чуть подправил родословную) ты понял, что с Шуркой нелады, что твои письма у него обнаружили, но в них ничего нет, так как ты ни о чем таком не думаешь, а значит ты в доску свой — нашенский.

Больше писем от Шурки нет. И ты ему из соображений безопасности не пишешь. Но самое главное — нет писем из Харькова. Его уже, после тяжелых и затяжных боев, освободили, но ни ответа, ни привета. А у тебя там не просто знакомая. Руфина — девушка надежная, значит, случилось то, о чем лучше не думать, а верить и ждать.

Как ни странно, но ты почти идеально подходишь для фронтовой жизни. Мощный торс, крепкие руки. Ты не чураешься солдатской работы: копаешь, тащишь, подносишь. Большей частью молчишь и куришь. Ты уже комбат, три звездочки на погонах, старший лейтенант, такая вот штука. Подводят только ноги — плоскостопие, но об этом лучше не думать, а то комиссуют — и попадешь в обоз, а это обидно, войне, похоже, подходит конец. Ты в армии Чуйкова, ей братъ Берлин. У тебя медаль «За оборону Сталинграда», солдатский орден, вскоре туда прибавится медаль «За взятие Берлина».

Война окончена. Тебя, как человека, прилично знающего немецкий язык, оставляют в составе оккупационных войск налаживать здешнюю жизнь. Из Харькова по-прежнему ничего нет. Когда демобилизуют неизвестно, но об этом лучше не думать.

Проходит целых два года. Чего только за это время не

пережито, но все проблемы попавших под раздачу немцев не решить, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. И ты первым делом направляешься в Харьков. Город не узнать, он весь в руинах, хотя кое-что уже восстановили. Но где эта улица, где этот дом? Никто толком не знает. Харьков дважды переходил из рук в руки. Здесь был второй Сталинград. Ни Руфины, ни оставленных документов, ничего нет. Институтский архив сгорел, кто-то из бывших преподавателей подтвердил, что ты окончил филолого-исторический факультет, выдали не дубликат, а справку, а с ней ты долго мыкался без работы, перебиваясь случайными заработками.

Прошел год после демобилизации, ты встретил Зину. Она с матерью тоже бедствует. Разворачивается борьба с безродными космополитами, проклятый пятый пункт. Работа есть, но ни тебя, ни Зину никуда не берут.

И вот уже снова почти фронтовая теплушка, поезд неспешно тащится на восток, в далекий Биробиджан. Зина на сносях. На станции Ин она рождает тебе сына. Ты отец, и это огромная ответственность, но не надо думать, как-нибудь образуется.

Но не образовалось. Поработал учителем всего ничего, так как отсутствие диплома требовало хотя бы документа о прохождении кратких педагогических курсов, а для этого надо оставить семью, в которой ты единственный источник благосостояния.

Пришлось обратиться к отцовскому ремеслу. Что-то видел в детстве, что-то передалось по наследству — генетически. Так ты стал кузнецом.

Дети радовали, особенно младший. Учится отлично,

покладист. Старший, пожалуй, способнее, но неслух, хотя книгочей и фантазер. Пропадает неизвестно где и неизвестно с кем дружбу водит. Учиться не хочет. Ты устроил его к себе, учеником токаря. Вроде бы он заинтересовался.

Твоя идеологическая невинность, как говорится, налицо, выписываешь «Правду», книг не читаешь. Веришь всему, что в газетах пишут. Старший — комсомолец, можно быть спокойным. Но не тут-то было. Щенок быстро идейную девственность потерял. Ты хорошо помнишь, с чего это началось.

Прибежал осенним днем твой пацан в кузню и с порога огорошил: «Па, представляешь, Хрущева на пенсию отправили». Ты не поверил, а он взалхлеб: «Па, представляешь, к нам в цех мильтон зашел и попросил топор на наждаке наточить. Ты, па, знаешь, что дядя Еся на нем только резцы и сверла заправляет, и если разрешить, то он уши оборвет. Но это потом. А если не разрешить, то мент уши эти оборвет раньше. Поэтому, па, я тяну резину: «Дескать, зачем милиционеру топор?» А он, представляешь, отвечает: «Чтобы хрущевское сало рубить». Наверно, видуха у меня была еще та, он рассмеялся и сказал, что взяли Никитку под микитки. Ну я и побежал сначала в красный уголок. А там наш парторг портрет Никиты Сергеевича уже сорвал и, наступив на стекло, произнес, меня не видя: «Ну что, докричался, бородавка?» Оттуда я прямо к тебе: «Что ты скажешь мне, папа?» Ты ответил: «Не надо шуметь, сынок, не наше это с тобой дело. Сняли, не сняли — им там видней, об этом не надо и думать».

Однако роман-газету с повестью Солженицына «Один

день Ивана Денисовича» ты прочитал. Не понравилось и с Шуркой не сопоставилось. Много воды утекло. Сыну при этом ничего не сказал. Так и улеглось без обсуждения.

Время быстро под откос бежит, болезни никого в старости не обходят. Разлетелись сыновья. Старший взялся за ум, институт окончил. И младший как раз перед самой твоей смертью успел окончить — порадовал.

А тут и косая на пороге. Предстал перед Богом. Не судил? Спросил Всевышний, поэтому судим не будешь, и приказал в рай его.

Тихо в раю, светло и благостно, птички поют. Думай не думай, но догадался, почему никто назад не возвращается...



## ВЛАДИСЛАВ ЦАП

### Хорошо, когда отец рядом

*Из повести «Восьмое лето Фимы Пильмана»*

Хорошо, когда отец рядом. Фимка любил, когда Матвей Моисеевич, его папа, садился играть в домино. Мужики стучали костяшками по столу. И хотя отец играл плохо, Фимка всё равно им гордился. Сосед Захар Петрович сокрушался:

— Мосейч, ты же умный мужик, мастером работаешь, наряды закрываешь, а не можешь запомнить, что у меня двойки нет.

Фимка сидел, прижавшись к отцу, и не опасался, что Муданьцзян его прогонит.

Муданьцзян всегда прогонял пацанов...

...Кирилл Сартаков стал Муданьцзяном три месяца назад, и это прозвище он получил от уважаемого человека Захара Петровича.

Весной, с первым теплом, все пацаны заболели азартной игрой «чикой». Эта игра на щелбаны (или на деньги — для тех, кто постарше) захватывала всех мальчишек. Каждый старался занять себе хорошую битую. У Бати, к примеру, была тяжелая медная монета с изображением какого-то царя.

Как-то, роясь в комод, Фимка нашел две медали. Одну из них — медаль «За боевые заслуги» — решил приспособить под битую. Вторую, с профилем Сталина и надписью «За победу над Японией» — золотистую и блестящую — портить не решился.

Фимка сидел во дворе на скамейке и трёхгранным напильником пытался спилить ушко медали. За этим занятием его и застал Захар Петрович.

— Где взял?

— У папки.

— Медаль я у тебя конфискую, — сказал Захар Петрович, и Фимка остался без биты.

Сам Захар Петрович всегда носил на пиджаке три медали «За отвагу». Были у фронтовика и другие награды, но носил он только три. «За каждую из них я кровью платил», — говорил Захар Петрович.

Вечером того же дня соседи сели забивать козла. Захар Петрович достал из кармана медаль.

— Возьми, Мосеич, это я у твоего пацанёнка забрал. Нельзя так с боевыми наградами обращаться.

— Награда, скорее, не боевая, а трудовая. Я ведь на войне ни разу не стрелял.

— А медаль, наверное, купил, — хихикнул Сартаков.

— Медаль дали за наведение связи. Нам приказали

обеспечить связью штаб армии, я был сапёром. Мы быстро поставили столбы, вот за столбы лейтенант получил «Красную звезду», а несколько бойцов, в том числе и я, медали.

— На каком фронте воевал?

— Второй Дальневосточный.

— Я тоже на Дальневосточном, — оживился Сартаков.

— Ох и драка была! Я в таких переделках побывал! Помню, под Муданьцзяном...

— Хватит врать! — оборвал его Захар Петрович. — Знаю, как ты воевал, вертухай. Немцев-то в глаза не видел, а японцев — только пленными. «Помню, под Муданьцзяном». Сам ты Муданьцзян.

Так Кирилл Сартаков стал Муданьцзяном...

Итак, Фимка сидел рядом с отцом. Витька бы так сидеть не смог — у него не было отца.

— Рыба! — стукнул костяшкой по столу Родин. — Перекур!

Он достал из мятой пачки две беломорины — себе и Муданьцзяну. Захар Петрович вынул из кармана жестяную коробку из-под леденцов, в которой была махорка.

Матвей Моисеевич не курил и поэтому вытащил из футляра для очков две ириски «Тузик» и отдал их сыну.

— Вон Ненаш чешет, — кивнул Родин. — Ищет, где бы выпить на дармовщинку.

— Клоп, — обратился он к Фимке, — полезай ко мне в окно. Быстро!

Окно на первом этаже было открыто. Родин подсадил Фимку на подоконник.

— Видишь пустую бутылку? Быстро насыпь туда пару



ложек соли. Что ты соду сыплешь?! Ладно, сойдет. А теперь лей туда воду. Хорошо. Давай бутылку сюда. Да, еще стакан захвати.

Муж товарища Ненашевой подошёл к мужикам. Они увлечённо стучали костяшками, и никто не обращал внимания на початую бутылку.

— Можно? — задрожал Ненаш.

— Наливай, не жалко, — пожал плечами Родин.

— Я капельку, — и Ненаш набулькал полстакана. — Со мной кто будет? Не? Тогда я... Не пропадать же добру.

Муж товарища Ненашевой быстро наполнил стакан и, опасаясь, как бы мужики не передумали, опрокинул в себя два больших глотка. Уже поняв, что пьёт не водку, Ненаш по инерции или от жадности заглотил остатки, выпучил глаза, схватился за горло и голосом смертельно раненного кота Бегемота прошипел:

— Что за дерьмо вы мне подсунули?

— Никто тебе не подсовывал, — Родин еле сдерживал смех. — Сам попросил, а нам не жалко, Пират ещё нальет.

Дворовый пес Пират, как бы поняв, что речь идёт о нем, с готовностью задрал лапу и начал отвечать на письмо, оставленное ранее Шубертом. А Родин продолжал:

— Говорят, у Пирата что-то вроде бешенства, вот и велели сдать мочу на анализы, а иначе пристрелят. Фимка весь день за ним с кружкой бегал. А ты — одним залпом...

Но нам не жалко. Правильно, Мосеич?

— Верно. Только не бешенство у Пирата, а бруцеллёз, — кивнул Фимкин отец.

Родин — понятно — пьяница и матерщинник. Но

Пильман — человек серьёзный, мастером работает. Да и название такой болезни сразу не выдумаешь.

Муж товарища Ненашевой поверил Пильману.

Мужу товарища Ненашевой стало нехорошо.

А тут Муданыцзян добавил:

— У Пирата ещё и глисты есть — сам видел.

Ненашев, едва поспевая за обуревавшими его чувствами, метнулся за сарай, и на весь двор раздалось свирепое рычание.

В это же мгновение из-за сараев выскочила Маша Шарикоподшипник, которая кормила там свою свинью Надю.

— Что с ним? — испуганно спросила она.

— Это он собачью мочу пил, говорят, в ней градус есть, — сострил Родин.

— А ты, Родин, одеколон пьёшь. Не отпирайся. Кто у меня вчера полпузырька «Тройного» выпросил?

— Не пил я, — снова обиделся Родин. — Я его себе на голову вылил, а ты всё равно не пустила. А я, может, понравиться тебе хочу.

Маша улыбнулась: приятно получить комплимент, пусть даже от Родина.

Мужики продолжили игру. Фимка сидел, прижавшись к отцу. Хорошо, когда отец рядом.



## РИММА ЛАВОЧКИНА

### Как стать евреем

На улице уже кричит дворник Бенчик, значит, таки пора вставать на работу. Гремучий голос этого великана будит всю улицу, которой выпала честь быть им опекаемой: «Как папа? Как мама? Как Зуся? Как Песя? Как Йося?» — осведомляется Бэнчик у сонных сограждан. Дело в том, что в нашем Биробиджане все и всё про всех знают. Ну зачем, скажем, Бенчику знать про внучатого племянника соседки из пятого подъезда, которая этого Бенчика на дух не переносит? Что вы, что вы?! Ему крайне важно узнать, какую оценку этот сопливый шнорер Яша получил за контрольную по математике. И попробуйте убедить Бенчика, что он прекрасно проживёт без Яши и без его контрольной.

Мало того, что Бэнчик с пяти утра дикими воплями оглашает окрестности, так ещё на улицу выходят биро-

биджанские женщины. Надо вам сказать, что расстояние в двадцать метров между деревянными тротуарами вовсе не помеха для женских секретов: «Сореле, как там твой Хаим? Как его геморрой?» —

«Ой, Дора, что тебе сказать? Азохэнвэй и ему, и его геморрою — мучился всю ночь...» При этом женщины так жестикулируют кошёлками, что пройти мимо и не получить поклажей по голове просто невозможно, и потому все идущие следом поневоле становятся слушателями женских тайн. И вот уже про мучения несчастного Хаима знает весь город. И не просто знает, теперь каждый ему готов помочь советом.

Наконец открываются окна, и голоса утренних птах тут же растворяются в гомоне женщин: «Донечка, золотце, ты пердёшь ко мне повесить зуновески?» — «Абрам, Абрам, выгони из огорода петух! Он поклюёт нам всю капусту. Какие борщичи я тебе сварю?!» — «Пэтинька, сынок, одень шкеры, не дай Бог застудишь прыдатки!» «Ой, да разве это мёбель? — кричат из другого окна. — Это не мёбель, это ящики для помидор!»

И надо вам сказать, что все фразы в этом городе оканчиваются восклицательными знаками, а как вы думали? Так просто здесь не разговаривают. Когда же дети выходят в школу, на улицах наступает праздник. Соседкам крайне важно знать, что Сашенька ел на завтрак, где работает мать Гершеле и тепло ли оделся Ицик? Вы когда-нибудь видели в Биробиджане чужих детей? Что вы?!

Чужих детей на свете просто не бывает. Здесь каждая бабка считает своим долгом наблюдать за любым ребёнком, находящимся в поле её зрения. А вдруг его, упаси Бог, обидят? Каждая считает своей обязанностью прочитать соседскому шлимазлу лекцию о хорошем поведении

или сунуть ему в руку карамель. И, думаете, дети это ценят? А как же! Таких сорванцов, как в нашем Биробиджане, ещё поискать. Если солнечным днём вы увидите на дороге яркий мячик, не вздумайте его пнуть, не то месяц лежать вам с больной ногой. Мячик как пить дать набит такими камнями, какие встречаются только в Биробиджане. Нитки, лески, верёвки поперёк дороги, приклеенные монеты, падающие на голову целлофановые мешки с водой, посвисты, дразнилки и плевки всё это цветочки... В коммунальной квартире, где я живу, есть соседка тётя Мотя. И вот она повадилась по ночам есть мясо из чужой кастрюли. Конечно, не от хорошей жизни... Но кому это понравится? И вот соседский пацан Вовка со своим другом опустошили кухонный шкафчик и залезли в него. До полуночи они промучились, зато когда бедная Мотя пришла лакомиться мясом, эти двое с воплями выскочили наружу. Моте сделалось плохо, мясо застряло у неё в глотке.

«Скорая» едва её откачала. А как переполошился весь дом! Вот вам и дети.



Уж не знаю, проклятье это Божье или благословение, но у нас уйма городских сумасшедших, и знает их весь город. Ещё бы, ведь о каждом ходят анекдоты. Вот, говорят, Зяма Кручинецкий съел на спор сорок пирожков с повидлом и остался жив. А его диалог с кондуктором знает весь Биробиджан:

- Зяма, берите билет.
- Не могу. Я ненормальный.
- Тогда идите пешком.
- А как же... Что я — ненормальный?

А блаженный Яша Трахтман?! Он всегда ходит по улицам с ящиком инструментов, улыбается и со всеми раскланивается. Любую поломанную скамейку или песочницу он считает своим долгом починить. Если ему дали доски, то у Яши счастье. Тогда он мастерит и горки, и беседки. А какой вежливый этот Яша! Вот вам пример, сама видела. Идёт по лужам какая-то соплячка и выставляет на обозрение всему городу свою ручку с новыми часиками. Так её рука вперёд и торчит. И ей повезло, навстречу Яша... — Доброе утро, мадам! Который час?

«Мадам» краснеет от удовольствия.

— Большое вам спасибо, милая девушка. Будьте здоровы! До свидания!

При этом Яша, сверкая глазами и брызгая слюной, почтительно кланяется. И таких чудиков в городе уйма. Есть ненормальная Броха, что рождает каждый год одних девочек. Их у неё выводок. Причём девки получают нормальными через одну. Но и те, что удались, бегают по улицам грязные и голодные. Благо, что их опекают сердобольные старухи, иначе бы они умерли с голоду. На углу пересечения улиц Ленина и Калинина сидит огромных размеров еврей. Ноги его не носят, а шнобель такой, что можно принять за флагбаум. Зато этот Пантагрюэль весь в наколках. Смотрит на мир мудрыми глазами и всем сообщает, что «жареные гвозди на зоне едал». А Макс? Ходит с судками в столовую. И зимой, и летом он без шапки. Стужа минус сорок, деревья от мороза трещат, воздух звенит, глаза стынут... А Макс без шапки. Смотреть страшно. «Макс, надень шапку!» Но нет, ему не холодно. У него плешь на всю макушку, зато по бокам длинные курчавые патлы, и голову свою он совсем не бережёт. Он рассказывает, что все родственники у него в

Париже. И сам он туда вот-вот поедет, поэтому и шапка ему ни к чему. Но он скорее поедет на кладбище, чем в Париж. И вы знаете, город любит своих сумасшедших. Их здесь никто не обижает, упаси Бог, не бьёт, над ними только подсмеиваются.



Ой вэй, у нашего Биробиджана, внутри столько боли... но только это одному Богу известно.

Когда с сорок восьмого года принялись сажать народ, никто в этом городе не мог поручиться за здоровье своей головы. Забирали журналистов, врачей, учителей, актёров и даже музыкантов. За что?! Да ни за что! Всех этих людей знали в нашем маленьком городе с ног до головы. Это были почтенные люди. За что их могли посадить? Только за то, что они дышат? Пожалуй, было проще сойти с ума, чем ответить на этот вопрос. Да ведь и ты можешь быть следующим.

И вот в 1953 году люди стали возвращаться из лагерей. Видели бы вы их измождённые, потерянные лица. Они ни на что не жаловались, они вообще не хотели говорить о том, что с ними случилось. Будто и не покидали Биробиджан. Их страх шёл впереди них на целый километр. Моя соседка по коммуналке — Люба Вассерман. Она у нас известная женщина. Пишет стихи на идише. Я Любиных стихов не читала, поскольку не знаю этого языка, но ценители их хвалят. За стихи-то её и посадили. Хотя, казалось бы, кому нужны стихи на идише, кто в нём что-то понимает? Но отсидела Люба за стихи больше шести лет. Все эти годы её муж, Мойше Бенгельсдорф, ждал жену и воспитывал сына. Я с Любой дружила и до тюрьмы, дружу с ней и сейчас. И вы ду-

маете, Люба хоть раз рассказывала мне о своём горе? Ни разу! Хотя...

Однажды Люба вытирала пыль, а на этажерке лежала большая рыбья кость с зазубринкой. И вот эту кость она мне показала, а потом вынула из комода кружевную салфетку: «Вот это кружево и было связано этой костью». Ни спиц, ни крючка в лагере не было, её подруга связала кружево тем, что было. И эту память Люба хранила в своём комодке. И ни слова более, ни вздоха. Но Любе-то ещё хорошо, её ждал муж. А каково было тем, кого не ждали?

Другой поэт, Исроэл Эмиот, вернулся из лагеря на биробиджанскую лавочку. От несчастного Эмиота лишь тень осталась. Он был разут и раздет. Вся редакция газеты «Биробиджанской звезды», в которой я работаю, бросилась ему помогать. Даже «швэйной» фабрике дали задание одеть поэта Эмиота. Там ему и сшили абсолютно всё: от трусов и рубаш до пальто. Ну что вам сказать? Половина народа не вернулась вовсе. А кто из журналистов вернулся, пришли назад, в свою редакцию. И Наум Фридман, и Бузи Миллер, и Мойше Рабинович.



Редакция газеты — это диковинное место, двери здесь не закрываются. Народ верит своей газете, а газета старается для людей. Я работаю в отделе писем. О! Наш отдел биробиджанцы просто обожают. Жить без него не могут. Мало того что они пишут нам по любому поводу, они ещё любят сюда наведываться и спрашивать, дошло ли до нас их письмо? И что мы по этому поводу думаем? О некоторых друзьях газеты так стоит рассказать. Их приход в редакцию не хуже концерта Райкина. Вся редакция порой так смеётся, что стекла звенят. Например,



любит к нам захаживать Исаак Вассерман, он регулярно приносит нам заметки о своей швейной фабрике. В народе её любовно называют «швэйка». Исаак по-русски почти не говорит, а пишет и того хуже. Но как патриот своей фабрики не может молчать. Весь мир должен знать о замечательной «швэйке». И он приносит нам заметки такого содержания: «С первого марта фабрика переходит на выпуск дамских демисезонных пальто, начиная с ясельного возраста». А потом перечисляет ударников, которые будут шить эти пальто. И на подобные заметки он неистощим. А чего стоит древняя старуха с мокрым носом — Доня Симховна

Гитерман? Уж не знаю, какими ветрами занесло её к нам из Одессы, но ходит она в лохмотьях, замёрзшая и голодная. На носу у неё висит капля и норовит упасть, но так и не падает. Однажды мы напечатали её заметку и заплатили кое-какой гонорар. И вот она что-то скумекала и повадилась к нам в редакцию носить заметки. Мы и предположить не можем, на какую тему будет её очередной шедевр. Это может быть негодующий вопрос, например: «Почему не поют песню “Дело было под Полтавой”?» Я внимательно слежу за судьбой этой песни, и ни по радио, ни по телевизору она не звучит. Я просматриваю программу — её нигде нет. Будто этой замечательной песни и в природе не существует. И что же это за безобразие такое!» — и длинное возмущение по этому поводу. Пару дней назад Доня Симховна снова клокотала. Она написала заметку на злободневную тему: «Какой кошмар! В продаже нет медиаторов. Я обошла все магазины, но медиаторов нет!»

— Стоп, — говорю, — Доня Симховна, что такое медиатор?

— Как, вы не знаете, что такое медиатор?! Вы не играете на балалайке?

— Ну разве я похожа на человека, играющего на балалайке?

— Медиатором таки играют на балалайке. Это такая пластинка из целлулоида, чтобы пальцы не сдирались.

Вам надо себе представить балалайку и медиатор, глядя на Доню Симховну. Ну совершенно несовместимые понятия. Но это ещё цветочки... Старуха любит писать воспоминания: «Я жила в Одессе, где всё принадлежало Бельгийскому обществу, даже трамвайная линия принадлежала Бельгийскому обществу». И в скобках почему-то приписано: «Читайте Горького „Мои университеты“». Мы всей редакцией ломали голову, пытаюсь связать Бельгийское общество, Одессу и «Мои университеты» Горького. И вот с такими воспоминаниями Доня Симховна заходит к нам регулярно.

А Лазарь Дегтярь? Это просто шолом-алейхемовский герой. Колоритнейший еврей. Уж на что у нас в Биробиджане своеобразный народ, но Лазарь это что-то особенное. Казалось бы, уж у нас носом никого не удивишь... Но нос Лазаря не идёт ни в какое сравнение: на него садятся голуби! Одет Лазарь в протёртую до дыр форму телеграфиста не знаю каких годов. То есть это китель и фуражка, но на то и на другое страшно смотреть. Приходит Лазарь Мойсеевич с исключительно практическими вопросами. А что делать? Его злейший враг — тот самый дворник Бенчик. На него и приносит Лазарь жалобы. Беда ещё в том, что Лазарь и Бенчик живут в одном дворе, а про их тяжбу с сараями знает весь город. Когда построили эти сараи, Боже мой, сколько было счастья! Но Лазарь пришёл с жалобой.

— Вы радуйтесь, Лазарь Моисеевич, чего же вы жалуетесь?

— Как я могу радоваться, когда Бенчик взял и занял мой сарай. Я остался без сарая, что же мне делать?

— Действительно, что же вам делать?

— Как что? Я сверху его замка повесил свой замок.

Теперь ни Бенчик, ни Лазарь не пользуются новым сараем. Но пока Лазарь жалуется на Бенчика — полбеды. Однажды он заявился к нам со старой дерматиновой кошёлкой, которая, казалось, вот-вот развалится. Поставил её у двери и говорит: «Вы понимаете, этот Бенчик, он же только деньги получает, он же ничего не убирает. Вот если Бенчик найдёт рубль, он его обязательно подымет и возьмёт себе, а целую дохлую кошку он не видит. Сегодня с пяти часов утра я шёл за ним следом и заглядывал в урны». (Вы себе представляете, этот Лазарь встал в пять утра, чтобы шпионить за Бенчиком!) «И вы знаете, в одной урне рядом с вашей редакцией я нашёл дохлую кошку, я даже могу вам её показать». И Лазарь нагибается к кошёлке. Тут моя напарница Мария Савельевна, женщина весьма брезгливая, начинает визжать и падать в обморок. «Не надо, — говорю, — Лазарь, не надо её вынимать, мы вам и так верим. Несите её в милицию, в санэпидемстанцию, куда хотите, только подальше отсюда». У Лазаря Моисеевича есть дочка, она от рождения инвалид. У неё что-то с ногами. И что бы Лазарь ни рассказывал о ней, всегда говорит «моя дочка-калека», без этого определения он о ней не упоминает. «Я вам расскажу, что со мной вчера случилось. Сижу я дома со своей дочкой-калекой и, извините за выражение, кушаю. Вдруг — бац, в окно летит камень. Я голый выскакиваю на улицу и вижу, они уже бегут по той стороне. А никого нет.

Вдруг вышел из подъезда какой-то еврей. Я ему кричу: хватай! лови! Вы думаете, мне был толк от этого еврея? А как же! Он тут же забежал назад в подъезд». После долгого рассказа мы понимаем, что Лазарь таки схватил трёх мальчишек и привёл в милицию. «Их построили в ряд, — продолжает он. — Такие красавцы! Ну такие красавцы!»

— И что же вы хотите от нас, Лазарь Моисеевич?

— Как? А кто же мне будет стекло вставлять?!



А ещё к нам приходят поговорить о политике. Поговорить об этом в редакции газеты — святое дело. Впрочем, в Биробиджане о политике говорят везде. Это не город — это пуп земли, здесь решаются судьбы всех стран и народов. И пуп этот в основном сосредоточен у ворот рынка. Здесь всегда толпа евреев: вместо того чтобы говорить о цене на мясо и помидоры, они решают судьбы мира. Когда кто-то устанет рассуждать и размахивать руками, его место тут же занимает другой. Здесь гвалт на идише круглый год. Поговорить в Биробиджане любят. Если вы, не дай Бог, спросите у какой-либо трясущейся старухи, как дойти до аптеки, то пиши пропало. Три часа как минимум у вас уйдёт на выслушивание её биографии, на подробности жизни её детей и соседей... А потом она ещё сама пойдёт вас провожать до этой аптеки. На вопрос «который час?» вам ответят вопросом «что, вы не знаете который час?» На вопрос «где вы живёте?» — «как, вы не знаете, где я живу?» И действительно, в этом городе невозможно чего-то не знать. Если с вами приключилась такая напасть, вам сейчас же всё расскажут.

А как народ здесь любит писать! Каждый, кто научил-

ся писать, уже писатель. А уж если мы опубликуем пару строк, радости нет предела. «Писатели» счастливы я вам не передам как. В Биробиджане очень любят писать жалобы, и мы обязаны принять меры. На нашу газету надеются, и мы не подводим. У нас даже есть регулярная рубрика «Письмо позвало в дорогу». В течение двух недель жалоба должна быть рассмотрена и меры приняты, поэтому каждое письмо с любой жалобой отправляется по инстанциям. А уж что нам отвечают начальники!.. Эти ответы нужно издать как юмористическую книгу. Например, есть у нас начальник железнодорожной станции товарищ Шпилько. И вот написали жалобу, что на виадуке нашего вокзала нет лампочек и страшно ходить ночью по виадуку. И товарищ Шпилько нам ответил: «На ваше письмо сообщаю, что виадук станции Биробиджан освещён двумя лампочками, частая перегораемость которых создаёт видимость неосвещённости».

Вот такие перлы мы получаем. Но у нас есть один штатный жалобщик. Он жалуется на всех подряд. И его, к несчастью, выбрали общественным контролёром. Никто не захотел в контролёры, а Затонайченко захотел. Так он не даёт проходу ни одному заведующему магазином, ни одному начальнику базы. Он занимается расследованием и поиском хищений, и каждый день к нам от Затонайченко идут письма, а в них жалобы: «За недопуск общественного контролёра к материальным ценностям и обзыв его личности словом „засранец“ требую привлечь к строгой ответственности такого-то и такого-то». Надо вам сказать, что Затонайченко большой моралист. Обо всех, кто «аморально» себя ведёт, он тут же сигнализирует. Так он написал об одной женщине: «За шесть лет своей совместной жизни с мужем она успела

шесть раз свестись и развестись, и неизвестно, сколько бы раз она ещё сходилась и расходилась, если бы он не скончался!» Некоторые его жалобы и вовсе неприличные, но пусть они останутся в наших редакционных «анналах». А вот наших селькоров часто тянет на поэзию. Так, Мойше Рак из Валдгейма пишет зарисовки. Он пытается художественно изобразить всё на свете: «Коровы при свете восходящей луны молчаливо стояли в загоне и жевали сено». И далее в том же духе.

Да, Биробиджан — город писателей. Как видите, здесь живут очаровательные люди. Покажите мне ещё такой город, где бы все русские стали евреями. А что делать, если вокруг одни евреи, правда, с примесью разного другого народа — русских, корейцев, нанайцев. Но кто здесь отличит нанайца от еврея, а уж тем более от русского? Когда за твоим “выродком” присмотрит баба Рива, займёт очередь за молоком тётя Фэйга, а починит канализацию сосед Яша? Если вы думаете, что я еврейка, то вы глубоко ошибаетесь. Звать меня Нина Филипкина, и во мне ни единой еврейской кровиночки. И всё же по духу я еврейка. А как же? У нас в Биробиджане все евреи. И если вы вдруг захотите стать евреем, то ради Бога, кто вам мешает? Просто приезжайте к нам в Биробиджан.



**Уильям Гроппер (1897–1977). В поле.**

Из альбома, выпущенного ИКОРом в 1929 году в связи со своей деятельностью в США и Канаде в поддержку еврейской колонизации в Советском Союзе.



## ЕЛЕНА МАРУНДИК

### Считай, Маруся...

Кто не наслышан о поэтической сенокосной поре, той самой, с волшебными восходами, тяжелыми росами и пьянящим запахом чуть увядшей травы?! Это сейчас сельские жители за молоком и молочными продуктами, как горожане, в магазин ходят и покупают там товары зачастую не первой свежести и неизвестно какого качества. Раньше же не было в селе двора, где не держали бы корову и не имели бы к столу домашнего молока, густой — ложку не перевернуть — сметаны и самодельного рассыпчатого творога.

Летом для большого общественного стада нанимали пастуха, а за неимением оного, пасли коров по очереди, по дворам. Соответственно, все ближайшие луга были заняты под пастбища, а места для заготовки сена искали подальше, на богатых травами угодьях вдоль берегов Тунгуски. По той причине, что охотников до не столь отдаленных покосов было немало, иногда косарям приходилось забираться достаточно далеко от дома. Един-



ственным ограничением было неписаное правило: почти все маршруты пролегали вверх по течению реки, случись что с мотором, можно выгрести на веслах, река сама поможет.

Заготовка сена в Приамурье — дело совсем не простое. В июне зачастую стоят сушь и жара, но стоит травам набрать силу и вступить в сенокосную пору, зарядят затяжные дожди, не дающие скошенной немалыми усилиями траве высохнуть, она начинает преть, перегреваться — и корм испорчен, коровы такое сено есть не будут. Если учесть, что все взрослые были заняты на нелегком производстве (в Соцгородке это была мебельная фабрика), а пора сенокосная по времени совпадала с огородной страдой, то заготовка сена ложилась тяжелым бременем на всех способных хоть чем-то помочь в этом деле.

Мужчины, согласно поговорке «коси, коса, пока роса», заранее, с вечера точили и отбивали косы, вставляли затемно и начинали работу ранним утром, когда чуть начинало светать. Со стороны можно было залюбоваться тем, как красиво и легко, прямо-таки играючи двигались косари. Под четкими, как по маслу скользящими взмахами косы густые травы, казалось, сами падали и укладывались в ровные валки. На самом деле эта кажущаяся легкость была величайшим искусством, требующим к тому же большой выносливости и немалой физической силы. У новичка-неумехи коса не срезала, а кромсала траву, да еще норовила воткнуться своим острым концом в землю и сломаться.

Позже, когда солнечные лучи выпивали росу и подвяливали скошенную траву, валки ворошили, то есть переворачивали граблями на другую сторону. Это делалось для того, чтобы ускорить сушку, особенно при неустой-

чивой погоде. Окончательно высохшее, слегка похрустывающее зеленоватое сено сгребали в большие — сколько хватало сил — кучи. Затем наступало время тяжелой работы, в которой ребятня мало чем могла помочь взрослым: уложить готовое сено в копны, переволочь их к берегу, а там сметать в стога. В качестве тягловой силы выступали наши родители, хотя, конечно, мы, дети, работали тоже не шуточно, подбирая упавшие клоки, подгребая остатки. Всему этому «романтическому» процессу сопутствовали колючая стерня, влажная жара, комарье, сменяемое с восходом солнца мошкой, слепнями и оводами — на отсутствие гнуса Приамурье никогда не жаловалось.

Тем не менее мы всегда находили время для развлечений: поплескаться в какой-то тихой заводи или озерце, наловить рыбы для наваристой ухи, пахнувшей дымком и сдобренной диким луком, здесь же на лугу собранным, поваляться в траве, полюбоваться буйным цветением диких пионов в соседней релке. Да мало ли важных дел бывает у детей, когда взрослым не до них.

Наверное, самое раннее воспоминание об этих днях, это когда я, вероятно, совсем малая, отошла чуть в сторону и оказалась в густой траве, утопившей меня с головой. Хотя взрослые были буквально в нескольких шагах от меня, но свою беспомощность, обуявший ужас, чувство, что никто и никогда не отыщет меня и не поможет выбраться из этого страшного сказочного леса, я помню до сих пор. Но несмотря ни на что мы любили эту пору. Немаловажным было то, что на покос, как правило, выезжали вместе с соседскими семьями, с которыми родители были дружны. Всегда суровый дядя Клавдий и шумный, немного балаганистый дядя Валя и их домочадцы всегда были рядом, в труде и обязательном после окон-

чания страды отдыхе, с выездом на косу всей братией, с рыбалкой, ухой и всякими другими мелкими радостями. Таким образом, среди многочисленной детской компании всегда находились единомышленники, готовые поучаствовать в претворении в жизнь важных и неотложных идей и дел, которых в наших головах рождалось множество. И, надо признаться, не всегда они были благоразумны и безопасны.

Когда основная работа была позади, и взрослые могли немного расслабиться, все дружно рассаживались вокруг расстеленной прямо на траве скатерти с немудреной, наспех собранной едой. Мы получали удовольствие от общего разговора, шуток и просто от того, что вечно занятые родители в это непродолжительное время дневного отдыха были рядом.

Но накосить сено и сметать его в стога было только частью работы. Предстояло еще перегрузить это сено на огромные лодки — баркасы, связанные попарно между собой, и перевезти по Тунгуске к подножию сопки на берег протоки, а затем наконец доставить домой. Только когда стог водружался на задворках у сарая, можно было вздохнуть спокойно.

Все эти многочисленные операции по перевозке и перекладыванию стогов совершались при помощи человеческих мускулов, вил и грабель, техники, разумеется, не было никакой. К тому же своенравная Тунгуска никогда не давала забыть, кто здесь, на реке, главный. Результат многодневного изнурительного труда мог быть уничтожен в один момент стремительным подъемом воды, иногда сено выхватывали прямо под носом у разливающейся стихии.

Сама перевозка по реке тоже таила опасности. Требо-

валось уложить сено на баркасы так, чтобы не нарушилось их равновесие, иначе стог мог сползти в воду или утопить лодки. Поэтому эта работа доверялась только самым опытным и умелым. Затем баркасы цеплялись за лодку с мотором и неспешно тащились вниз по реке по направлению к дому. Когда малосильную чихающую «Стрелу» сменил «Ветерок», а затем и более мощный «Вихрь», это уже было чудом скорости и цивилизации. Особым искусством было умение ювелирно точно направить тяжело нагруженный, болтающийся на подвижном тросе огромный стог с просторов Тунгуски в узкую извилистую протоку, ведущую к подножию сопки.

Для нас высшим удовольствием были моменты, когда родители позволяли нам взбираться на вершину стога и с высоты взирать на проплывающие мимо берега. Как я сейчас понимаю, такой способ нашего передвижения был авантюрным и смертельно опасным. Мы клятвенно обещали на верху стога не баловаться и держали свое слово. Но если бы мы нырнули в воду вместе с сеном, даже неплохо умея держаться на воде, выбраться вряд ли смогли бы. О спасательных жилетах тогда никто не знал и не думал, а социальных служб, к счастью для нас и родителей, в помине не было.

Случаи, когда сено тонуло, напротив, бывали. Главным действующим лицом одного из них был наш дядя Константин. Он был старше отца на восемь лет, всегда спокойный, мудрый и рассудительный. Однажды при подобной перевозке сена, когда из-за поворота реки уже показалась сопка, на которой раскинулся поселок, и дом был близок, он с облегчением сказал сидевшей рядом жене: «Считай, Маруся, сено дома». Надо же было слушаться, что именно в это время ползущие тяжелой чере-

пахой баркасы обогнал катер. Расходящиеся от него волны резко накренили лодку, с таким трудом заготовленное сено поплыло по реке. Онемевшим хозяевам оставалось только проследить горестными взглядами его медленное, но неуклонное погружение в глубину вод. Изнурительно тяжелую работу нужно было начинать сначала.

С тех пор, когда в нашей семье кто-нибудь, как говорится, бежал впереди паровоза, начиная подводить итоги еще не оконченным делам, его возвращали на землю одной фразой: «Считай, Маруся, сено дома».



## ШЛОМО НЕЕМАН

### Учитель по имени Школьник

Биробиджан — уникальный город в своем еврейском смысле. Город моего детства, в котором около 20 процентов населения были евреи, что может сравниться разве что с Бердичевом и ему подобными штетлами.

Казалось бы, с одной стороны, все кругом еврейское, но с другой, он не оставлял ни толики старого еврейского аромата. Настоящий советский еврейский город. Единственный в стране, единственный в мире, единственный во вселенной. Это была наша маленькая еврейская вселенная: без подпольных синагог и без подпольных раввинов, без подпольных миньянов и без подпольных шойхетов и мозелей. Без подпольных УЧИТЕЛЕЙ.

Может, они, конечно, и были, но еврейскому мальчику начала семидесятых никто о них не рассказывал. А значит, для нашего поколения ничего этого не было. Бабушка Соня, с трудом говорившая по-русски, объяснила,

что она уже умрет, какой родилась — то есть еврейкой, а мы вырастем «обычными людьми».

Так бы и получилось, скорее всего, но наш Биробиджан был еврейской столицей. Его советский идиш тискал бумагу всесоюзной газеты. Загадочная «Биробиджанер штерн». Справа налево. Была, конечно, и «Биробиджанская звезда» — наша, русская, доступная, понятная и простая, как вся страна. Ее мы выписывали и читали. А вот нашу «Штерн» оставляли в киосках «Союзпечати» этакой звездой, помечающей наш особый город. «Биробиджанер штерн» — наша «желтая звезда».

Мне посчастливилось родиться и вырасти в настоящей еврейской семье без капли знаний и традиций. В нас была только еврейская кровь, и наша кровь была только еврейская. Ребенком я этого, конечно же, не ощущал никак, но уже с первого класса начал разбираться. Ватага дворовых мальчишек, стреляющих из рогатки по «жидам» (так у нас называли воробьев), вгоняла в краску и гнала прочь со двора в шахматный кружок Израйлича — так все называли нашего вечного гениального тренера Израйля Рувимовича Шейнмана. Там мы были как за каменной стеной.

Леонид Борисович Школьник был взрослым кумиром. Одним из лучших друзей моего дяди Ильи Ревича (пожизненного философа в изгнании), а значит, и другом семьи. Дядя Лёня все знал. Всегда всё знал. Он читал все газеты мира, он разбирался в международной обстановке, он мог объяснить процессы. Он знал, чего ожидать. Он был главным редактором «Биробиджанер штерн». Он знал, что будет написано в завтрашней газете.

Годам к двенадцати мне жутко захотелось разговаривать на нашем идише. «Бабуля, научи!» «Ну, дедушка,

пожалуйста». Но вот бабушка и дедушка, покоящиеся сегодня в родной Земле Израиля, не учили. «Сына, тебе это не надо».

Родившиеся и выросшие на Украине, они учились в еврейской школе, не знали ни слова по-русски до ее окончания в 1941-м, а потом почти 50 лет не говорили на родном языке. «Война и мир»... Зачем внуку эти проблемы? «Сына, тебе это не надо».

Но, как говорится, Бог не фраер, нашелся другой канал. Дядя Лёня записал в школу молодого журналиста. Был и такой кружок в Биробиджане. При редакциях местных газет. С десятков ребят, мы учились журналистскому делу, многие из нас были евреями. А у меня блат — друг семьи.

— Леонид Борисович, хочу писать заметки не в «Звезде», а в «Штерне», а идиша не знаю. И бабушка с дедушкой не хотят меня учить.

Школьник моментально отреагировал — давай учить идиш при школе молодого журналиста. Один из переводчиков газеты, если мне не изменяет память, Наум Абрамович Кравец, стал нашим первым учителем идиша. Ну а Леонид Борисович наставником. Пишем заметки, сами их переводим, а наш дядя Лёня организует публикацию. К пятнадцати годам от роду уже свои заметки, ну и гонорары, конечно. Подумать только — у советского мальчика собственный трудовой доход. От публикаций на идише! На этом этапе уже и бабушка с дедушкой заговорили. Поняли, что сыне это таки надо.

Изучение идиша стало для меня точкой отсчета еврейского самовоспитания. Было это только в моей голове или же на самом деле, но город будто бы пробудился. Сначала создание культурного общества «Эйникайт», а



затем Леонид Борисович принес новую идею: создаем ОДИКСИ — Общество Дружбы И Культурных Связей с Израилем. Практически сионистская организация.

Молодежь сделала следующий шаг и создала движение «Бейтар». Совсем уже неприкрытый, можно сказать, оголтелый сионизм. Школьник всегда был рядом. Его креативная душа ни на секунду не отставала. Газета «Мабат» — «Взгляд», а затем журнал «Адар». Материалы, посвященные еврейскому возрождению, перепечатки зарубежных изданий — все это доставалось, переводилось и выходило в свет под чутким руководством дяди Лёни. Иногда гласно, а зачастую через нас, ничего не понимающую, а потому и бесстрашную молодежь. В стране уже всю перестройка и гласность, а нас «октябрюта» зовут на разговор-внушение. (Здание областного ГБ находилось на улице Октябрьской, потому и называли мы их октябрютами.)

Когда Леонида Борисовича избрали депутатом Верховного Совета СССР, он получил служебную «Волгу». Советская власть наверняка переворачивается в гробу, узнав, сколько мицвэс сделано на этой Волге. Первый публичный пасхальный седер в Биробиджане организован Леонидом Борисовичем с помощью израильских эмиссаров Яира и Рухамы Плессер. Их приезд стал поворотным событием в жизни советского Биробиджана, а депутатская «Волга» встречала, провожала, возила мацу и вино, присланные из Израиля.

Однажды наша молодежь решила организовать акцию «переименования» городских улиц. Названия мы, конечно, не меняли, но вот приготовили таблички на идише и ночью наклеили поверх оригинальных, на русском языке. Мол, область-то еврейская, так почему же

названия улиц только на русском? Мы лазали и крепили наши «идише картонки», а возила нас по ночному Биробиджану та самая депутатская «Волга». Смех и грех...

Невозможно себе представить эпоху нашего локального биробиджанского возрождения без эрудированного, неустанного, веселого и находчивого, всегда готового на приключения, всё знающего, талантливого и неравнодушного, до мозга костей еврейского Леонида Борисовича.

Школьник был нам Учителем еврейской жизни. Был и навсегда останется таким в нашей памяти.



## ПАВЕЛ ТОЛСТОГУЗОВ

### **Крот и Филин, или Хорошо посидели**

Это было в самом начале 1990-х в Биробиджане. На дворе стояла очень холодная зима. В городе время от времени выключали свет, а в магазинах было шаром покати.

Два продрогших до костей гопника Крот и Филин устали ждать какого-нибудь случайного неопасного фраера и зашли в ресторан. Они попросили себе маленький графинчик и закусить. В небольшом привокзальном ресторане отъезжающие в Израиль евреи обнимали близких, плакали, говорили друг другу «на следующий год вместе в Иерусалиме» и «мы едем на нашу единственную настоящую родину». Некоторые чёрным матом крыли «эту бл\*дскую Россию». В общем, они уезжали. «Жида еб\*ные, — негромко сказал Филин. — Где мой пулемёт?» «Да ладно, — сказал Крот. — Просто им есть куда уезжать. Нам некуда».

После графинчика их слегка развезло, но надо было идти: в позднее время самая работа. Было уже совсем темно. На крыльце ресторана стояла группа курильщиков. Спускаясь по ступенькам, Филин случайно задел одного из них, и тот огрызнулся: «Смотри, куда идёшь». Филин рассудительно ответил: «Смотри и ты, пока на ногах». Им в спину отчётливо прозвучали слова: «Грязные гои».

Филин спросил Крота: «Это он чего сказал?» Образованный Крот пояснил: «Это типа пидора по-еврейски». Филин круто развернулся. «Кончай, — сказал Крот. — Во-первых, их много. Во-вторых, это же по-еврейски!» «Ни хера, — сказал принципиальный Филин. — Пусть по-еврейски. Я его пидором не называл». Он вернулся к курящим и спросил: «Эй, печенюшки, кто тут на меня батон крошит?» Крот не расслышал негромкого ответа. Филин ударил кого-то, потом били Филина, потом били Крота.

Появилась милиция. В Биробиджане расстояния невелики: через десять минут Филин, Крот и двое курильщиков из ресторана сидели в отделении за решёткой. Была ночь, и никто из служивых не спешил отбирать показания. Филин сосредоточенно вытирал пальцем кровь в углу рта, а Крот, тихонько матерясь, потирал ушибленную при падении на обледенелый тротуар ногу. Их неприятели рассматривали урон в своей одежде. Филин почувствовал необходимость как-то достойно завершить ситуацию. Он сказал: «Эй вы, сучата, слушайте сюда. Я вам обещаю...» Один из ресторанных курильщиков поднял голову и сказал: «Серёга, ты что ли?!» Филин узнал в говорившем своего бывшего одноклассника и оборвался на полуслове: «Ё-моё, Лёня!»

Пяти минут хватило, чтобы окончательно прояснить все коммуникативные нюансы происшедшего и признать, что между земляками произошла неправильная неприятность. Когда наконец к клетке подошёл знакомый милицейский капитан, Филин сказал, что претензий ни у кого нет и что тротуар очень скользкий. Капитан заметил: «Ты у меня доскользишься... Часто попадаться стал». Филин пообещал исправить эту оплошность, и их отпустили.

Все четверо вернулись в ресторан и ещё часа два пили, пели и обнимались. Наутро у Филина, вообще склонного к мигреням, сильно болела голова. Крот сбегал за цитрамоном. Когда таблетка немного подействовала, Филин сказал: «Мы вчера это... хорошо посидели».



## ВИТАЛИЙ БУРИК

### Несколько дней у озера

Машина вязко чавкала глиной из разбитой колеи, с ней предстояло немало повозиться, и мы, приехавшие в заказник «Забеловский», спешили. Уже лишь несколько сотен метров отделяло нас от кордона.

Середина апреля. Ночью — минус пять, днём — плюс семь. Редкие деревья вокруг ещё голые, а на пространствах меж ними — по пояс луга жёлтого прошлогоднего вейника. Ну прямо-таки саванна зимой, если уместно такое сравнение. По колее среди высохшей травы подходим к протоке, за ней — кордон, где нас давно ждут. Переправляемся с поклажей на резиновой лодке, и вот мы уже «дома».

Кордон, располагающийся на высокой рёлке, — это двухэтажный деревянный дом, банька, стоящая неподалёку, и рядом — строительный вагончик. Пахнет свежеструганной доской. Усадьба заказчика ещё строится. На днях обещают доложить печку в основном здании, а пока располагаемся в тёплой баньке и в вагончике.

Забеловка — место уникальное. Здесь, в отдалении от больших дорог и посёлков, под надёжной охраной пограничных застав, сохранился ещё нетронутый разрушительной силой хозяйственной деятельности участок амурской поймы с озёрами, лабиринтом петляющих сонных протоков, зачарованными высокотравными лугами, негустыми, но обильными живностью перелесками-рёлками.

Сейчас, в середине апреля, над этими местами идёт пролёт многосотенных стай водоплавающих птиц, гусей, лебедей, уток, куликов, возвращающихся из тёплых стран на родину. Озёра заказника служат им хорошим естественным пристанищем, где можно вволю почистить перья уставших крыльев, отдохнуть на воде, подкрепить силы изобилующей здесь рыбой и лягушками.

— Вон они, серые гуси, примерно полторы сотни в клёне, — говорит, глядя в полевую подзорную трубу наш орнитолог Андрей и, переведя взгляд объектива на серебристую кромку озера, подзывает к окуляру. — Смотри, вон там, чуть справа, лебеди-шипуны. Пять штук.купаются.

Следующим утром сквозь зоркое око трубы рассматриваем пару даурских журавлей, важно ступающих вдоль самой кромки берега. Неподалёку, описывая широкие круги над замершей мелководной лагуной и вдруг камнем падая на ещё сонную рыбу, охотится царственный орлан-белохвост, самый крупный пернатый хищник этих тихих мест. Впрочем, таких ли уж тихих? Гоготание, воркование, курлыканье, крикание не прекращаются до самых сумерек. А утром, каждый день ровно в шесть тридцать, нас будит затейливой трелью какая-то маленькая жизнерадостная птичка, видимо, на её языке это что-то вроде: «Ну-ка, солнце, ярче брызни!..»

День проходит для биологов в хождениях вдоль изви-  
листых протоков, наблюдениях за птичьим населением,  
ихтиологи делают замеры уровня воды, проводят кон-  
трольные ловы рыбы. Рыбе здесь тоже привольно, осо-  
бенно в многоводные периоды. Сюда, в заросшее по бе-  
регам камышами мелководное илистое Забеловское озе-  
ро, начиная с ранней весны, чуть тает амурский лёд, во  
множестве устремляются щуки, караси, сазаны... К концу  
мая, когда вода достаточно прогреется, здесь появляются  
другие жадные до обильного корма гости — сомы, тол-  
столобы, змееголовы, заходит и белый амур, а с ними —  
несметные отряды стайных амурских рыб помельче: че-  
баков, востробрюшек, подустов, пескарей...

Конец мая. Наш второй выезд на кордон. Вода прибы-  
ла, егеря говорят — «у рыбы — жор». Теперь можно по-  
рыбачить в охотку на спиннинг и удочку. Раннее утро.  
Вдвоём с Константинычем спускаемся к протоке. От  
воды парит туманом, болотники наши вымыты росой  
высокотравья, ещё не успевшие стряхнуть сладкую  
утреннюю дрёму, подходим к пологому берегу.

Константиныч забрасывает удочки и буквально через  
минуту выуживает карасика с ладонь. Ловим карасей,  
иногда попадаются коньки. Для разнообразия решаю  
«обновить» спиннинг, забрасываю с живой насадкой —  
гольяном, ставлю на рогулилку и предаюсь отдохновен-  
ной рыбацкой беседе со своим спутником. Вдруг — треск  
катушки, спиннинг падает в воду. Времени для размыш-  
лений нет — прямо за леску, осторожно, без рывков, на-  
чинаю выуживать, иногда даю слабину, иногда — подтя-  
гиваю... И вот через несколько минут перед нами — амур-  
ский сом собственной персоной, килограмма на полтора.



Странно менялось моё отношение к рыбалке и водным обитателям. С детства любивший посидеть с удочкой на берегу реки, я никогда не воспринимал рыб как в полной мере живых, что ли. Ну выловишь пескаря или гольянчика, который через пару минут безвольно повиснет на кукане, смотришь на него, как на будущий кошкин ужин, некий дар природы, наподобие лесных орехов и земляники... А вот при ловле крупной рыбы, сомов, сазанов, особенно — хищных щук, возникает другое видение. Видишь перед собой сильное животное, умное, приспособленное к своей среде обитания, с которым хочется говорить на «вы». Щука, попавшаяся в сети, наверняка ощущает ситуацию как досадное недоразумение, когда выпутываешь её — берегись усеянной зубами волчьей пасти — так просто свою свободу и жизнь она не отдаст...

Вечером — ароматная уха, опять традиционные рыбацкие рассказы. Вот и звёзды бледными маячками мигают над серыми строениями, сонными травами, чахлыми осинками с ведьмиными мётлами колдовского куста друидов — омёлы.

Ночью Забеловка преображается, превращается в заколдованное место, обиталище сказок, смутных предчувствий, загадочных происшествий. Орнитолог Алексей, большой мистик, однажды ночью отправился за спичками на второй этаж недостроенного дома. Вернувшись в тёплый вагончик, озадачил нас рассказом о маленьком приключении: «Поднимаюсь вверх по лестнице и вдруг чувствую — кто-то ухватил меня за пятку, и настойчиво так дёргает... От неожиданности я свалился вниз. Не иначе как леший свои шуточки шутит!»

Абсолютно уверенный в происках магических сил, Алексей и нас невольно заражает древним чувством ми-

стического трепета. Мне приходят на ум страшные истории из пионерско-лагерного детства. Пытаюсь уснуть, но напряжённый слух вылавливает из окружающей, в меру квакающей и стрекочущей, тишины таинственные звуки, гнездящиеся где-то рядом, возможно, под вагончиком. Кто-то скребётся, фыркает, сопит, и достаточно громко. Уж не очередной ли леший? Егеря смеются: «Ваш леший уже с неделю как облюбовал себе под вагончиком логово. Это енотовидная собака, людей она не очень-то боится, может жить без особых стеснений рядом с нами».

Из крупных животных в непосредственной близости от кордона егеря не раз встречали косулю, барсука; резвилась в протоке неподалёку грациозная выдра. Рядом с нашей обителью проходили и медвежьи тропы, в этом сезоне территорию барьерных валов-рёлок вдоль Забеловского озера и низины окрестных протоков делили целых три этих крупных хищника — два бурых и один белогрудый. Однажды машина наша «села» в разбитой вездеходной колее, выскочили её вытаскивать, и вот кто-то первым заметил в вечерних сумерках тёмное движущееся пятно метрах в ста за болотцем. «Никак мишка! Небольшой, чёрный, похоже, двугодок». И понеслось, по извечной народной традиции — улюлюканье, гуканье, мол, держи его, косолапого! Какой «держи!» — мишка опрометью, ломая ивняк, кинулся в бегство, подальше от шумной незнакомой компании и урчащего серебристого сооружения, ничего хорошего от нас не ожидая.

И ещё одна необычная встреча запомнилась мне надолго. Выезжали с егерями из заказника. Ехали вдоль вспаханной пограничной полосы, на очередном повороте Владимир прибавил скорости: «Смотри, косуля вдоль

колючки бежит, давай догоним!» По сей день жалею, что не было с нами видеокамеры, а плёнка в фотоаппарате кончилась. Метров с десяти рассматриваю крупные белые пятна на боках залётного гостя: «Какая же это косуля, особо крупный новый вид, что ли? Это — пятнистый олень, взрослая самка». Так едем рядом с невиданным в этих местах зверем ещё минут десять, затем, притормозив, даём оленихе уйти в сторону Амура. По какой иронии звериной судьбы забрела сюда это теплолюбивая особа? Егеря потом рассказывали, что встречали в районе заказника и самца. Значит, пара оленей по зимнему льду перебежала к нам с китайской стороны Амура. И чего искали? За последние сорок лет ближайшее оседлое стадо, не больше десяти оленей, обитало в низовьях реки Хор, но это было давно. Хотя поручиться, что на юге Хабаровского края не бродят ещё отдельные группки этих животных, никто не может. Очень грустно, что судьба этих таёжных красавцев так сильно зависит от случая — многоснежные зимы, резкие холода, наводнения, и всё чаще злобещей рукой судьбы становится рука браконьера — как и в истории с нашей оленихой, отстрелянной в тех местах через несколько месяцев...

Начало июля в заказнике — время кульминации, раскрытия, фейерверка красоты и мощи приамурского зелёного царства. Налитые соком высокие некошеные травы, на водоёмах густая сеть водной растительности, молодые побеги деревьев уже в полный рост вытянулись поближе к солнцу, их крупные листья, светлые и нежные по весне, уже окрепли, заматерели и по цвету теперь не отличаются от всего густого населения кроны. Место первоцветов заняли степенные и душистые цветы зрелого лета. Медо-

носные иван-чай, леспедеца, спирея, рябинник и ещё великое множество цветов и цветочков определяют дух высоких луговин по окраинам рёлок. А чуть повыше, под сенью негустого дубняка, среди осинок — чудо местных лиственных лесов — раскрывающиеся поглощающей любого пришельца ароматной тайной бело-розовые пионы. Мы ещё на расстоянии десятка метров от «пионовой рёлки», а стойкий чудодейственный эфир уже увлёк нас, накрыл с головой. И кажется, что никакой это не медвежий угол, а сад феи, где исполняются любые желания, что это торжество мира запахов — непреходящее, вечное, и нет суеты гудящих где-то муравейников-городов, и нет неразрешимых проблем, а истина существования дана нам здесь и сейчас. Она озарена бледно-розовым свечением цветка, подчёркнута очертаниями его лепестков, движущаяся, парящая в пьянящем эфире на крыльях-лепестках, трепещущих от прикосновения лёгкого ветерка.

Вечером на небольшой плоскодонной лодке пробираемся по протоке к озеру, проверить контрольную сеть, именно пробираемся, так как протока на участке выхода из озера мелка, разбита на множество рукавов наносами песка и ила, вход в озеро сильно зарос кувшинками и розетками водяного ореха. На протяжении пути до середины озера, а это более километра, глубина постепенно увеличивается. Если в начале нашего движения сотни метров лодка чуть ли не ползёт на брюхе, то на середине, где выставлены сети, под нами метра полтора воды. После морских путешествий мне странно сознавать, что вся эта заполненная водой чаша, где дальний край чуть обозначен голубеющими на горизонте перелесками, настолько мелководна. В заливе подобной площади на та-

ком удалении от берегов под нами было бы как минимум метров двадцать своенравной солёной воды. А тут даже шторм грозит разве что задержкой к ужину, сбитыми от вёсел ладонями, в худшем случае — перевёрнутой лодкой и купанием в мутной илистой жиже.

Вот и сети. Выпутываем нескольких зазевавшихся сазанчиков, коньков, пару карасиков. Все эти рыбы находят здесь пищу на илистом дне. Ближе к берегам, рядом с прибрежной растительностью, больше разнообразных обитателей — там есть и большой выбор пищи, и места, где можно укрыться от хищников. В камышах, чавкая, лениво плавают сазаны, ворочают лопастями хвостов сомы. На обратном пути у берега ловим на спиннинг карасей, сомов, косаток. Прибрежная, богатая растительностью, полоса — наиболее продуктивная зона озера, и в маловодные годы, когда кромка воды не достигает обычной береговой черты, рыбы в озере значительно меньше.

Закат над озером. Солнце уходит, рубиново-розовые сполохи тонут в засыпающей озёрной глади. Небо остаётся светлым ещё более получаса — время пить чай и подытоживать впечатления прожитого дня. Заповедные места — в чём смысл сохранения таких нетронутых уголков, кроме прагматической выгоды от оставленного «на потом» природного резерва? Амур живет, дышит лёгкими прибрежных лесов, нежится на травах пойменных лугов во время разливов, кормит, поит, предоставляет убежище птицам и лесному зверью. Если бы это было возможным, пойму Амура стоило бы освободить от бремени человеческого влияния, использовать её с максимальной осторожностью, сохранив уникальные прибрежные сообщества растений и животных. Об этом остаётся только

помечтать. Посмотреть на вновь загорающиеся над озером, как и сотни лет назад, звёзды, прислушаться к шелесту лёгкого ветерка в кронах осин, черными силуэтами высящихся над нашим костром. Завтра возвращаемся в город, планируя новую встречу с озером на следующую весну. Как примут нас эти места в будущем году, через два года, через три? В планах природоохранных организаций — создание на побережье озера рекреационной зоны, мест регламентированного отдыха. Насколько потревожат «организованные» туристы обитателей заказника? Возможно, это меньшее зло, чем «дикие» отдыхающие и браконьеры...

Вот так, с котомкой впечатлений и вопросов, покидаем эту замороженную живую землю. Пока — живую...

**2003**



## АЛЕКСАНДР ДРАБКИН

### Всё по-еврейски

День был плохим, и лишь очень хорошее известие могло привести в норму лучше любого кофе и коньяка. Всевышний (в таких случаях даже неверующие благодарят именно его) пожалел меня. Звонок начальника областной полиции встряхнул и заставил работать. Игорь Сабирович сообщил, что одно из убийств, дерзкое и почти безнадежное, пошло на раскрытие. А это значит, необходимо срочно организовать работу следователя, оказать ему помощь... В общем, сделать то, за что мне вот уже тринадцать лет платят зарплату. И всё хорошо, да нет следователя, уехал, а уголовное дело в сейфе — вскрыть его никто не позволит.

Я же с чего начал — с того, что день был плохим. Следователь, которому поручили работу взамен уехавшего, молодой и уже чуть-чуть нервный. Глаза — олицетворение печали всего еврейского народа, вселенская усталость и полное отсутствие хоть какого-нибудь желания

разбираться в чужом деле. Зачем? К ночи вернется его коллега, и вся работа — подарок другу. И это в то время, когда своих дел неуворот. Сашка — милый ребёнок с русской фамилией — после инструктажа закричал так, будто ему не работу поручили, а поставили клизму с металлической стружкой.

— Сашенька, у нас тобой работа — сплошная непредсказуемость. Это только поезда ходят по расписанию, в котором точно указано место и время прибытия. А мы с тобой лишены роскоши, именуемой постоянством. Нас будят по ночам, отрывают от любимых женщин, вытаскивают из ресторанов вне зависимости от расписания. Когда-нибудь за это ты получишь медаль, если, конечно, дотерпишь до этого времени.

— Я понял, — печально сказал Сашка. — Я всё сделаю, только почему везде, как у людей. А у нас... всё по-еврейски.

Читатель, я остановлюсь на этом месте. Я просто вынужден остановиться, чтобы перевести дыхание. Точно так же, как в тот момент, когда услышал от Сашки «всё по-еврейски». Я напому для тех, кто невнимательно читал первую часть: день был плохим, настроение соответствующим, а тут ещё этот малой... Сейчас кто угодно может позволить себе такое выражение. Кто-то поддержит, кто-то улыбнётся, а кто и вовсе не обратит внимания на сказанное. Другое дело — в моём детстве. К слову «еврей» в Биробиджане относились с глубоким, как в те годы река Бира, уважением. Если собеседник хотя бы интонацией намекал на негативное содержание слова «еврей», он рисковал здоровьем в прямом смысле слова.

А почему, спросите вы. Так я вам скажу: получишь проблемы на лице раньше, чем успеешь извиниться. А



вы как думали? Это что касается Биробиджана. Другая сторона медали была совсем не блестящей. Она имела покрытие сродни рашпилю. Это была боль от прочитанных книг об уничтожении евреев и жертвах Холокоста. Я почему-то сразу подумал о «Тяжёлом песке» Анатолия Рыбакова. В конце концов, боль скребла по сердцу, напоминая о тупых антисемитских оскорблениях и побоях, которые довелось мне испытать в стройбате.

Всё это я прожил за долю секунды, как проживает человек жизнь, почувствовав приближение смерти. А ещё я вдруг представил себе, что сделаю с этим маленьким негодяем за его антисемитское, как мне показалось, выражение...

День не задался, настроение было... Да я же вам об этом уже рассказывал...

— И что же тебе плохого сделали евреи? — с печалью, в которой было всё пережитое и ещё то, что придется пережить, спросил я.

— Родили меня, — вдруг ответил Сашка, и кресло подомной качнулось, как от подземного толчка в пять баллов.

— То есть как это — родили? — уточнил я, поскольку услышанное столкнуло меня с крыши пятого этажа.

— Обыкновенно, как все рожают детей, так и евреи.

В кабинете стало почему-то очень жарко.

— Кто из твоих родственников еврей? — уточнил я.

— Бабушка, мама отца.

— Стало быть, твой отец, Афанасьев Андрей Александрович — еврей?

— Наполовину, а впрочем, я не разбираюсь в этом. Разрешите идти, товарищ полковник? — ничуть не изменив печальной своей интонации, спросил Сашка. И, получив моё разрешение, направился к выходу из кабинета.

Я заметил как-то: чтобы испортить кому-то настроение, необязательно быть плохим человеком. Настроение чаще всего портят не люди, а обстоятельства. Можно целую работу посвятить этому, но я не буду. День был плохим, потому что была печальной ночью. Позвонил из Тель-Авива друг мой Алик Ярмарков и сообщил, что умерла его мама — Нина Григорьевна Зайчик. Она была очень близким мне человеком, я называл её момэлэ — «мамочка» в переводе с идиша. Потом были дурные сны... Работа не ладилась. Думаю, никто из моих коллег в тот день не видел руководителя отдела криминалистики — видели старого больного еврея, уставшего ещё в начале дня. Я выпил кофе с коньяком в одиночку. Коньяка было больше, чем кофе. Мысленно я возвращался в старенький домик в захолустном районе Тель-Авива и видел маму Нину, и вспоминал, что на просьбу дождаться меня ещё раз она ответила: «Не обещаю». Обычно момэлэ говорила, что постарается...

Я вдруг представил, что могло произойти, не уточни я у Сашки некоторые моменты его родословной, и мне стало плохо. Я выпил ещё коньяку и подумал о том, что, оказывается, кроме меня, в управлении работают ещё два еврея — Сашка и его отец подполковник Афанасьев. И мне стало хорошо. Очень хорошо.



**Зуни Мод (1891–1956). Лесоруб.**

Из альбома, выпущенного ИКОРом в 1929 году в связи со своей деятельностью в США и Канаде в поддержку еврейской колонизации в Советском Союзе.



## БЕР КОТЛЕРМАН

### Бире-Биджан

*...пришельцем я стал в земле чужой*

**Шмот (Исход), 2:22**

Четыре поколения народились с тех пор, и никто уже не помнит, как мы пришли в эту землю. А было это всего через семь лет после страшных бед, когда потомки Хмеля в очередной раз беспощадно резали и жгли наших стариков, женщин и детей и затягивали петлю на наших шеях. И не знали мы, куда бежать, ибо всюду были пришельцами. И ухватились за благоволение чужих правителей, отдохавших от гонений и преследований, и послали разведчиков на далёкий восток высмотреть эту землю, а среди них знатоки вод и ветров, плодов и живности — числом всего двенадцать. И была эта земля без имени, потому как ничем не выделялась и никому не приходило в голову дать ей особое название.

И вот: семь недель ходил по этой земле маленький отряд, выясняя, тучна она или тоща, и какие есть на ней деревья, и кто жители её. И поднялись, и пошли они с северо-запада на юго-восток, и высмотрели землю от одного её конца и до другого. И увидели дикий, но богатый край, который лежал перед ними среди гор как на ладони. И дошли до берега необъятной реки, несущей свои воды из страны Цинь, встречая по пути немногочисленные стойбища туземцев. И было лето — время созревания слив и яблок, и малины, и смородины, и винограда, и запах медоносных трав стоял в воздухе.

И возвратились они с осмотра земли по окончании семи недель и рассказали всей общине и главам её, и так сказали: «Пришли мы в землю, куда послали вы нас, и вот: климат там суров, много гнуса, дороги разбиты и просеки заброшены. Но видели мы также большие реки, густые леса, высокие горы и широкие долины, а старожилы там малочисленны». И показали им плоды земли, что взяли с собой, и мед, и лечебные травы, и удивительную рыбу, которая каждый год, тысячи лет подряд возвращается из океана, чтобы отложить икру в тамошних реках.

И не знала община и главы её, услышав слова разведчиков, печалиться им или радоваться. И бросили они на левую чашу весов климат, гнус и дороги, а на правую чашу весов — реки, леса, горы и долины. И закачались весы и остановились ровно посередине. И добавили они на правую чашу благоволение чужих правителей — и опустилась правая чаша.

И двинулись со всех концов света пришельцы — ремесленники и торговцы, биндюжники и резники, учителя и печники, и пришли в эту землю, и растеклись по се-

мействам их и поодиночке по земельным уделам. И были уделы далеко разбросаны друг от друга, и очертили границы доселе безымянной земли, а внутри, как кровь по венам, перемещались люди, скот и орудия труда. И собрались пришельцы, единые в давнишних своих мечтах, и дали этой земле особое имя, и имя это было: Бире-Биджан, по названию рек Бира и Биджан, текущих в сердце её. И оно зазвучало в тех местах так, будто бы уже тысячи лет звучало в шелесте ветвей и в журчании вод. А раскатистое «эр» пришельцев делало его пряным и нездешним, и тревожило старожилов, ощущавших волны непонятной, чужой воли. Ибо эти все еще жили на далеком востоке, а те — в Бире-Биджане.

И не были они привычны к полевым работам и суровым условиям, и многие не выдерживали и так говорили: «Это земля, пожирающая своих жителей! Зачем привели нас в это дурное место?» Эти уезжали туда, откуда приехали, или ехали дальше. Другие же — от безвыходности или по доброй воле — говорили так: «Взойдем и овладеем ею, ибо в наших силах это!» Эти оставались, и сплавляли лес по рекам, и ходили в воде на рисовых посадках, и корчевали столетние дубы, и сажали пшеницу, и калили кирпичи.

И мечтали, и были как во сне, и строили дома — для себя, для детей своих и для детей детей своих. И было так, пока вновь не ожесточились сердца чужих правителей, и поднялась правая чаша весов, и опустилась левая.

**Офарим, Израиль**  
**тамуз 5764 (июнь 2004)**



## ВЕЛВЛ ЧЕРНИН

### Пейзаж

Летом в Иудейской пустыне жарко. Сказать это — значит сказать банальность. Но я упрямо повторяю это, потому что живу именно в Иудейской пустыне. Вы, конечно, спросите, зачем я здесь живу? А где же жить еврею, если не в Иудейской пустыне? В Тель-Авиве? В Тель-Авиве летом тоже очень жарко, но там к тому же высокая влажность. Прямо парилка. Лучше уж пустыня. У нас хотя бы сухо. Когда сухо, легче переносить жару. И все же летом у нас действительно очень жарко. Это факт.

Как жить в такую жару? Ну, во-первых, привыкаешь. Во-вторых, на прогулку выходят вечером. Не днем, боже упаси. В-третьих, есть кондиционеры в доме и в автомобиле. И, конечно, надо пить много воды. Иначе голова будет болеть. Это знают все. По крайней мере все те, кто живет в Иудейской пустыне.

Я это, конечно, тоже знаю. Но иногда этого недостаточно. Иногда жестокая жара висит день за днем. Она

постепенно сводит с ума так, что хочется завывать прямо в ослепительное белесое небо. Кажется, что мозги закипают в черепе. Но я живу в Иудейской пустыне и намерен продолжать жить здесь. Жестокая летняя жара не прогонит меня отсюда и не сведет с ума. Ни в коем случае. У меня есть от нее проверенное средство — картина, а точнее картинка. Она невелика, где-то 25х40 см. Но она помогает справиться с жарой Иудейской пустыни.

На этой картине изображен луг, а может быть, поле — непонятно, что именно, земля покрыта снегом, и поди узнай, вспахивают ли ее весной и осенью. Короче, какая-то равнина, только немного, совсем чуть-чуть всхолмленная. Дальше видны три черные избы с заснеженными крышами. Они стоят довольно далеко друг от друга. Из труб двух дальних изб поднимается белый дым. Поднимается прямо. Чувствуется, что ветра нет. В стороне — колодезный сруб под навесом, как заведено в деревнях на севере. За избами тянется стена смешанного леса: ели — их можно узнать по характерным силуэтам крон, виднеющимся на фоне едва освещенного неба, и еще какие-то деревья. Невозможно разглядеть, какие именно. Потому что ночь. В темно-синем, почти черном небе серебрится большая луна, а вокруг нее — мириады звезд. Этого достаточно, чтобы разглядеть заснеженную равнину, избы с трубами и с дымом, колодезный сруб под навесом, силуэты древесных крон. Достаточно, чтобы понять, что лес смешанный. Но этого недостаточно для того, чтобы с уверенностью определить, какие деревья, помимо елей, растут в лесу.

Когда терпеть жару становится неважноту, и рядом со мной нет никого, с кем бы я мог переброситься словом, что малость бы остудило меня, я смотрю на ближайшую



избу, на ее заснеженный двор, окруженный хилым покосившимся забором, на склонившуюся под грузом снега березу у входа. Лучше при этом залезть на стул, хотя можно обойтись и без стула. Со стула просто удобнее сделать шаг на заснеженное крыльцо. Обычно я не задерживаюсь на крыльце, потому что я в домашних шлепанцах. Я толкаю дверь — она не заперта — и сразу же проскальзываю в сени. Справа от входа стоят валенки с калошами. Я надеваю их. Это — первым делом. В избе царит мрак, но я уже привык, и я нахожу валенки вслепую.

Эту картину я купил совершенно случайно во время командировки, на ресепшене биробиджанской гостиницы «Центральная». Там продают всякие местные сувениры, в том числе и картины. По большей части это кич, который долженствует отражать местную специфику. Иногда он с еврейскими надписями. Не знаю, почему эта картина привлекла мое внимание. На ней нет ничего специфически биробиджанского. Ни телевизионной вышки, ни памятника Шолом-Алейхему, ни сквера Победы, ни фонтана со стилизованной менорой на привокзальной площади, ни даже пылающего цветения сараюнок. Эта картина не претендовала на то, чтобы отражать какую-либо биробиджанскую специфику. Она вообще ни на что не претендовала. Она была погружена в глубокое спокойствие. Вероятно, именно поэтому она и привлекла мое внимание. Я взял ее в руки. Она была нарисована на простом картоне, заключенном в рамку. Художник подписался латинскими буквами: Borisov. Ничего специфически еврейского в этой фамилии нет, хотя все же был такой еврейский поэт Иче Борухович, который подписывал часть своих произведений именем Исаак Борисов...

Картина вызвала у меня такое чувство, словно я при-

касаюсь к своей маме. Я будто слышу, как кто-то зовет: «Жанна Ароновна». Она когда-то жила в селе Гродеково в Приморье, потом какое-то время в Найфельде, потом — где-то в Иркутской области. Может, там было так, как на этой картине? Не знаю. Я жил в тех местах вместе с мамой, но ничего не помню. Я был слишком мал. Помню только фрагменты ее рассказов, и мне иногда кажется, что это мои воспоминания.

Я купил эту картину не из-за пейзажа моего выдуманного детства, а из-за фамилии художника и из-за чувства, что я прикасаюсь к маме. Я вдруг вспомнил строки Исаака Борисова:

*Между сном и мечтою приди  
Из неведомой дали,  
Запыхавшись немного.  
Радость с плачем сольется в груди  
И с раскаяньем детским у земного порога.*

*Накажи меня иль похвали.  
Я приму приговор,  
На тебя полагаясь.  
Ты смахнула слезу, и печали ушли,  
И с улыбкой твоей я усну, улыбаясь.*

Я спросил нелюбезную девушку на ресепшене, кто этот художник Борисов, но она не знала. Ну и ладно. Я купил заснеженный пейзаж и привез его в Иудейскую пустыню, еще не зная, что купил волшебный оберег от жестокой летней жары.

Теперь, когда я стал хозяином ближайшей избы, я знаю, что это не Гродеково, не Найфельд и не Иркутская

область. Мне неизвестно название этой крошечной деревушки из трех дворов с колодезным срубом, но я знаю, что она находится в Облученском районе. Мне стало известно об этом потому, что рядом с печкой лежит толстая пачка газет на растопку и, видимо, для уборной. Газета называется «Искра Хингана». В ней значится, что она издается в городе Облучье. Я просмотрел все номера из этой пачки. Все они за 1965 и 1966 год. Любопытно, что газетная бумага ничуть не пожелтела.

Я, наверное, мог бы узнать, как называется эта деревушка, у тех, кто живет в двух дальних избах. Кто-то ведь топит в них печи. Но зачем? Моя мама никогда не жила в Облученском районе. Она лишь проезжала где-то тут неподалеку, потому что все поезда в Приморье и из Приморья проходят через станцию Облучье. Так что какая разница, как называется эта деревушка? Кроме того, здесь всегда ночь. Нельзя же просто так прийти к чужому дому и постучать в дверь, когда все нормальные люди спят. Особенно если ты не знаком с хозяевами. А может, они сами не знают названия деревушки? Может, они здесь не совсем местные, точно так же, как и я?

Поэтому я вынимаю из пачки газету, рву ее и разжигаю печь. Дрова уже наколоты, щепки приготовлены. Пара произведенных на барнаульской фабрике спичечных коробков с портретом чемпиона мира по шахматам Михаила Таля на этикетке лежат на столике, который стоит тут же. Когда огонь, пылающий в печи, начинает освещать комнату, я выключаю электрический фонарь, принесенный из Иудейской пустыни. Он не гармонирует ни с чем вокруг, и я предпочитаю обходиться без него, когда это возможно.

Револьвер я перестал брать с собой. Дома у меня есть

бразильский револьвер «Таурус». Калибр 9 спешл. Иными словами, усиленный патрон. Я сначала брал револьвер с собой. Шесть патронов в барабане и еще дюжина про запас. Мало ли что? Покойная мама рассказывала, что кабаны, бывало, спускались с сопок, заходили в село и рыли картошку в огородах. Поэтому я боялся, что какой-нибудь вепрь может, не дай Бог, вдруг заявиться ко мне во двор. Но сюда не приходят никакие вепри. Даже собаки здесь не лают. И что кабанам рыть в огородах зимой? Кто оставляет картошку в земле на зиму?

В избе понемногу становится тепло. Она не была совсем уж промороженной, но все-таки было чересчур прохладно. Я усаживаюсь на табурете у окна и смотрю на холодное черно-синее небо с холодными блестящими звездами. Я сижу так, пока мне не становится слишком тепло и душно. Теплая духота избы уютна. Она заманивает в дрему, в тяжелую и одновременно легкую дрему, в уютное небытие. Но мне этого пока не нужно.

В сенях висит шуба, я надеваю ее и выхожу на крыльцо. Вдыхаю полной грудью морозный воздух. Носу немного больно, но я наслаждаюсь. Смотрю на звездное небо, на похожий на гребень со сломанными зубцами ряд древесных крон и ни о чем не думаю. Я парю между сном и мечтой, как можно парить только в морозную, снежную, звездную, лунную ночь.

Достаточно закрыть глаза и шагнуть с крыльца, чтобы вернуться в Иудейскую пустыню. После моего ухода из трубы моей избы еще поднимается некоторое время белый дым. Однажды я пошел к колодцу — просто так, посмотреть, и после моего возвращения в Иудейскую пустыню на картине некоторое время была видна протоптанная моими ногами в снегу тропинка.

Переход неприятен, после возвращения мне всегда требуются две-три минуты, чтобы прийти в себя, но я у себя дома и здесь, и там. Недавно я взял с собой израильский флаг и прибил его над крыльцом большими гвоздями. Я сделал это, чтобы символически закрепить свое присутствие в этой безымянной деревушке Облученского района.

Зашедший вчера в мой кабинет в Иудейской пустыне сосед увидел этот заснеженный северный пейзаж и флаг с небесно-голубым щитом Давида на черной избе. Он сказал в этой связи, что не разрешает своим детям заходить в его рабочий кабинет и советует мне поступать так же, потому что дети не понимают разницы между реальной жизнью и игрой:

— Ты же видишь. Такой красивый нездешний пейзаж, а они пририсовали к нему кое-как наш флаг. Прямо как в детском саду!



## ТАТЬЯНА БРЕХОВА

### Осеннее ларго

*Из рассказа «К дому рыбы»*

Настоящий Биробиджан пахнет осенними листьями. Сентябрьский каскад желто-красной, охряной и еще местами зеленой листвы дарят Биробиджану благородство старой бронзы, свойственной только городам с большой и сложной историей.

Город безмолвствует. И лишь изредка отзывается детским смехом, лаем собаки или электровозным гудком, от земли его тянет прелостью листвы, небо грязновато и обещает холодные дожди. Хочется написать что-нибудь грустное о том, что вопреки ярким и сильным мечтам так и не сбылось. Не было всего этого и прижилось лишь в закоулках романтического воображения, в более поздних беспокойных сновидениях, чьи изгибы напоминают короткие биробиджанские кварталы. Не сбылось, и ладно. Сойду с тротуара к напитанной влагой земле, обниму

замшелый тополинный стан, помнящий еще молодых и говорливых плотников с топорами и запах свежеструганных досок, сложенных в штабеля для постройки очередной двухэтажной времянки, прижмусь крепко и вздохну глубоко-глубоко... Как звучит ствол старого тополя, как-кая музыка внутри него! Такое спокойное, гармоничное ларго можно слушать только в объятиях близкого человека.

Пошел дождь, шумный, освежающий воздух, тугой из-за лесных пожаров. По куполу зонта музыкальными пальцами стучат дождевые струи.

Березы увешаны немногими уже темно-желтыми листьями. Они настолько яркие, что трудно смотреть на них. Ветви ильмов — жженой сиены. Особенно красиво: черный сырой ствол, ветки и — листья стронциевые, набранные на кончик мастихина густо, жирно; земля тучная, дышащая, усыпанная пятнами лимонного кадмия и краплака. Осень живет интенсивно, в радости вдохновения, торопится и оттого пишет чисто, уверенно, не смешивая краски.

Пока я не знаю, что ищу в палитре сырого дерна, в этой верткой сороке, которая не желает входить в фокус фотоаппарата и пропадает в киновари кленовых листьев, и что чудится мне в этой тишине, прерываемой лишь изредка проезжающими машинами и перестуком дождевых капель. И почему думается так легко.

...потому что на дне каждого сна лежит Бог, — вспомнилось из Павича.

## Об авторах

**МЕЕР АЛЬБЕРТОН** (1900, Бершадь Подольской губернии — 1947, Чкалов, ныне Оренбург) — прозаик и драматург. Писал на идише. В мае 1928 года из Харькова отправился с первым эшеленом еврейских переселенцев на Дальний Восток, в Биро-Биджан. Создал в 1929 году первое литературное произведение на биробиджанскую тематику — книгу путевых заметок «Биро-Биджан». В 1930 году книга вышла в переводе на украинский, а в 2016 году — в переводе на русский язык.

**ДАВИД БЕРГЕЛЬСОН** (1884, Охримова Киевской губернии — 1952, Москва) — прозаик и драматург. Писал на идише. В 1921–1929 гг. — в эмиграции. В 1930-е годы неоднократно посещал Биробиджан и рассматривал возможность поселиться в нем. Пьесы Давида Бергельсона шли в Биробиджанском Государственном еврейском театре. Его произведения, посвященные Биробиджану, публиковались в журнале «Форпост». Совместно с Эммануилом Казакевичем написал книгу «Биробиджан: общий обзор Еврейской автономной области». Был арестован и расстрелян в рамках дела Еврейского антифашистского комитета.

**САЛЬВАДОР БОРЖЕС** (настоящее имя — Бецалель Бородин; 1900, Рожище Волынской губернии — 1974, Биробиджан) — прозаик. Писал на идише. В 1920-е годы жил в Бразилии. В 1935 году поселился в Биробиджане. Работал в редакции «Биробиджанер штерн», публиковался в журнале «Форпост». Был арестован в



1937 году и до 1939 года находился в заключении, после чего вернулся в Биробиджан. Работал в редакции «Биробиджанер штерн», а также на областном радио, публиковался в альманахе «Биробиджан». В 1949 году был уволен с работы, но, в отличие от большинства биробиджанских писателей, не был арестован в рамках Биробиджанского дела. В 1960-е годы публиковался в «Биробиджанер штерн» и в московском журнале «Советиш Геймланд».

**ТАТЬЯНА БРЕХОВА** (родилась в 1977 г. в семье советского военнослужащего в городке Френштат в Чехии) — очеркист и прозаик. Пишет на русском языке. В Биробиджане — с 1987 года. Работала в редакции газеты «Биробиджанская звезда». Публиковалась в альманахе «Биробиджан», газете «Биробиджанер штерн» и других периодических изданиях и коллективных сборниках. Опубликовала книгу прозы.

**ВИТАЛИЙ БУРИК** (родился в 1967 г. в Биробиджане) — поэт и прозаик. Пишет на русском языке. Публиковался в альманахе «Биробиджан», в других периодических изданиях, а также в коллективных сборниках, в том числе в «Антологии поэзии Еврейской автономной области» (2010). Опубликовал два сборника стихотворений. С 2004 года организует региональные фестивали поэзии «Адрес — ЕАО, Биробиджан».

**ЛЮБА ВАССЕРМАН** (1907, Славатиче Седлецкой губернии — 1975, Кишинев) — поэтесса и прозаик. Писала на идише. В 1925–1934 гг. жила в Эрец-Исраэль. После этого переселилась в Биробиджан, где жила до 1973 года. Публиковалась в газете «Биробиджанер штерн», в журнале «Форпост», в альманахе «Биробиджан». В 1949

году была арестована в рамках Биробиджанского дела и до 1956 года находилась в Гулаге. Издала две книги стихов в переводе на русский язык.

**ТЕВЬЕ ГЕН** (1912, Шадов Ковенской губернии — 2003, Бат-Ям, Израиль) — прозаик. Писал на идише. В 1934–1936 гг. жил в ЕАО и работал в редакции «Биробиджанер штерн». Участник Великой Отечественной войны. Многолетний член редколлегии московского журнала «Советиш Геймланд». Репатриировался в Израиль в 1998 году.

**ШМУЭЛ (САМУИЛ) ГОДИНЕР** (1892, Телеханы Минской губернии — 1941, Московская обл.) — прозаик. Писал на идише. Участник Первой мировой войны и Гражданской войны. В 1930-е годы посещал Биробиджан. В начале Великой Отечественной войны ушел в партизаны. Пал в бою.

**МОЙШЕ (МОИСЕЙ) ГОЛЬДШТЕЙН** (1901, Лисиче Седлецкой губернии — 1943, Смоленская область) — прозаик. Писал на идише. В начале 1920-х годов эмигрировал в Аргентину. В 1931 году переселился в Биробиджан. Был членом сельскохозяйственной коммуны «Икор». Автор повести «Биробиджанцы на Амуре», «Биробиджанских рассказов» и других произведений. Участник Великой Отечественной войны, пал в бою.

**ГИРШ ДОБИН** (1905, Жлобин, Белоруссия — 2001, Ришон-ле-Цион, Израиль) — прозаик. Писал на идише. В 1932 году приехал в Биробиджан. Работал в редакции газеты «Биробиджанер штерн». В 1938 году был арестован и до 1940 года находился в тюрьме, после чего вернулся в Белоруссию. Во время Великой Отечественной

войны оказался в Минском гетто, бежал и вступил в партизанский отряд, после освобождения Белоруссии служил в Советской Армии. Автор нескольких книг прозы. Репатриировался в Израиль в 1992 году.

**АЛЕКСАНДР ДРАБКИН** (родился в 1957 году в Биробиджане) — журналист, прозаик и поэт. Пишет на русском языке. Работал в редакциях газет «Биробиджанская звезда» и «Взгляд». Постоянный автор еженедельника «Ди вох» и альманаха «Биробиджан». Автор шести сборников прозы и поэзии, главной темой которых являются город Биробиджан и Еврейская автономная область.

**ИОСИФ КЕРЛЕР** (1918, Гайсин Подольской губернии — 2000, Иерусалим) — поэт. Писал на идише. Участник Великой Отечественной войны. В 1947–1948 гг. — в Биробиджане. Публиковался в газете «Биробиджанер штерн» и в альманахе «Биробиджан». В 1950–1955 гг. — в лагерях Гулага. В 1971 году репатриировался в Израиль. Основал и редактировал литературный «Ерушолаимер алманах».

**АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ** (1948, Хабаровск — 2005, Иркутск) — поэт и эссеист. Писал на русском языке. Вырос в Биробиджане. Дебютировал в качестве поэта в газете «Биробиджанская звезда». Позднее публиковался в престижных литературных журналах и альманахах: «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Континент» и др. Последние годы жизни провел в Иркутске, где редактировал литературные альманахи «Зеленая лампа» и «Иркутское время». Автор 12 сборников стихов и эссе. Его стихи переведены на ряд европейских языков. Много занимался поэтическими переводами на русский язык, в том числе с идиша.

**ЛАРИСА КАЗАКЕВИЧ** (родилась в 1937 году в Кременчуге, Украина). До 1938 г. жила в Биробиджане. Работала в журналах «Иностранная литература» и «Новый мир», издательствах «Наука» и «Советский писатель». С 1990 г. живет в Израиле. В 1990-е — начале 2000-х гг. работала в русскоязычной газете «Вести». В настоящее время редактирует и корректирует научную и художественную литературу на русском языке. Автор многих статей об отце — поэте, прозаике, переводчике, драматурге, киносценаристе Эммануиле Казакевиче (1913, Кременчуг — 1962, Москва).

**БЕРЛ (БОРИС) КОТЛЕРМАН** (родился в 1971 г. в Иркутске) — прозаик, пишет на идише. Вырос в Биробиджане, публиковался в газете «Биробиджанер штерн». В 1990-е годы репатриировался в Израиль. Работает в университете Бар-Илан. С 2011 г. академический директор Центра идиша в Бар-Илане. Автор ряда монографий и десятков научных статей, а также рассказов на идише.

**РИММА ЛАВОЧКИНА** (родилась в 1968 году в Биробиджане) — поэтесса и прозаик. Пишет на русском языке. Постоянный автор альманаха «Биробиджан». Опубликовала несколько поэтических сборников. В последние годы живет в Санкт-Петербурге.

**ЕЛЕНА МАРУНДИК** (родилась в 1957 году в поселке Соцгородок ЕАО) — краевед и очеркист. Пишет преимущественно по-русски. Постоянный автор газеты «Биробиджанер штерн». Двумя изданиями (2018 и 2021) вышла ее документальная книга «Городок всемирного масштаба», посвященная судьбам создателей еврейской коммуны «Икор» на территории Смидовичского района

ЕАО. В 1997 году репатрировалась в Израиль. Живет в Кирьят-Моцкине.

**БУЗИ (БОРИС) МИЛЛЕР** (настоящее имя — Бер Мейлер; 1913, Копай Подольской губернии — 1988, Биробиджан). Прозаик, драматург и поэт. Писал на идише. Приехал в Биробиджан в 1936 году. Работал учителем еврейского языка и литературы. Был членом редколлегии журнала «Форпост». Его пьесы ставились Биробиджанским Государственным еврейским театром. В 1941–1948 гг. — редактор газеты «Биробиджанер штерн». Публиковался в альманахе «Биробиджан». В 1949 году был арестован в рамках Биробиджанского дела. До 1956 года находился в тюрьме и в лагере. После освобождения вернулся в Биробиджан. Работал в редакции «Биробиджанер штерн». Был членом редколлегии московского журнала «Советиш Геймланд». Автор четырех книг прозы.

**ШЛОМО НЕЕМАН** (Нейман; родился в 1973 году в Биробиджане) — глава регионального совета Гуш-Эцион, Израиль. В юности был внештатным корреспондентом «Биробиджанер штерн». Репатрировался в Израиль в 1990 году. Живет в поселении Кармей-Цур к северу от Хеврона.

**БУЗИ (БОРИС) ОЛЕВСКИЙ** (1908, Черняхов, Волынской губернии — 1941, Белоруссия) — поэт, прозаик и журналист. Писал на идише. Приехал в Биробиджан в начале 1930-х годов. Публиковался в журнале «Форпост». Издал несколько книг, среди которых сборник рассказов «Ночь на Амуре» (1939) и сборник стихотворений «На биробиджанской земле» (1940). Пал в бою в самом начале Великой Отечественной войны.

**ГЕШЛ (ГРИГОРИЙ) РАБИНКОВ** (1908, Сосница Черниговской губернии — 1981, Москва) — прозаик и драматург. Писал на идише. В начале 1930-х годов приехал в Биробиджан. Работал учителем еврейского языка и литературы. Публиковался в журнале «Форпост». Его пьеса «Рувн Бурлес» была поставлена в Биробиджанском государственном еврейском театре. С 1937 года работал в редакции «Биробиджанер штерн». Был автором альманаха «Биробиджан». В 1949 году был арестован в рамках Биробиджанского дела и до 1956 года находился в заключении. После освобождения вернулся в Биробиджан. Преподавал в Биробиджанском педучилище. Публиковался в московском журнале «Советиш Геймланд» и в коллективных сборниках. Издал в переводе на русский язык сборник рассказов «Земляки». Последние месяцы жизни провел в Москве.

**ЭСТЕР РОЗЕНТАЛЬ-ШНАЙДЕРМАН** (Трана-Эстера Фукс; 1900 (1896), Ченстохов Петроковской губ. — 1989, Иерусалим) — педагог, публицист. В 1926 г. эмигрировала в СССР. Окончила аспирантуру Института еврейской пролетарской культуры при ВУАН. Автор многих статей на педагогические темы. Работала в Киеве и Институте еврейской пролетарской культуры, в Биробиджане и на Северном Кавказе. Публиковалась в журналах «Ди ройте велт», «Ратн-билдунг», «Висншафт ун революције», «Фармест», в газетах «Дер эмес», «Биробиджанер штерн» и др. Автор нескольких учебников для еврейских школ, изданных на Украине и в Польше. В 1958–1962 жила в Польше, с 1962 — в Израиле. Печаталась в «Ерушолоаимер алманах». В 1974–1982 в Тель-Авиве вышли три тома воспоминаний Р.-Ш. «Аф вегн ун умвегн» («На путях и перепутьях»), в 1983 — «Биробиджан фун дер ноэнт» («Биробиджан вблизи»).

**ПАВЕЛ ТОЛСТОГУЗОВ** (родился в 1959 году в поселке Чныррах Хабаровского края) — литературовед, прозаик и переводчик. Пишет на русском языке. С 1990 года живет в Биробиджане. Профессор Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема. Постоянный автор альманаха «Биробиджан». Публикуется также в других периодических изданиях. Перевел на русский язык сборник стихотворений Исроэла Эмиота «Сибирь».

**МИРОН ФИШБЕЙН** (родился в 1949 на станции Ин Еврейской автономной области) — прозаик. Пишет на русском языке. Публикуется в периодических изданиях, включая альманах «Биробиджан». Преподаватель Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема. Живет в Биробиджане.

**ВЛАДИСЛАВ ЦАП** (родился в 1954 году в Облучье Еврейской автономной области) — художник. Член Союза художников России. Художественный редактор издательского дома «Биробиджан». Публиковался в газете «Биробиджанер штерн», в альманахе «Биробиджан» и «Литературном альманахе», журналах «Культура и наука Дальнего Востока» и «Идишланд». Пишет по-русски. Живет в Биробиджане.

**ВЕЛВЛ ЧЕРНИН** (родился в 1958 году в Москве) — поэт, литературовед, переводчик и прозаик. Пишет преимущественно на идише. В раннем детстве жил на Дальнем Востоке. С 1980-х годов сотрудничает с газетой «Биробиджанер штерн». Был литературным консультантом театральных и эстрадных коллективов, работавших при Биробиджанской филармонии. В 1990 году репатриировался в Израиль. Автор нескольких

поэтических сборников, книг прозы и эссе, а также статей по истории еврейской литературы. Член редколлегии альманаха «Биробиджан», журнала «Идишланд» и «Иерусалимского журнала». Живет в Кфар-Эльдаде, Израиль.

**РОМАН ШОЙХЕТ** (1931, колония Ефенгар Одесской области — 1993, Биробиджан) — прозаик и журналист. Писал на русском языке и на идише. Приехал в ЕАО в 1948 году. Жил в селе Пузино. В конце 1950-х годов переехал в город Биробиджан. Работал в редакции «Биробиджанер штерн». Издал три книги прозы на русском языке, действие которых разворачивается в Еврейской автономной области.

**ИСРОЭЛ ЭМИОТ** (Гольдвассер; 1909, Остров-Мазовецка, Мазовецкая губерния — 1978, Рочестер, штат Нью-Йорк) — поэт и прозаик. Писал на идише. Приехал в Биробиджан в 1944 году. Работал на областной радиостанции и в газете «Биробиджанер штерн», публиковался в альманахе «Биробиджан». В 1948 году был арестован в рамках Биробиджанского дела. До 1956 года находился в лагерях. После освобождения вернулся в Биробиджан, откуда вскоре уехал в Польшу, а затем — в США. Автор нескольких поэтических сборников, двух сборников рассказов и книги документальной прозы «Биробиджанское дело» (1960).

**ЯША ЧЕРНИС** (1909, г. Новоград-Волынский Волынской губернии — 1977, Москва). Писатель, публицист, писал на идише. Публиковался в харьковском журнале «Пролит», в газете «Одессер арбетер». В 1932 году уехал в Биробиджан, работал в системе народного обра-



зования. Печатался в журнале «Форпост», газете «Биробиджанер штерн». Автор книги «Дорога на Кукан». С 1935 года — военный. Уйдя в запас, поселился в Подмосковье. С середины 1970-х гг. работал в редакции журнала «Советиш Геймланд».



**Леонид Школьник.  
От первого лица.  
Сборник стихов. 1984 г.**



**Антология поэзии  
Еврейской автономной  
области. 1930–2010 гг.**



**Гуревич В.С., Цап В.А.  
О Еврейской автоном-  
ной области всерьез  
и с улыбкой. 2010 г.**



**Говорит Биробиджан.  
Драбкин А., Пасманик  
А. Сборник рассказов.  
2011 г.**





**А. Александрова, Н.  
Баева, Е Дмитриева, И.  
Жирнова. Улицы  
города Биробиджана.  
2012 г.**



**Казакевич Э.  
Биробиджанстрой.  
Поэтический сборник.  
Идиш, русский.**



**Барбышева Л.П.  
Свет души моей.  
История посёлка  
Николаевка Еврейской  
автономной области.  
2018 г.**



**А. Лейбман  
(Лев).**

**Коммуна  
«Икор».**

**А. Лейбман (Лев).  
Коммуна «Икор».**

**Пер. с идиша  
Е. Сарашевской. 2018 г.**

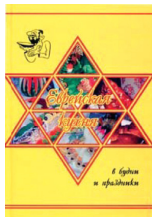


**Сандлер Б. Слоненок  
Эли и Клепчик-Бибчик.  
Сказки. Идиш, рус-  
ский. С идиша — Е.  
Сарашевская. 2018 г.**





**Сандлер Б. С добрым  
утром! Сборник стихов  
для детей на русском  
и идише. Перевод  
с идиша Аллы Акимен-  
ко. 2020 г.**



**Светлана Руль.  
Еврейская кухня  
в будни и праздники.**



**Беляева Е.,  
Стрококвa Р.,  
Демихова В.  
От Алеф до Тав. Тайна  
еврейской буквы.**



**Гуревич В. Как говори-  
ли, что ели и пели в  
Биробиджане. Русско-  
еврейский (идиш)  
разговорник и не  
только...**



**Биробиджан:  
литературно-  
публицистический  
альманах.**





1947. № 3.



1948. № 1 (4).



2004.



2005.



2007. № 3.



2012. № 1 (9).



2013. № 2 (10).



2014. № 3 (11).



2016. № 4 (12).



2019. № 5 (13).



2020. № 14-15.



2021. № 16.



**Ефим Кудиш. «Штерн» –  
звезда моя заветная.  
Сборник очерков.**



**Люди биробиджанского  
поколения.  
Составитель  
Сарашевская Е.И. 2019**



Первая книга



Вторая книга

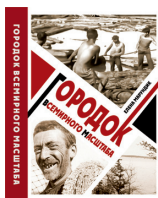


**Гуревич В.С. Еврейская  
автономная область: из  
прошлого в настоящее.  
История становления  
и развития Еврейской  
автономии на Дальнем  
Востоке.**



**Еврейская автоном-  
ная область: история  
административно-  
территориального устрой-  
ства в картах, документах  
и фотографиях.**





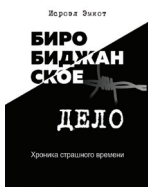
**Марундик Е.Г. Городок  
всемирного масштаба.  
2020.**



Книга первая



Книга вторая



**Эмиот И.  
БИРОБИДЖАНСКОЕ  
ДЕЛО. Хроника страшно-  
го времени. Пер. на русск.  
яз. Зиси Вейцман 2020.**



**Эмиот И. Сибирь.  
Сборник стихов.  
Идиш, русский. Пере-  
воды П. Толстогузова.  
2021 г.**



**Брехова Т. К дому  
рыбы. Проза. 2021 г.**





**Чернин В. Краткая  
антология переведен-  
ных на идиш произве-  
дений поэтов еврей-  
ского происхождения,  
писавших на нееврей-  
ских языках. 2021 г.**



**Чернин В. Сборник  
стихов. Идиш. 2021.**

